

ДЕНЬ
ЗВЕРЯ

В И К Т О Р

С О С Н О Р А

В И К Т О Р
С О С Н О Р А

ДЕНЬ
ЗВЕРЯ

В И К Т О Р С О С Н О Р А

Галицькі[®]
КОНТРАКТИ

Д

ЗВЕ

В И К Т О Р

Г а л ы ц ь к и к о н т р а к т ы

ЕНЬ

ЮЯ

с о с н о р а

ББК 84—7
С 66

Виктор Александрович Соснора
День зверя
Роман

Ответственная за выпуск С.Банас
Переплет, суперобложка В.Тищенко

Подп. в печать 8.11.96. Формат 60х90 ¹/₁₆.
Бумага офсетная. Гарнитура «Балтика».
Печать офсетная. Усл. печ. л.14.5. Уч-изд.л. 9.76.

«Гальцьки контракты». Украина, 290035, Львов, ул.Зелена, 109

Соснора В.А.

С 66 День зверя: Роман.— Львов:«Гальцьки контракты»,
1996.—232 с.

ISBN 966-7202-00-3

Известный миру по отрывочным журнальным публикациям роман впервые издается целиком. Особенное «сосноровское» ощущение слова, свободное владение структурой текста, великолепная ирония и пронзительная нежность, точное вплетение судеб в историзм времени — вот эта проза.

С 4702010201—001 без объявл.
96

ББК 84—7

ISBN 966-7202-00-3 © Соснора В.А. , 1996
© Переплет, суперобложка Тищенко В.А. , 1996

ДЕНЬ ЗВЕРЯ

1980

1. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. (Книга Притчей Соломоновых, гл. 30, ст. 12)

2. Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько; ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом.

Как написано: нет праведного ни одного.

Нет понимающего; никто не ищет Бога;

Все совратились с пути, до одного негодны: нет делающего добро, нет ни одного.

Гортань их — открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их;

Уста их полны злословия и горечи.

Ноги их быстры на пролитие крови;

Разрушение и пагуба на путях их;

Они не знают пути мира. (Послание к Римлянам святого апостола Павла, гл. 3, ст. 9—17)

3. За то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь; они достойны того. (Откровение святого Иоанна Богослова, гл. 16, ст. 6)

$$4. P(4)+P(9)x+P(14)x^2+\dots = 5 \frac{((1-x^5)(1-x^{10})(1-x^{15})\dots)^5}{((1-x)(1-x^2)(1-x^3)\dots)^6},$$

где $P(n)$ является числом представлений n в виде суммы положительных слагаемых. (С. Раманужан)

СТОЙ: СТОЛИЦА!

Яуреи уехали в Израиль.

Олени убежали в Финляндию.

Рыба ушла в Японию.

В Столице остались инстанты и диссиденты. Они — боролись.

В Летейском Саду подъемные краны.

К подъемным кранам подвешены ремнями в охват за брюхо — коровы. Почему вы подвешены, дарительницы мясомолочных продуктов? Почему на цепях качаетесь над Летейским Садам?

— Нету кормов, — ответ у буренок. — Мы подышаем, и вот нас подвешивают на кранах к деревьям, чтобы мы жрали живые почки-листочки и кой-какую кору. Жуем мы губами. Выживем как-нибудь с месяц, зарубят как-нибудь на заре.

По Летейскому Саду гиды из Тайной Канцелярии водят иностранцев, объясняя: аттракцион для кровинцев — карусель из коров. Мы — кровинцы! В наших венах и капиллярах есть кровь, а в ней кровяные шарики — красные. Они крутятся в обществе обещаний, вот и коровы крутятся до посиненья.

Здесь же и диссиденты. Они отрицают; как аukaются их гневные голоса:

— Общество обнищаний — вот мы кто! В статуте Столицы — нехватка мяса и молока, вот и подкармливают коров. Это плохой процесс, эх, экономика! Исторья не простит — инстантов! Нет оправданья им — в их аттракционах!

А вообще-то говоря, в 11.00 предполудни, когда на Несском проспекте всплывает семиглавое чудовище Несси, инстанты и диссиденты стоят на коленях и, кланяясь Несси, пьют: инстанты из чаши чести, запивая соусом совести, а у диссидента — стакан сатанинства, пьет, закусывая, жуя манжет. Пьют бормотуху. Все ту же. Все те же.

Вот — выпили!

Там и сям раздаются Идеи!

Инстанты в шеренгах, а диссиденты, как тунейдцы, бегут вовсю, врассыпную — к Летейскому Саду! Бегут, бегут!

На тротуарах стоим — МЫ: люди, кровинцы. МЫ — смотрим!

В Летейском Саду столько статуй (изделья идальнцев из Идадьи!)! Каруселей коров! Столько столбов из деревьев липа и клен! Три павильона, а если попроче — три туалета! И Пруд с лебедами.

Здесь:

инстанты и диссиденты борются за Идею, хватая друг друга за носы, волосы, уши и за прочие висячие члены мужского и женского аппарата. Иные методы борьбы воспрещает Кодекс. Нельзя хвататься за то, что не висит на человеке.

Оторвав, сколько требуется этих штук, сидят у Пруда.

В Пруду два лебедя, белый и черный. Белый лебедь — символ инстантов, черный лебедь — символ диссидентов. Лебеди любят есть, вот им и скармливают то, что оторвали, о чем я пишу: трофеи.

Потом:

победителям соответственно присуждается приз: плюют им в морду. У Пруда. Это ничего.

В Пропадовской Крепости узников нет, камнем они не одеты.

Там:

в 12.00 пополудни бьет мортира, стреляет:

— Пол-день! Бремя борьбы, инстант и диссидент, истекло!

Как же! — у Крепости пляж. И полынья для «моржей» — это можно. МЫ — смотрим: тот же и так же борец за Идею ухнулся в полынья, лишь бы ятра чуть-чуть уцелели!

В Пропадовской Крепости Монетный Двор, археологи моют монеты: профиль у Ментора правдив, или нет?

На Седьмой площади Столицы стоит Ментор, или так: стоит конь, а на нем сидит Ментор, оба из меди, — такая статуя на скальном камне.

Кто есть Ментор:

Первоапостол, построивший студию флота — Столицу, труженик, знавший четырнадцать черных ремесел, топором пробудивший Столицу к труду,

игралец в кораблики,

скиталец солдатиков, переливший на пушки колокола Духа, только-только затеплившегося в нас,

научивший нас никотину, бритью, бормотухе,

доброжелатель доносов,

прародитель 12 коллегий инстантов (их не было до Ментора!),

ты, осмеянный и проклятый миллионами трупов, пожравших все сельди морей и весь лук земель: убийца с усами, твой род был проклят.

А о смерти Ментора: жена и сын отравлены патрициями, дочь скончалась в агонии алкоголя, вторая дочь сошла с ума, внука разорвали на куски гвардейцы, правнука удавили подушками гомосексуалисты, праправнук ушел в скит, прапраправнук убит бомбой любителями людей, остальные расстреляны в связи со сложившейся ситуацией.

Я ПРО СЕБЯ

Я не ел 666 дней: я — пил.

Я: Иван Павлович Басманов, мне 437 лет.

Басма — оттиск, отпечаток, ханский идол.

«Алексей Данилович Плещеев был прозван Басманом. Впервые упоминается в 1543 году. В 1552 году вместе с князем Воротынским стал героем осады Казани, пожалован чином окольного. В 1555 году он 36 часов выдерживал натиск Великого

Крымского Хана Девлет Гирея. У Гирея — 60.000, у Басмана — 1.000 солдат. В 1556 году получил звание боярина. Во время Ливонской войны взял Нарву и Полоцк. Потом становится царедворцем при Иоанне Грозном. Это он разрабатывает стратегию опричнины. Потом — донос.

У Алексея Даниловича Басманова — сын Федор. Любимец Грозного. Без Федора Грозный «не мог ни веселиться на пирах, ни свирепствовать в злодействах». Курбский писал: Грозный заставил Федора убить своего отца, знаменитого Басму. Убил отца. Но и Федора приговорили к смертной казни.

Сын Федора: Петр Федорович. Во время начала борьбы с Лжедмитрием «храбростью и умением достиг высших почестей в России»: он был встречен в Москве царем и знатнейшими боярами, а для торжественного въезда царь Борис Годунов выслал ему собственные сани. Борис Годунов умер, его сын Федор Годунов назначает Басманова главнокомандующим всех войск, и Басманов переходит со всеми войсками на сторону Лжедмитрия.

Во время царствования Лжедмитрия Басманов был его первым советником и клеветником.

Когда 17 мая 1606 года народ восстал и ворвался в Кремль, единственный, кто до последней минуты остался верен Лжедмитрию, был Басманов.

Он: один: защищал вход во внутренние покои царя и был убит с мечом в руке».

За знность дней я выпил знность флаконов-одеколонов: «Гвоздика», «Черная чернильница», «Фиолетовый ландыш», «Кармен», «Эх, тройка», «Дитя Дуная», «Космос-3». Я позабылся и пил, как тупица.

Потом я бросил пить всю эту дрянь и стал пить одеколон «Красная Москва».

Прежде я не пил, я ел мыло. Но мыло исчезло. Почему-то. Не то чтобы оно пропало неведь куда, оно было, мыло, но выдавалось по спецпропускам, а в ресторанах — ешь не наешься: подавали с большим вкусом и с подливой из мокриц.

А в спец-ресторане «Астролябья» еще изысканнее: на закуску стальные стружки, а горячим блюдом — варенные котлеты из мяса Мафусаила с кисточкой, гарнир — тушеные в телящем соусе спички или же уши кидайцев, залитые кипяченой водой Баскервильских болот — из ведра. Но ресторан «Астролябья» для иностранцев. Для смертных Столицы «Астролябья» дороговата и все же на валюту.

Я не завсегдагай. Я пью на воздухе, чтобы пить и шагать шагами по проспектам, садам, улицам и каналам. А также по набережным.

В том-то и смысл.

Шагая, я ушел в мир формул и фигур, я знаменит здесь, я геометр. Бертрами, Кантор, Лоренц, — им непосильны задачи, которые я решал, к примеру, на мосту им. св. лейтенанта Мида. Позволю факт: за первые 27 дней шагов я решил 27 задач аксиоматики, на 42 день я переименовал теорему Дезарга, на 73 я создал антитеорию поляра, на 94 я взошел на холм Булловской обсерватории и, пристально присмотревшись к аффинному пространству, я отыскал меж звезд параболические пространственные формы, — да мало ли до какого абсурда или ясности (что также т. ск. абсурд!) дошел шагами мой ум, — это его, ума, дело.

На 147 день Академия присудила мне Золотую Медаль Геометра, звание Героя Труда Столицы, диплом Гения. Я принят в Академию в 24 года, сейчас мне 44. Я жил в мансарде и потребовал себе дворец на Несском проспекте, дом N 17, где во дворе фонтан и два сфинкса. Такие дворцы у Академиков, данность!

Но данность мне не дали, я еще не был гений. Мне дали мансарду в том же доме, под тем же чердаком, длина ея: 8,7 м, ширина 2,4 м, высота 3,6 м. Кубатуру высчитывайте, я не школьник.

Теперь я признан инстантом, в ближайшее десятилетье быть мне во дворце, пусть не на Несском, 17, дадут: в рощах-кущах, опоясывающих Столицу, 25 мин. на электрическом поезде, тот, знаменитец, чуть преуменьшенная копия Версальского дворца, где аттракционы, экскурсанты, фотографы, где Самсон, вылитый из золота, разрывает пасть льву, и лев из золота. А из пасти хлещет вверх фонтан водки — высотой для всех!

Я живу в мансарде, пусть так: пуста, пол в трещинах (я не писатель, чтобы описывать трещины в полу), стены — черная зелень (18 век!), окно — одно с 16 переплетами, с форточкой (безвоздушной!), на подоконнике три цветка в горшках, батарея парового отопленья, этажерка с тремя цветками в горшках (у этажерки — пять этажей), еще тахта с персидским ковром, ею я пользуюсь чуть ли не каждую ночь.

Позволю о зароботке: за званье Академика не платят ни пейки, дают работу: я — руководитель творческого объединения молодых геометров при Дворце Науки им. св. Уюпы. Деньги мне — брррр брюалей! Но вот-ведь во Дворце Науки я научился: женщина отдается! Без исключения. С возрастом — все как одна отдаются. Мне! Я — Руководитель, и если геометристка отдается Руководителю, у нее — талант. (Такая девичья гордость!)

Ни девственницы.

Идет по лестнице в мансарду детеныш четырнадцати лет, геройски вообразивший себя геометристкой, ножки не запятнаны, хватай за лодыжку — покраснеют ножки: вот Виолетта, а ты —

волчий Вий, что ж с этим лучиком случится в бреду борьбы за Жизнь? — так травмируешь себя. Укрепишься в кресле, жар соблазна, отвернешься к форточке с бокалом для бодрости, а что в форточке, — как окунулась куда-то луна, как свистят стекла?

Закрой фортку, а то невзначай залетит в лоб метеорит, оглянись окрест: на твоей тахте уже лежит сья лжедетеныш, ни пеньюара на ней, ни бюстгальтера, лежит лежмя! Ты же тащишься к тахте с флаконом и, взвалив себя сверху, уясняешь угрюмо, что судебных преследований не предвидится, что о растленье малолетниц заикаться неуместно, лежи и лижи, как приговоренный, — где они так ухитряются в отрочестве? — ум мой мал.

Утром я одевал девицу и выпивал яйцо.

В моем холодильнике всегда лежало яйцо. Одно.

Хитрость, — я скажу сейчас: мне присвоили еще и Премию им. основоположника Всех Наук св. Лимонадова. Миллион брю-алей. Вот почему я бросил пить дрянь и стал пить одеколон Красная Москва. Взял миллион, зашел в «ТЭЖЕ», купил флакон и стал пить.

Я выкрасил стены и потолок в цвет лилейный, я писал на стенах с радостью, с роскошью. Я купил стремянку и писал на потолке. Если выпить Красную Москву, лечь навзничь и смотреть на потолок, открывается перспектива. С люстрой! Не заняться ли еще и стереометрией?

С полом — расправа! Я вызвонил трех геометристок, мы взяли в Антикварии зеркало 8,7 м на 2,4 м, привинтили болтами и гайками к полу, теперь в мою мансарду не постесняется прийти и массажистка из Дома Искусств, — Арфа Чепчикова!

Три ню (трое?). Джинсы и джемперы валяются, как герлс, на тахте, лунность, я зажег лилипутики-свечки, горят, греют огнем огня! Универсальное стекло, но сказали, что стесняются пить коньяк из горла, я вылил — на зеркало, и они лакали из лужиц! Роз-язычками!

Натюрморт с тремя ню: так я трактовал. Для описанья же эротизма у меня нет нюансов, нужно столько слов, что не хотелось бы писать столетье. К чему? Все описано в тысячах порнографических романов коммерческой литературы. Я краток, я сообщаю: мы взяли в Антикварии зеркало, сделали пол и отпраздновали мои титулы. Не у всех же такой пол, — чистая амальгама, толщиной 10 мм.

Я их утолил, сам утомился.

Я встал. Я стоял на зеркале, как некий индусский лотос на льдине, с сигаретой и флаконом, а ню вылизывали меня от ногтей до корней волос, все попадающиеся волоски брали в губы, покусывали зубиками соски мои, горло, ключицы. Я закрыл веки.

И мы отцвели и опали.

И солнце вошло в форточку, я лежал на зеркале в лужицах.
Я лежал крест накрест. Вот что я подумал:

Я увидел его в бане. Он сидел в сауне с веником, как с гитарой. Он пел:

— Мы встретились в бане, случайно, в тревоге мирской суеты!

Выпарившись, он сказал:

— Я Антип Инфантьев. У меня есть жена.

— Такое признание похвально, — в бане! — сказал я.

— Знаешь, в чем полезность жен? — спросил Антип.

Я не знал.

— Полезность жен: говорить ей гадости. Когда разъярится, морда у нее вспыхивает и раскаляется добела. Взять тазик воды и плеснуть в морду. Пар!.. Раздеться быстренько, взять веник и париться.

— Что ж ты не паришься дома?

— Какой смысл? Не взять в рот ритуал.

— То есть?

— Не выпить!

Мы купили бутыль бормотухи, «в нагрузку» нам дали телячью голову. Антип Инфантьев тотчас выбросил голову в реку Фанданго.

— Не ходи с этой хреновиной домой. Жена поймет, что пил.

Мы пошли на чью-то лестницу и пили. Оказалось — наша лестница. Манометрист жил этажом ниже.

На нашей лестнице пили, как и на всех лестницах Столицы. Поутру я вынимаю из почтового ящика: резинки от бигудей, от трусиков, в том числе и жевательные. Вынимал я и письма. Почему-то все иностранные письма были без марок. Но в ящике лежал 1 брюаль. Так-то ты, филателист, я поймал его, стоит, на марку дышит, как собака, да и дрожит, как пес, — Антип Инфантьев из парилки, с нашей лестницы, этажом ниже.

Да! деликатность:

украсть письма — быстрее, без риска быть пойманным, — не крал, брал марку и опускал в щель 1 брюаль, мне, адресату. Уникум.

Как я ему благодарен!

КВАРТИРА. ОКРАС У СОБАК

Квартира: коридор, где у всех по шкафу с верхней одеждой.

Двери соседей по одну сторону, как при коридорной системе. 5 дверей, напротив каждой по одному окну цвета Геллеспонта или заката в Венеции. (Окна 2 м на 2 м)

Пять дверей, пять окон, пять шкафов.

Соседки — три гречанки. Не византийские, не сегодняшние, настоящие, из Эллады, современницы Сафо и Коринны.

Одна: зовут Зоэ. Преподает математику в нашем же Доме Балета, в хореографическом училище, она на собственном опыте (балеринки и балерунамки!) знает, что есть конгруэнтность фигур на сцене, что Евклидово пространство с индексом, равным единице, называется пространством Минковского. В нашей квартире я — индекс, равный единице, больше мужчин у нас нет, есть юноша-македонянин Александр, но сей ушел в гоплиты, осталась лишь дверь на ключ и прописка.

Зоэ любит меня, потому что я:

— Вы человечны, Иван Павлович. Вы Гений, а так попросту ходите, как матрос, по коридору, в сутане, без башмаков, и говорите по имени-отчеству!

Зоэ живет ближе всех к входной общей двери, поэтому, не тратя слов на тираду, берет за шиворот позвонившую мне ученицу, вводит в мансарду, раздевая, стопроцентный осмотр и «ни разу не обнаружила дефектов телосложения!» — восхищается, — «вот вкус-то у Ивана Павловича! глаз-алмаз!» Она снимает шубы с моих геометристок и подает шубы утром.

Вторая: Лидия.

Любит меня, потому что у нее был МУЖ:

алкоголик, высвистывал ноты протеста о войне во Вьетнаме, а также не сторонник израббильской агрессии. Война во Вьетнаме завершилась триумфом благодаря миролюбию нас, кровинцев, а израббильская агрессия рвала душу патриота. В поисках шпионов и диверсантов Израббия, МУЖ перевинтил отверткой все шкафы коридора и взорвал зубилом все замки соседей. В какой-то вдохновенный миг он был осенен: все съесье — мельтешня, дразнилка детства. МУЖ взял кардинальную программу: зашпаклевал пластилином раковины в туалете, на кухне, в ванной, обрубил топором краны с горячей и холодной водой, напустил воды по пояс, — устроил в квартире Мертвое Красное море! Побросал в волны шубы, платья, костюмы, кофты, нижние сорочки, трусы, носки, а сам встал у стены коридора (у «Стены Плача») и гудящими глазами смотрел, как из баррикад барахла выскакивают в воду изуверы-израббильтяне и захлебываются, шлепая пятками, сморкаются, длинноносцы, дергаются, — тонут!

Лидия, профессия — народный судья. Но судить МУЖа не стали по статуту. Белую горячку вылечили пирарцетамом, но по пятой графе паспорта МУЖ оказался яврей, вот и выехал (эх!) в государство стервятников. Лидия боялась возврата: все рвутся обратно из Израббия в Элладу. Поэтому Лидия провожала моих юниц с канделябром: вдруг МУЖ валяется, возвращенец, на

лестнице? Выходить от нас нужно с канделябром, свет на лестнице переменный, алкоголики вывертывают наши лампочки, закусывая ими.

Третья: Анастасия, пенсионерка. Она любит меня; вяжет геометристам свитера, по утрам снимает мерку.

О чем распространяться, жили мы дружно.

Если я напивался и падал, как солдат боя, на последней ступеньке у дверей, одинок, три эллинки подхватывали за ручки-ножки, укладывали меня в подушки-одеяльца, ставили в холодильник минеральные воды и яйцо. Одно.

Если я с ню и нет сил переступить порог, нас несли, опрыскивая эфиром из нашатыря для рвот, — задачка!

Когда я болел, вызывали жандарма медицины: освидетельствовать, не мертв ли я? Если я не мертв, соседки принимались за свои дела: отвечали по телефону, явлюсь ли я на заседание кафедры Н, сдам ли в срок рецензию на аксиомы НН, буду ли референтом на защите докторской диссертации ННН, приму ли для консультации студентку НННН... тут уж я мог положиться: выберут и допустят к моему телу лучшую из лучших.

В семь часов утра меня ждали. Я выходил: сверяли часы все собачники ул. Зайчика Розы. Двор-невеличка, тополя-колоссы, зелененькие скамейки, детская площадка с полированной горкой для задниц. Во дворе, в семь стояли собаки. Стоят хозяева, смотрят на циферблат, крутят стрелки, зажгли карманные фонари, я зажег свой. Стало светло, как во внутренностях шаровой молнии.

Двух незнакомцев (с эрделем и таксой) я удалил. Толпа зароптала: у них псы неумыты! Мне нужны псы, вымытые до чудовищной чистоты, до белизны расы. Я осмотрел собак, ни одна не готова к выставке. Дома я не практиковал. Один живописец, даже не друг, отдал мне ключ от своей трехкомнатной мастерской, собаколюб; там я трудился над улучшением породы, а проще — делал экстерьер. Эта работа равна творчеству реставратора древнейших рукописей или фресок. В Столице нет ни одной классически чистопородной собаки. Заниженные требования, призы по знакомству, беззастенчивая спекуляция щенками привели к тому, что даже отечественные породы уже паскудно вывозить на заграничные турниры. Ни кормленые фаршем, ни тренировки на треке, ни ввоз чистопородных не могли изменить собак: в климате Столицы через два-три поколения вырождались и дети суперстаров.

Я знал, что делаю, у меня альбомы, у меня растительные краски. У ябонцев-математиков, моих стажеров, я прошел высшую школу татуировки. С окрасом пустяк: геометрия в при-

мененье к собаководству. Я расчерчивал пса на анатомические единицы обычной легкой тушью, рисовал ему пятна, подпалины или обесцвечивал шерсть, и получался естественный окрас. Потом я кипятил собак до изнеможенья в определенных растворах, и ни одна комиссия пяти континентов не заподозрила еще, что пред ней отнюдь не пес во всеоружье высокнаучных генов, а произведеенье цветной графики, выполненное незаурядным геометром.

Хуже с носами. Нос — это гений собаки. А гениями рождаются (раз уж так!). Борьба с носом пса — это борьба с Богом. Пластические операции делают крупнейшие хирурги радиостанции «Логос Хамерики» — за миллионы валют. Хирургов нужно судить спецкомиссией ЮНЕСКО. Это — шарлатаны и собакоубийцы. Нос теперь как нос, хозяин — Чемпион Мира, но пес — уже не пес, а зверь-мутант. Фокстерьер вместо суслика или крысы набросится на сосущего грудь младенца Моны Лизы. Дог вместо волка сожрет пианиста Ван Клиберна. Ньюфаундленд потопит ледокол «Арктика». Гончей — бегать без ног за бабами. Это не метод.

Мой метод: набор тончайших игл и тушь любого цвета и оттенка. Что ни пятнышко на носу, — всевышний пес на выставке профанов превращается в клошара и квалифицируется чуть ли не как сутенер, — но! — нежнейшее прикосновеенье игл, инъ-екция комбинированной туши, и пес — Царь Зверей, всемирный медалист Столицы! Я красил, я татуировал не для хозяев, не ради них я...

ПЯТЬ ОВЕЦ, СВЯЗАННЫХ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ

Пять овец было у нас в коридоре, пять овец, связанных одной цепью. Пять овнов белых стучали копытцами по кафельному коридору.

В субботу мы их мыли в ванной.

Приходили гости:

— Что за чушь и чудеса! В центре Столицы, на улице Зайчика Розы — пять овец! Может быть, в пяти шкафах у вас в коридоре — пять львов?

Может быть. Чего не может быть?

— Кто их кормит, кто их пасет?

Я их кормил, я их пас.

— Чем и где?

Цветами из трех горшков, стоящих на этажерке. В коридоре, здесь всем есть место.

— Но с какой целью? Для чего?

Как с какой целью? Как для чего? Они есть, я их кормлю и пасу.

— Ты сумасшедший. Зачем ты их связал цепью?

Сумасшествие — это сошествие с ума. Слишком торжественно. Я их не связывал, они сами.

— Сами связали себя цепью?

Да.

— Глупость!

Спросите у них.

— Для чего ты их держишь? Мясо, шерсть, молоко? Но это абсурд — сколько с них возьмешь?

Я их не держу. Они держатся сами. Я лишь кормлю и пасу.

— А соседки? Они ж тебя возненавидят.

Соседки у меня из Элады. Они знают, какая ценность: в доме овца. Они с пониманием относятся к овцам.

— Что же ты с ними делаешь?

Я с ними говорю.

— На каком языке, интересно?

На овечьем.

— О чем?

Поинтересуйтесь у них.

Потом пять овец исчезли. Остались лишь рожки да шкуры. И цепь.

Мы впятером горевали на кухне: Зоя, Лидия, Анастасия, юноша-гоплит Александр, вернувшийся с фронта, и я. Я зажег свечильник в семь свечей и мы пили на кухне вино. С горя по исчезнувшим в неизвестность овцам.

Где они, с кем? Кто их кормит? Кто пасет? Кто моет в ванной по субботам? Как им живется, не связанным одной цепью, не перессорились ли? Как им живется без рожек и шкур? Без рожек — нет им защиты от львов, без шкур — нет им защиты от солнца, луны и атмосферных осадков!

Как и нам житься — без них?

Я отдал соседям рожки и шкуры. Соседи отнекивались:

— Это же ваши овцы. Возьмите себе все. Мы их лишь мыли в ванной для добрососедских отношений. Но мы их любили. Никто не виноват, что они были связаны одной цепью. И что они исчезли.

Кто виноват? Никто ни в чем не виноват.

— Здесь, в коридоре простор, как на полях с васильком. Вы их кормили, Вы их пасли, Вы делали им внутривенные инъекции от эпидемий, Вы с ними говорили подолгу, мы ведь видели у Вас и словарь овечье-кровинского языка! Не горюйте, ведь овцы на то и овцы, чтобы исчезнуть. Ни с того, ни с сего.

Что горевать? Я говорил с ними, — вот я и с соседями говорю. Можно и ни с кем не говорить.

Может быть, открыть пять шкафов и выпустить пять львов?

Они попрыгают в коридоре по-львиному, я возьму гребень для грив, я сделаю их мордам прически по моде, я помажу львице губы помадой, я куплю ей кулон из драгоценных металлов, выкую пять корон и поставлю на львов, бантик на крутиком-хвостик им завяжу, когти напедикюрю цветом Заката.

Станут пять львов — пять пудельяни для ванной. Будут лязгать зубами, ведь их призванье — ненависть, мускул и клык.

Нет, нельзя.

Во-первых: потому что в рукописи еще появится Зубикомлязгик, а повторяться — вязанье словес теряет художественный интерес. Во-вторых: сожрут. Мне-то что! Но соседи уже очеловечены фразой. Что ж их-то — на съедение львам?! Я не человеконенавистник. (Боже, слово-то — из 19 букв! Ну и ну. Есть еще: человеконенавистничество — 24 буквы! Длиннее слова в нашем алфавите — нет.)

Пять Овец. Было. У нас. Связанных. Одной. Цепью.

Я взял цепь: цепей у нас нет. Пригодится для хозяйства: можно подвеситься к форточке и качаться на ветру, чтобы тебя все спасали, можно повесить люстру.

Я повесил люстру.

Я о люстре напишу.

ОЙ ЖУЖЖОМ, ЖУЖЖОМ!.. НЕГДЕ ПО-УЛ-ЫБАТЬСЯ

Дождь, но не так холодно, как хотелось бы, — мне!

В магазине «Бакалея» продают бокалы. Я купил булавку из Кабула.

На Ордынском проспекте Вадья и Гена. Вадья несет фотоаппарат «Кодак» со вспышкой, нажмет на гашетку — вспышка сжигает дождь у лица, Вадья и под дождем сух и не водянист. Гена с цитрой, а дождь — как на скале, как насквозь! Играет себе на струнах, нет риска, нет страха!

Они познакомились вот-вот у Пяти Углов. Четыре улицы образуют четыре угла, а на пятом стоит Саркофаг: с двумя дверьми, на одной буква М, а на другой Ж. Здесь, видите ли, клозет.

Здесь все знакомятся, выйдут, застегиваясь «молниями», из дверей, увидят друг друга нос в нос и тут же:

— Ой, жужжом, жужжом! Я — Вадим Жужжомец, художник-портретист, мне бы Вас нарисовать на холст в виде ню!

— Я Генриетта Любахина, журналистка Почтамта. А для рисунка ню я с удовольствием вельветы снимню!

Вадим, увы, не портретист, а Вадья, а Генриетта — сороко-

ножка в многотиражке. Но их чайня сбудутся, — почему бы не по-ул-ыбаться?

Вспомнят восторг, договорятся, но где — по-ул-ыбаться? Не где, идут.

Река Вена лежит в летаргии, гранит ее грезит, зернист.

Дождик закончился.

Вена — водичка в звездах. Вадя выключил «Кодак», включил спиннинг. Забросил блесну, дернулся, вытащил тельце: корюшка — кошке! Гена, как нега, тянется с поцелуем, Вадя в ответ отвернулся: нравится дружба по душам, но где по-ул-ыбаться?

Я не люблю уменьшительных суффиксов, но как без них?

Год 1980.

Мне — моросит!

Мостик разводится, мостик хлопнул в ладошки...

Может, грусть-глазики насмерть казенных кружатся над Морсовым полем?

Река Морга нехотя ходит к Дворцу Расстрелов.

Вадя и Гена войдут в подъезд N 11, лягут на лестницу, вцепятся в сосцы клешней и... затаятся. Но лестница в благоуханьях блевот, в склянках из бритв от бормотух, — не по-ул-ыбаться!

На проспекте Жаворонков дьявологлазый Гай Рузин, краснояс, директор ресторана вокзала им. св. Витта, — с двумя кауказскими лайками на лис. Стой, Гай Рузин, у салона парикмахеров. Будем брить!

Побрили.

Пошли по проспекту Жаворонков, дошли до Кузнечикового рынка. Встали: Гай Рузин и две лайки, побритые до блеска статуи.

Я их потрогал: живые!.. дождик-дождь!

Гай Рузин дал мне цитрус.

На площади Мыла женщину не быют кнутом, крестьянку молодую.

На площади Мыла за зеркальной витриной магазин «Океан». В витрине: три сардины из желтизны висят на веревке вниз головой, как три копченых кидайца.

Еще в магазине «Океан» продают океанскую воду в пакетах из холодильников-холлов: мужам к пивам! хорош холодец!

Над рекой Фанданго мост им. св. Клопштока. На мосту кони из метафорических сплавов, их, коней, укрощают молодые мужчины, — такой конный секс. Даже уздечки у взбесившихся на копытах скульптур!

На мосту им. св. Клопштока Вадья удит удачу на живца: наживляет на крючок гранату со слезоточивым газом, забрасывает в вешние воды Фанданго; граната взорвется, рыба сом заплачет, выбросится в слезах, унесут Дима и Гена рыбу с усом, в 12 кг весом по Э. Гэммингвайю, — а куда?

В подъезд N 11. Положат, выпотрошат, зашьются в брюхах у рыбы — иглой, ночь им — начнется!

Нет! Жандарм подъезда N 11 свяжет сома за жабры, ведь скоро Съезд, а он сома к Съезду и съест!

Вытряхнутся Дима с Геной из брюха и уйдут (дай Бог без штрафа!). Пойдут по набережной им. св. Зернинского — лишь с корюшкой кошке! Зачем-то Закат. На двух лицах у съих лицистов мерзнет дума о меде, — не по-уль-ыбаться!

О МОРЕ ИМ. СВ. БЕЛЬТА!

Белые ночи, вы чьи?

Есть у меня сфинксы, их привез флот из Египта. Не комментирую, в египтологии я профан.

По Несскому проспекту идет Зубикомлязгик.

Глухонем — он.

Экранизация:

Несская тропа, идет Зубикомлязгик, несет на плече, самый сильный кровинец Столицы, несет он — дуб, вырванный из Мигайловского сада, а листва свистала и шумит! Что для Зубикомлязгика смешенье времен? свистала и шумит? Ведь он глухонем.

За этим уже полубогом шли шумеры в черкесках с саблями наперевес и турчанки-туристки с киноаппаратами, эти — даже в джинсах! Кто же не заинтересуется, если по Несскому проспекту идет людовик без людей, без портфеля и несет на плече дуб? Где ты увидишь еще такой кадр из кинофильма?

И я пошел посмотреть.

Клянусь: я и не думал ни о чем предосудительном, я шел, не подмигивая, мою физиономию не оскверняла и гримаса грусти.

НО:

Зубикомлязгик, увидев меня, встрепенулся, как встрепанный, закричал на весь мир то ль своим, то ль не своим голосом визга, так закричал, что язык вывалился, а из двух глаз грянули слезы!

Глухонемой бросил дуб у Эллипсеевского Гастронома и побежал. Чуть что — чудеса! Он не пил то, что пьют, мы в школе декламировали наизусть о нем: Зубикомлязгик пьет лишь воду.

Все-то думали про себя: он пьет воду с виду, а в одиночку — как все. Кто не любил насмеяться!

— Ты пьешь лишь воду, зверея, а, Зубикомлязгик?!

Что он мог ответить, глухонемой? Не мог. Он крутил пальцем у виска, объясняя пальцем, какая нелепица вопрос тому, кто не может дать ответ.

Неправдоподобье: не пьет. Но все знали — правда. И я знал, но как-то ни к чему, не задумывался.

Но как я мог не задумываться: почему он побежал? Зачем закричал? По какой статье Кодекса у него ум, — испугаться? Чтобы такой бросил дуб у Эллипсеевского Гастронома и побежал, ломая локтями всех, кто ни попадетса на пути, — из-за меня? Я не гуманист, но вот — вопрошаю.

Воздух в иголках дождя, легкость!

Я шел, я позабылся: что ж, что я геометр, пускай Р. Декарт — аналитик, а жил 54, а жаль; что ж, Г. Лейбниц — линейщик, этот 76, все же получше, чем 54; а К. Гаусс, жизнь продолжалась уже 78: — у меня времени еще хоть отбавляй, если ориентироваться. Вопросы, вопросы листались в моих волосах, и что ни вопрос — философема иль мемуар без лирики о себе: почему я геометр? Что за обязательства у меня — «быть геометром»? Не бросить ли в бездну эту неживую т. ск. науку? Вон — Зубикомлязгик ведь бросил свой знаменитый дуб, несмотря на шумеров и киноаппараты? Вон с какой живостью он побежал!

Я услышал рев толп, оркестр из музык, надо мной вдруг зависли ракеты — как радуги!

Я осмотрелся.

Оказывается!

Я, шагая шагами, постарался дойти до моря им. св. Бельта. Я дошел до моря, вошел в воду и пошел по волнам. Нужно было думать о формулах и фигурах, а не вопрошать.

Интересный парадокс, у меня ум, интуиция, понимание ситуации, я предчувствовал: я иду как-то не так. На мостах, проспектах, улицах, в парках-садах идешь, увязая в грязи ввиду гроз, в мазуте, кто-нибудь из незнакомцев хватит по харе или стиснет в смятеные кисть-пясть, у нас не отличить рукопожатье от рукоприкладства; а я иду себе, и все мне под руку никто не попадаетса. Ноги же чавкают чуть ли не с нежностью.

Вопросы виноваты во всем, — вот объясненье.

Зачем я забрался в море и пошел? (Вот — вопрос, нет уж!) Я не люблю рев толп, ни фанфар, ни литавр, не люблю, если меня освещают при солнце ракетами — как акварелью! Впредь нужно быть осмотрительней, попадетса под ноги вода луж —

обойти по травицам, по граниту. Мы же у моря живем, вдруг опять войдешь в море и пойдешь как под дождиком? Если уж рассеянность, а понадобится, — ну, гуляй в луны по волнам как утка, но не ходи днем — будешь посмешищем, или еще хуже — идиолом, потом и в психиатрическую лечебницу вляпаешься, как балбес!

Почему так получается?

Однажды Христос шел по морю.

На море штиль, на берегу толпы христиан.

Христос шел. Он думал.

Вдруг кто-то окликнул его, но не по имени, а как всех окликают.

Христос встrepенулся. Пред ним стоял я, незнакомец.

— Ты что здесь делаешь? — воскликнул Христос.

— Путешествую, — ответил я, незнакомец, — а ты?

— Я? Я — Христос! Я — ХОЖУ ПО ВОДЕ! А ты кто такой?

— Путешественник. Путешествую, — сказал я, незнакомец, и пошел дальше по морю, не оглядываясь.

Меня окружили катерами (патруль, чтоб не нахлебаться вод в рот!), я повернулся к пристани, а катера в кильватере — кровинцы любят конвой.

Толпы толпились, музыканты взяли в зубы золотые бокалы, — звон музыкальный! Я осмотрел себя: башмаки белой свиной кожи, с металлическими пряжками, куртка с капюшоном — серебристость сукна, с пряжками тоже, из металла, штаны из бел-джута, — выйти можно.

Я вышел из вод, тощ, сух и хищен.

Художникам никак уж не худо у нас, и чегой-то они бегут в цивилизацию, — как в пустыню Гоби, — эх, богемцы! У нас — инстанты, рисуй их, не нарисуйся! Столица не жалеет брюалей на портреты правды. Цену же платит ценитель: чем выше степень инстанта, тем выше цена его личности в красках.

Пока я шел к берегу и подошел, художники ухитрились написать мой портрет и лозунг на красных медицинских бинтах. «Да здравствует Иван Павлович Басманов — ум, честь и совесть эпохи, Исцелитель!»

Зря беспокоился: то, что я шел по морю, — нет ко мне интереса. Кто из кровинцев не забредает в море, и гуляй в волнах по горло, abortируя бормотуху с привкусом йода (сквозь зубы!). Озябнет — выйдет, растеплеется солнышко — утонет. Это у нас называется: искупаться.

Боязнь, где ты? Нет как нет. Я был оскорблен: как-никак, я не купальщик-бормотушник, это их встречают с таким лозунгом,

когда они срывают пломбы с планов, исцеляя промышленные комплексы Столицы от безработиц-дизентерий! Я — ШЕЛ ПО МОРЮ! Кто еще умеет в мире?

Но у инстантов к морю им. св. Бельта нет эмоций. Рыба ушла в Японию, — какая у моря перспектива? Шуметь по ночам? Об этом я писал уже 20 лет назад в пьесе «Ремонт моря». С тех пор общество опомнилось, и чтобы не было шума, — строят на море им. св. Бельта дамбу. Построят — море перестанет шуметь. А то, что я — ШЕЛ — что им? Ходить они не ходят, их перевозят в бронированных машинах от Съезда к Съезду, или туда-сюда, — как сосуды из алебастра! Их и в дворцах-то носят лакеи в лоханях, пеленуя в полотенца из хлопка — как борцов цирка!

Ходи по морю, как хочется, кого касается!

Выяснилось: Я — Исцелитель! Как раз этого-то мне и не хватало.

Ярость моя, стал я отрицать.

Я — Геометр! Я — Академик! Я — Герой! Я — Лауреат! В конце-то концов у меня очутился талант ходить по морю! Хватит с меня! Это ложь диссидентства, я — не исцелял! Вы осатанели от сказок, в чаши чести вы плеснули этим утром сверхмедицинскую дозу соуса совести! Идите в Дом Балета, спросите соседок. Они ответят:

— Иван Павлович Басманов, у него все как у всех; он живет под чердаком, в мансарде, пол зеркальный, пьет флакон, ест одно яйцо, не заваренное в скорлупе, у него 12 учениц-геометристок, он воспитывает их всюю — для общества обещаний. Клянемся: он — не Исцелитель!

Так спросите — так ответят.

Мне сказали:

— Опомнитесь, Иван Павлович! Ваша ярость неуместна. Вы сами не знаете в себе — свойств. Есть, есть в Вас пунктик-параграф. Вы его не видите, а мы анализируем. Мы и так-то Вас еле-еле отыскали, пришлось объявить внеочередную демонстрацию, как для Юбилея, а Вы вот где: прогуливаетесь по морю, как безответственный! Нельзя так! Завтра же Вы войдете в специальный фургон у Эллипсеевского Гастронома, Вы будете сидеть и исцелять. Кто бы ни обратился с недугом по пропуску, Вы рассмотрите кровинца и исцелите. Рекомендация: обратитесь особое внимание на диссидентов, но без обид! Они лгут изо дня в день, что им дают в пищу спец-таблетки от диссидентства, которые действуют отрицательно на психику. Радиостанция «Логос Хамерики» распространяет с удовольствием и эти измышленья. Это клевета, не так ли? Так. Ваша специальность геометр, кто протестует? Не мы! Геометрия всегда служила Столице для Вооруженных Сил: сколько титулов мы присобачили Вам за

формулы и фигуры! Но есть вещи важнее: диссиденты взбесились, у них маниакальный психоз клеветы. Исцелите их! Исцелите их — без таблеток! И нам не нужно будет тратиться на химическую медицину, и им ни слова не солгать. Ведь у Вас известность. Вы не инстант медицины, а гений. А гений — вне идеологических распрей! Диссиденты увидят Вас в фургоне, исцелятся и заткнутся!

Нужно иметь святое сердце, чтобы выслушивать ахиною про себя и не ахнуть млатом-булатом — по башке! — чтобы глаза их, инстантов, брызнули на брег моря им. св. Бельта, чтоб зубы зазвенели от удара!

У меня святое сердце.

Я пишу в этой главе «в зуб», «сквозь зубы», «зуб на зуб» не написал вот, но напишу «загорелся зубик».

О зубах:

Я ИСЦЕЛИЛ ЗУБИКОМЛЯЗГИКА

Неспроста глухонемой бросил дуб и побежал — он был исцелен. Отворились уши, он уже слышал и хруст костей, когда бежал по Несскому, ломая все и вся — локтями. При таком телосложении, когда кровинец несет на плече дуб, вырванный им самим (с корнем!) из Мигайловского сада, — мало ли что можно переломать, и сам не заметишь.

Да что дуб! 250 млн. кровинцев устроили натиск толп, жандармы Столицы были сплющены ими, как фанерки, а Зубикомлязгик — один! — стоял на пристани, держал цепь, сдерживая цепью вдохновенье масс: он раскручивал цепь над головой (о двух руках!), — ну-ка подойди к Исцелителю, эй-ка исцелись! Пытались исцеляться издали, вращая в мою сторону глазами в поисках, но мой взгляд был бел от бешенства, я не смотрел по сторонам.

Я отрекался:

— Что с того, что глухонемой услышал хруст костей, которые сам ломал? Кто кому не ломает кости? Отдайте мне мой циркуль, я не хочу сидеть, как попрошайка у Эллипсеевского Гастронома или как Божество в фургоне! Где доказательства юриспруденции, что я Исцелитель? Зубикомлязгик увидел меня, он мог испугаться, все пугаются, увидев меня, все же я знаменитость. Сей Титан туп, он мог и услышать кое-что. Но кредо кровинца — язык его.

Как можно доверять тому, кто нем? Пусть покажет язык, я посмотрю!

— Подойди! — сказали Зубикомлязгику. Подошел. — Покажи язык! — сказали.

Зубикомлязгик взял двумя пальцами язык и вынул из-за губ — как лист раскаленной стали в литейном цеху! Он сказал:

— Дай двадцать пеек!

Я осатанел. Я вынул горсть монет.

Он сказал:

— Мне двадцать две!

Он же не пил! Что ж ему — на пиво? Что ж, я исцелил его — для пива?

Я раскрыл горсть с монетами:

— Возьми!

— Я возьму все! — лязгнул зубами, схватить пейки — потянулся!

Баю-бай, букашка! Нет сомненья — я исцелил его: хотелось на пиво, загорелся зубик на бормотуху. Теперь отнекиваться от своих свершений? Нет смысла, я — Исцелитель. Но меня-то исцелять от денег не следует, бестактность.

Я закрыл горсть, опустил кулак в карман:

— Дуй на Кузнечиковый рынок, потаскай-ка ящик — ямщика, ты же таскал! Вот и купи коньяк на свои брюали.

Сильно залязгал зубами:

— Я те пойду на рынок! Подавай карман, а то пришью! — выхватил стилет.

— Какой красавец!

— Ты сам красавец! — разлязгался. — Давай деньги, солист!

— Да я про нож. Ручка понравилась. Сам делал?

— А то кто же! Я сам услышал хруст костей, сам завизжал языком, сам купил на Кузнечиковом рынке нож, — сразу ж! Как без ножа, если я теперь такой, как все?

Сомнений нет: я исцелил. Ишь как разговорился.

— Дай посмотреть, давай же, я отдам.

Нож как нож. Такие стилеты делают на всех заводах те, кто жуеет железо, — от нечего делать, для молодежи. Сталь высшей марки, желоба нет, гарды нет, ручка наборная из цветного плексигласа. Таким ножом хорошо резать младенца в коляске, если мама стоит в многомиллионной очереди за каменной крупой и коляска без присмотра. Но про мужчин и женщин: не тот нож, ударишь сзади в лопатку, твой же кулак соскользнет, у взрослых костяк, сам порежешься. Исцеленный не туп, извиняюсь, ему еще сообразительности не хватает, универсализма кровинцев. Ничего, Зубикомлязгик, освоимся!

Я засмеялся:

— На́ нож. Ни пейки не дам. Пойдем со мной, бормотуху поставлю, но: будем шагать шагами и ты будешь держать меня.

— Как это?

— Под ручки. Поддерживать. Если упаду, поднимешь и понесешь. И принесешь, мышцы у тебя есть.

— Как это — я! — тебя! — поне-су! Буду я всякую пададь носить!

Мы пошли.

Первую кружку ЗЛ выпил, и она разлетелась вдребезги от лязга зубовного. У второй откусил чуточку. Третья дребезжала в зубах, но не поддавалась.

По телефону:

Я: — Случайность улик. Он всегда был глухонем. Я видел этого ЗЛ с детства, изучали в школе, как пособие. Теперь увидел меня — он! Он мог испугаться, что я так вырос — до 44 лет! — и тут же исцелиться! Кто у нас шагает шагами до 44? Никто. Все шатаются от стенки к стенке, кто держится на ногах до медвытрезвителя? Никто. ЗЛ мог изумиться, увидев меня на ногах, и результат — исцелиться!

Я выкручивался.

Они: — Вы неутешны. Мы не торопим с фургоном для исцеленья, у нас есть и досье. Вы не в курсе: все, кто пугался, глядя на вас, исцелены были тогда же — Вами. Ни Вы, ни они об этом не знали. Теперь Ваше имя известно во всем мире. Пример, простите за штамп, налицо: Зубикомлязгик. Кем был? Глух и нем, — о глуп! олух. Кто теперь? Слышит обо всех и все нам говорит. Настоящий кровинец Зубикомлязгик стал, — кровь с молотком! Думается, Вам с выводами, а, Исцелитель?

Я лег на пол и посмотрелся на себя в зеркало. Ясность: мой вид исцелял их всех, — хуже хари с похмелья быть не могло... Как тут не исцелиться?

КАК Я НАЧИНАЛ ПИСАТЬ РУГОПИСЬ

Несколько слов об «истории создания рукописи». Точнее: о начале написанья. Остальное безвестно, я не писатель, мой том не шедевр, биографа у меня нет.

Я, Иван Павлович Басманов, геометр, начал писать 25 марта 1980 г., вот — в возрасте! У меня бывали, рассказывали: я сидел на тахте, пьяный, небритый, серебряные серпы волос свешивались и сверкали на шее, на подбородке, на щеках. Я

сидел на тахте, крытой персидским ковром, красным, — голый, в расстегнутой сутане, с кинжалом.

Меня спросили:

— Как Вы выдерживаете такие перегрузки и столько работаете?

Я блеснул зубами. Оскалился. Вообще-то, когда я улыбался, я не открывал зубы для всех. Улыбался, т. ск. сомкнутым ртом.

— Есть рыбешки речки, рыбки озер и рыбы морей, а есть глубоководные рыбы океана, сплющенные, с двумя глазами на темени, такую тушу вынь да брось в родной ручей — она издохнет.

— Но это метафора. Вы не рыба, Вы человек.

— Во мне осталось еще что-то человеческое? — с сомнением спросил я. И тряхнул своими серпами: — Жаль!.. Ошибаетесь. Посмотрите на людей, — какой же я человек?

— Не спится, — пожаловался я. — Рутопись пишется, а ключика к ней нету.

Стали уходить.

Я смотрел на уходящих — тоже уходящими глазами. Потом — вдруг! — размахнулся и вонзил кинжал в свою тощую ляжку. Никто не успел откликнуться, но кто-то вел счет: в правую ляжку я одиннадцать раз вонзил кинжал, в левую двенадцать. Я был быстр, а им не растеряться бы! Кровь еще не взлетела брызгой, я взял со стеллажа антисептический клей «БФ-6» и замазал клеем обе ляжки.

— «Скорую помощь», или сошел с ума?

— Нет, — сказал я. — Способ; употребляли древние индусы из секты браминов. Чтоб успокоиться и уснуть.

— Вы бездушный эгоцентрик! — закричали на меня, как ужаленные и плачущие.

Но я сказал им:

— Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.

Я взял со стеллажа статуэтку Афродиты Милосской (мрамор!), нежнейшим жестом положил на тахту.

— Моя Прекрасная Дама. С ней я сплю.

Я взял со стеллажа нож и вилку.

— Я — ясновидец, меня частенько приглашают там на банкеты. А есть нужно по правилам. Я и ем.

Я вздохнул, как зевнул, отбросил ковер, укрылся ковром и уснул, скрестив локти на груди: нож в правой руке, вилка в левой. Справа от меня лежала статуэтка, обнажена.

Я спал, как спрут, желтоглаз, в кудрях, весь — нерв и мускул!

ЛОПЕ ДЕ ВЕГА КАРПЬО ФЕЛИКС

Лопе сильно пил.

У него был свой кабачок «Субботняя собака».

В Мадриде.

В 6 часов зари де Вега появлялся в кабачке и начиналось.

У него была любимая женщина, самая жирная из примадонн Испании.

Она тоже пила. В кабачке.

Все директора театров Мадрида время от времени удалялись в Больницу Всех Скорбящих (сумасшедший дом!). Потому что: примадонна играла все главные женские роли во всех пьесах Карпью, во всех театрах. Так он повелел и так было...

В кабачке пили тореадоры, Кармен и Мигель де Сервантес Сааведра.

Писать в кабачке было нельзя, — стук стакана!

Подписывались лишь контракты на пьесы, романы, на пляски, на бой быков.

Феликс и не писал.

Напившись к 6 заката, он становился небрит, в серебряных серпах волос, — невменяем. Примадонна уносила гения на жирных плечах, как на пружинах.

И так — изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год и т. д.

Но:

каждые две недели, как с конвейера, выходила в свет новая книга Лопе де Вега, состоящая из — 12 пьес! В стихах!

Никто не задумывался: пьет и пьет, а книги выходят, а пьесы ставятся, вот и всемирная слава!

Задумался лишь Сервантес. Как не задуматься — для дневника?

На глазах романиста — ежедневность оргий, он присутствовал при агониях.

Не до ума, — Сервантес отважился на детектив: он пошел за примадонной, несущей на плечах «Чудо Природы», «Гения Века».

Женщина принесла, свалила драматурга у крыльца. Дворецкий унес поэта наверх, в кабинет. Огни дома загасли. А наверху горел один огонь.

Через час автор «Дон Кихота» ударил молотком в дверь.

Заспанный дворецкий не мог не впустить друга хозяина.

Дверь кабинета распахнул сам Лопе де Вега, свежий и дивный, в белоснежных манжетах, в драгоценных пряжках, с орлым пером в руке наотмашь. Глаза его были белы от бешенства:

— Что Вам нужно, С-С-Сааведра? Не выкручивайтесь, — ведь Вы меня выследили! Вы украли у меня время, Вы — вор

конца моей пьесы. О Мать Божья! Из-за Вас я потерял нить смерти Лжедмитрия, где Петр Басманов берет меч. До завтра в 6, в «Субботней собаке»! За справками обращайтесь к примадонне!

После Лопе де Вега осталось 2.500 пьес, не считая т. ск. романов, поэм, трактатов, сонетов, писем.

При жизни Лопе де Вега любил, если мог, читать в кабачке трактат герметиков, созданный в начале нашей эры. «Герметики — религиозная секта, сплавившая гностицизм, иудейскую и эллинистическую мистику. В этом трактате под именем Пемандра божество открывает автору тайны бытия и путь к мудрости».

После каждой своей книги Лопе де Вега любил цитировать Пико дела Мирандолу (из речи к Эрмолао Барбадо):

— Для черни не пишем, а для тебя и тебе подобных!

ТРАКТАТ О КЛОПЕ

В начале сотворил Бог небо и землю неустроенные, и дал им устройство в 6 дней.

В первый день сотворил Он свет.

Во второй — твердь, или видимое небо.

В третий — отделил воду от земли и повелел земле произвести растения.

В четвертый — создал солнце, луну и звезды.

В пятый — рыб и птиц.

В шестой — животных земных, человека и клопа.

Бог сотворил клопа словом своим: ибо Он (Бог!) всемогущ.

Человек ненавидит клопа, но клоп человеколюбив.

Клоп — первый одомашнил человека: нельзя покидать на произвол свою пещеру, если остается клоп. Нельзя шагать шагами по прериям, снегам и джунглям, зная, что в пещере клоп травмирует твоих детей, родителей и жен, можно лишь поохотиться за пищей и возвращаться для борьбы.

Клопа не убьешь пальцем и не выметешь метелкой из хвоща. Так человек изобрел каменный топор. И сражался с клопом — топором! Борьба была безуспешной, но закаляла нерв и мускул. Священное чувство борьбы, — без него человеку нет места на земле! Пропади борьба — и человек превратится в мужчину или женщину.

Клоп — людоед. Жить в одной пещере с людоедом, в непосредственной близости от укусов и в ужасе от бессонниц, — так человек стал бесстрашен и неукротим. Посвистывая, он шел на мамонта или объявлял бой медведю и льву, что ему эти враги-великаны, схватка с которыми не без риска или смертельна, но

длится считанные секунды, — если в моей мансарде жил, живет и будет жить самое чудесное чудовище — клоп! Возвращайся, воин, в дом, убей копьём из меди клопа, спаси семью хоть на краткий час чаепитья — от мук!

В древних цивилизациях клопа обожествляли:

в гробнице фараона среди захороненных наложниц, лошадей, свиней, — со всеми теми животными, которые понадобятся усопшему в том, первичном мире природы и Бога, — самое сибаритствующее место отхватил клоп: после бальзамирования на тело трупа выпускали клопа и забинтовывали мумию.

Древние понимали: Бог дал человеку тело и вдохнул в него душу, а клоп дал телу энергию круговращения, а душу изощрил!

Факт социологии. Платон писал: нет равенства на земле среди людей, животных, растений. Всюду расы, классы. Идеально лишь государство клопов. Нет клопов-негров, славян, японцев, у всех цвет кожи — красный! Нет у клопов трудящихся, композиторов, инстантов, диссидентов. Свободное сообщество свободных зверей. Пьют кровь человечью, но это полезная медицинская мера — донорство. Платон мечтал построить человеческое государство по образцу общества клопов.

Но

нам

пить

кровь

чью? — не сказал.

Мы

и

не

пьём

кровь. Ничью. Мы — кровинцы!

Факт философии. Мысль бессмертья. Индус после реанимации превращается в козла, в стрекозу, или в розу (поэтизм!), ему, индусу — жить-жужжать в новой оболочке!.. Ой жужжом, жужжом!

Умер же козлом, стрекозой, розой, — перевоплощается в изумруд, или в звезду Регул. Умер изумрудом, Регулом — перевоплощается в ... и т. д. до тошноты.

Мечты о метаморфозах! Эллада и Рим уже сжигали трупы в прах. Скифы без эллинизма, без наук тоже трупы — на костер! колдуй, — таинства пепла!

У Матфея не все про Гефсиманский сад. Как мемуарист, Матфей отлил фигуру Христа из афоризмов. «Да минет меня чаша сья!» Мемуары — источник без надежд. Сохранился апокриф. Эта фраза не отрицается, Иисус так сказал, но... выдохнул воздух и добавил тишайше:

— Но бессмертны во вселенной лишь боги и клопы.

Почему-то Матфей не включил поправку в издание Синода, а она никак не компрометирует Учителя. 1950 лет по смерти Сына Божьего в Египте вскрыли сто гробниц фараонов и в каждой был клоп. Где клоп, там микроскоп, там и осмотр клопа.

Клоп спал, — признак жизни. Гипотеза.

Опыт: поместили под колпак в питательную среду, — клоп ожил. Теорема.

Сняли колпак, отпустили на все четыре стороны, — клоп победил, как конь, живой. Аксиома.

Поспал, эн-тысяч лет, что ли, в бинтах, очнулся и спросил: — В каком же, мил-мои, тысячелетье я очутился?

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ТРАКТАТА О КЛОПЕ

Я очутился в больнице: адрес: Летейский проспект, д. 4/2, больница им. св. Уйбышева.

Больница за решеткой, решетка — чеканка; чеканка — чугун с вензелями. Пред больницей в роли фонтана — искусство: скульптура бокала из гранита, обвитая гранитной змеей. Это — эмблема Авиценны.

Предваритель-дворик с дорожками, где чист-песочек и семь скамеек — изделие каменотесов, спец-заказ для родственников, которые приходят хоронить.

По фасаду больницы колонны, вывезенные из Рима во времена Октавиана Августа, Рим разлагался, продавая колонны из порфира по дешевке соседям, для больниц.

Палата: освещена, как в солнечной системке, — окном: паутина — пай-Ундина, отопленья нет, а тараканы потрескивают, как угольки в камине; пододеяльник выглажен до идеи, как животик долгожителя; простыня выстирана нефтью в павлиньих разводах. Одежда из веревочной ткани, это модно на выставке в Зимбабве.

Четверо на койках, двое на раскладушках, трое на импортных, лишь вчера обоссанных матрасах, этих и положили-то пониже (матрасы — на пол!), потому что к утру четверо, как правило, умирали. Температура у них не превышала 40 градусов, место им для смерти — внизу.

У нас на койках превышала, вот мы кой-как и жили-были.

Ни выдающихся людей. Ни выдающихся смертей.

Тельце мое в бреду, отверзая зеницы на хлопок глазика, я смотрел, как по мне ползает кто-то, малюсенький, красненький, во множественном числе. Я слышал выстрелы. Галлюцинация зренья уха — так.

Я отбредился, вставил в подушку слабый локоток и осмотрелся.

На койках — три скелета, умытые для анатомички хлороформом, на раскладушках — два мертвеца, их обрили электромашинками с ног до головы, а пониже пупка — по гигиенической салфетке, для скромности.

Надо мной: босой, окровавленный в кальсонах, трость он имел в левой руке, парабеллум в правой; стоял, подмигивая.

— Это я: М. Н. Водольянов! Отважный герой, пилот, космонавт. О Иван Павлович, вспомним песнь про меня и споем «Как отважный герой Водольянов, самолетик мы в лечик пустим, через синий простор окяянов мы за бомбами вслед полетим!»

— Не пой

при мне

ты песен, —

сказал я с трудом. — Боевой ли кровью запятнан ты, отважный герой?

— Открою тайну, вот почему ты еще не скелет: я двое суток дежурил у твоей койки, я глаз не смыкал. Я ведь тоже интересуюсь геометрией (я затих) ...высшего пилотажа (у меня отлегло). Теперь вой! — он дал трость. — В рукоятке две кнопки. Нажми вверх. — Я нажал, — выстрел! Стреляла рукоятка. — Нажми вниз! — Я нажал. Из трости выскользнул клинок, обоюдоострый. Я убрал клинок.

Трупы с раскладушек унесли в морг. Скелеты расфасовали и унесли в скелетную. Две санитарки с красным крестиком на лбу — обдули ртами еще пахнущие ссаньем матрасы. Принесли нео-больных с + 40°, группа залегла; кто бредит, кто сбрендит — не принцип: к утру их ждет та же участь.

Вечереет, солнце, как говорится, не в зените, на потолке клопы.

Двигаясь по освещенной плоскости, клопы рисовали геометрические узоры на потолке — неопишущей красоты. Я залюбовался. М. Н. Водольянов вынул из-под подушки два кинжала, на тумбочку. Я выхватил трость и нащупал кнопки.

— Приготовиться! Будем стрелять в лет! — команда, Водольянов.

Мириад клопов отделился от потолка и как-то, как пар кровавый, параболически стартуя, без парашютов, — завис! В лапах у клопов миниатюрные шприцы с новокаином (анестезия от укуса!).

— Огонь! Пли! — команда, Водольянов.

Мы — стреляли! перезаряжая обоймы. Клопы гибли от пуль, кой-кто все же распустил парашют, запутался в стропах, пал на нас плашмя. Этим мы ликвидировали клинком и кинжалами.

Больные забились под одеяла, закутав горящие головы. Они выздоравливали, — до утра.

Хорошенькие санитарки, хочется повториться, с красным крестиком на лбу, приносили нам супик с рисом и кашку из пшена в металлических посудах, присаживались на койку, переливали супки-кашки в свои водонепроницаемые термосы, завинчивали крышки, уносили к себе, домой, — у нас нет аппетита.

Мы же соскребали с окна замазку, растворили в сероводороде и лакали отвар, нам он больше нравился по вкусу; на врачебный уход жаловаться никак нельзя.

Мертвых клопов выметают швабрами (широчайшими!) аспирантки медицинского института, стажирующиеся в больнице им. св. Уйбышева, или же бросют клопов в ведра из эмали, для лабораторий эксперимента. Койки заливали карболкой, санитария и гигиена.

— Я люблю эту больницу! — сказал М. Н. Водольянов, когда выяснился диагноз, что мы уже не умерли. — В ней есть что-то человеческое. В другой просматривают, прощупывают, инструктируют, в задницу витамин запускают — иглой, трясут сердце таблеткой, давишься кишкой, пьешь стакан важных влаг, зубильцем ятра простукивают, — вот и урод от старости в цвете лет!

— А здесь! — ты лик, ты лёг, вынимай клинок и кольт, стреляй в тварь-клоп во имя оно! — столько боевых воспоминаний, такой самоперелив крови, сье ль не омоложение организма, — я тебе говорю!

Кто не любил меня? Отважный герой М. Н. Водольянов, как не полюбить, я с первого приказа бил в лет клопов, по-снайперски.

И он повел меня в иной, женский павильон. Там вымерли все, лишь на койке-качалке юница в пеньюаре (нейлон — цвета кольца свадеб!), лицо — роза, а глаза как у мертвой.

Операция горла, хирург из Лондона, ему дали в тютельку валют. Операция описана во всех еженедельниках, во всех идеологических газетах мира. Доктор — без преувеличенья, он стал личным хирургом Королевского Двора для принцессы Анны, ведь она скачет на скачках!

Вместо горла хирург вставил пациентке трубку, изобретенную им же, получил патент и сейчас — миллиардер промышленности трубок. Он уехал в Лондон в званье лорда.

А

ночью

нынче

в

трубку

забрался

клоп,

спасенная медициной пациентка закашлялась, как в истории болезни, и умерла.

Вся больница им. св. Уйбышева, все ходили к ней, — им так хотелось, ей было 22 года, вот вам: авантюризм и профанация лондонской хирургии!

М. Н. Водольянов:

— Путешественница! Мечтательница! Была с дельфинами на острове Патмос, ты, Иоанн, сын Павла! Но... — отважный герой стал суров. — В Столице 155 больниц. В них 48 тысяч коек. Населенье Столицы 250 млн. Подсчитай, геометр, Академик, мать-твоей-матики, на скольких получается одна койка?

Подсчитывается, без ЭВМ.

— Вот видишь. А в нашем климатическом климате болеют что ни кровинец. Вот и нужно высвободить койки. Что нужно для того, чтобы высвободить койки для живых? Нужно держать клопов. Они в одну ночь съедают выздоравливающих до состояния скелета. А не получается сей час же, а вешиваются на досуге иностранные специалисты, — пожалуйста, и здесь, клоп не плох! Втюрился в трубку — энд энд!

Водольянов смотрел на девушку, не отрываясь:

— Ты не знал ее. Счастливчик, что ты не знал ее!

ОСТРОВ ПАТМОС. КЛАССИЧЕСКАЯ НОВЕЛЛА

Но я знал ее.

Имя ей Юля.

Ее любил Юлий.

Бог родил эту пару друг для друга, — по аллитерациям!

Это прием про любовь, я не новатор, к примеру, Гюи де Мопассан, но у романиста-француза Жанна и Жан, пеструшка-папушка и деревенский дурак, — слюна сантимента!

Юля — специалист по дельфинам, Юлий — одинокий отрок с теодолитом и альпенштоком, диссертант песчинок у скал острова Патмос, я взят в экспедицию, моя компетенция в чем? Я черчу прутиком на песке, архимедствуя. Пропашее лето. Я ушел от Майи, посещал Южные Провинции, как бессемейный консул Столицы, бессменный. Меня и подобрали.

А Юлия любила Кристя, его собака, сука доберман-пинчер.

Сложен слог мой. Слушай:

три палатки, но Юля и Юлий жили вместе, любя, в одной, я во второй, третья пустовала. Хотели отправить в изгнание Кристю, но сука не покидала хозяина, так она понимала свою собачью задачу. Вот и песнь о второй палатке: там — треугольник! По ночам двойня курлыккала в поцелуях, а Кристя выла, бия львиной лапой Юлю — по губам! — чужая баба посягает на уста Хозяина!

Кобра де капелло. Рост 1 м 80 см, красновато-желтая, а присмотреться — пепельно-голубая. Будда, странствуя, заснул на солнце полудня. Кобра — явилась. Она распустила свой щит и затмила им лицо Бога от слепящих лучей. За это Бог дал ей очки, — от коршунов. Коршуны жрали детенышей, а очков боялись.

Коршунов у нас нет, расстреляли в борьбе. Бога у нас нет, и не раскаиваемся, я и не злился: у нас есть солнце, повсюду!

Где тот, кто, варвар, подошел бы во весь рост ко мне, интеллектуалу абсцисс и ординат, — стоит за моей спиной и смотрит на пруттик, затмевая меня от слепящих лучей, а я не спрашиваю «кто там?», говорю для Энциклопедьи:

— Отойди, ты заслоняешь мне солнце! или: «Не трогай мои фигуры!»

Так я говорю и меня убьют.

Хоть бы меня убили в темя, но чтоб не знать!

Но для того, чтобы заслонить мне солнце, нужно поставить за моей спиной не варвара во весь рост, а когорты Александра, легионы Цезаря, инфантерию всех Войн, договоримся: пусть все стоят на плечах друг у друга, плечом к плечу, пусть за мной выстроится стена из 250 млн. живых людей — в высоту! Но эта идея абсурдна. Где найдется столько солдат, да и так или иначе солнце будет светить в морду. Не сочувствую солнцу, если я не люблю его.

А Юлий возненавидел кобру, не хотел быть убит змеей, хватался за гарпун, я распространялся о лекарствах, противоядиях: настой дикой конопли и табака пембу-кейлу на безаловом спирту гонгеа, или же смочу рану укуса смесью из нашатырного и винного спирта, янтарного масла и воскового мыла, плюс бутылку теплой мадеры. Это нам пришлют из Академии в случае смерти Юлия-змееборца, пришлют даже известный корень от змей — «найя-талик-каланго», а вот бутылку теплой мадеры — найти никто не мудр. Бросай гарпун, иди, целуйся.

Скалы цвели! фиолетовыми и малиновыми эпитетами, вот уж в скалы-то меня не ушлешь, дай мне даже злат-линзы Алладина; если бы мне на блюде Саломеи поднесли под нос корону царя Мьяу-Цзен-Дюма — я не пошел бы в горы: там нет пространства для шага. Где мне шагать по призыванию — вперед и вперед!

Да кто посулит корону? Я подозреваю, что сейчас не осталось ни одного государства, где не было бы Братства, Равенства и Свободы, — попробуй, потребуй корону! — возмутятся везде.

Дельфинарий: полуостровок через протоку, в 42 м от палаток. Там кишела всякая всячина в мундирах со звездочкой, сходили по трапам с эсминцев, смотрели на дельфинов из-под козырька,

ни разговорчиков, секретность (Вооруженные Силы!), предусматривается инструкцией, ну, насмотрелись, без церемоний пожали руку Юле, а сья, как самка, ходила по форме в маске, в ластах, с гарпуном, сели на миноносец, уехали в моторах и в броне, им на смену делегаты в костюмах, кажется, — повторяется, процедура.

У Юли захватывающая диссертация, если подвизаться в одежде водолаза и жать 500-1000 рук в сутки.

Дельфинов отлавливало судно без мачт, борта и артиллерия выкрашены под цвет морской волны для конспирации, меня не касается. Мне-то для чего маскироваться?

Дельфинов привозили в серебристой цистерне с люком, но звери валялись и на палубе (как в больнице!), хлопая хвостами! — сбрасывали в дельфинарий, используя вилы. Так, семь в тельняхках подхватывают вилами и швыряют в воду, за решетку. Штиль. Дельфин — вверх вертикалью, как с детства и на свободе волн, — взвизгивает, флиртует! Но тут же бросают в воду еще и еще. Почему-то каждые двадцать дней привозили двадцать дельфинов. А бассейн: 50 м длина, 30 м ширина. Я объясняю как умею: 1.500 м кв. глубокой воды огорожены стальной негнущейся решеткой, незвенящей.

Вычислители Вооруженных Сил вычислили из логарифма: дельфин — не килька, квадраты решетки как раз для того, чтобы сунуть в них жаберный нос, но не более. Прыгали животные, совали свой нос туда, куда не стоит совать — в свободное Черное море, нос портился, подышали. Юля расписывалась за единицу прибывшего и единицу подошедшего. Вооруженные Силы лелеяли мысль, что смертность прекратится, если спец-комиссия разрабатывает спец-проект спец-намордника для дельфина, чтобы зверю дышаться в духе и чтобы нос не портился. Но у нас нет специалиста по наморднику, нет еще и фундамента спец-Лицея для специалиста, где можно было бы обучить самородка через пятьдесят грядущих лет; и через пятьсот лет ничего путного не получится, а дело и так движется, Юля ведь не нарушает форму скафандра и гарпуна, умеет без цинизма подержаться за руку с посетителями, да на острове Патмос в 42 м от дельфинария думает о выводах в числах действительный Академик — я! Хлопотать — излишек, если газеты, есть о чем написать правду.

Днем: я и Кристя, у нас игры: в пятнашки, в камушки, я бросал Кристе ветвь, как оливковую, скакалка, или же купанье, пока не посинеет, как все вокруг: синее небо, синее море, синий воздух!

Юля возвращалась, Юлий возвращался, ночь, и фонарь не зажжешь для салюта, у них электрические, у меня никакого, я

жег костер, бросая в хворост сало из консервов. Два диссертанта любили, я занимался в уме эквидистантной поверхностью и орисферой. Двое ссорились, я сделал флейту из тростника, змеи затанцевали.

На жизнь — жаловаться?

Амблицефалиды ели улиток.

У VIPER ЖЕЛЕЗÁ во влагалище языка.

Коралловый аспид с малиновым брюхом, ему бы жить в картофельном поле и жрать клубни, картофеля у нас нет. Без лекарств не обойдемся. Лекарство от асида — вливать в себя настой листьев и стеблей бразильской розы. Бразильской розы у нас нет, у тебя лицо, Юля, как роза, не отворачивайся.

Мадагаскарский удав: сине-золотисто-зеленый, блеск металла! Жрет преимущественно голубей (сам ловит, и хоть голубь — святыня, я сижу!). Жрет же в виде исключения кролика и крысу. Мадагаскарский удав, хорошая длина — 8 м 29 см. Живет в воде, в обломках скал, ловит рыбку в протоке, свесившись со скалы, подстерегает водосвинок, агути, пака, любит уток, свиней. Поиграй с ним, Юля, и ты, Юлий, он ест девочек и мальчиков — лишь младше 10 лет.

А мне — лунная змея, глаз у неа со зрачком вертикалью, а цвет ея — цвет гвоздики! Мне она — при костре, при луне, и мне же — зеленый змий Бумсланг — 2 м 5 см, ему не до танца, лежит у меня в головах всю жизнь, свежесть моя утренняя!

И пусть питон сетчатый, фиолетово-желтый, рост 5 м, съел за сутки карликовую свинью — 1,5 кг, двух юных антилоп мильгау — по 8 кг, козла — 11 кг, еще козла 15,6 кг. Пусть он переваривает пищу 9 суток. А на десятье сутки я дам ему самку сибирского козла 29,6 кг, и просто козу 33,6 кг. Пусть ест, если в пользу, я же ем в сутки яйцо. Одно.

Вам: все восполнит иероглифовый питон ассала, 9 м. Я убью его, используют для кухни вместо растраченных мною свиней, антилоп и коз. Я положу его мясо в кипящий котел, приправлю солью и красным перцем, я разварю мясо, и вы съедите с таким же удовольствием, как едят мясо крокодила, самое любимое блюдо Восточного Судана!

Исчезла. — Кристи нет!

Нельзя написать, что Юлий понурый, а Юля скорбящая. Поискали пса (поаукаться!), принесли букет цветной, я сплел два венка и возложил на их диссертантские главы. Смех: у них есть сенная девушка, вот и веночки плетет.

— Ох льстец! — восклицала Юля. Я не льстил им.

— Термути! — сказал я. Лучшая из змей — ара. Ее изваянья высекали египтяне на храмах по обеим сторонам земного шара.

Ея изображенья носил на лбу фараон. Младший брат ара — термутис. В каждом углу храма египтяне строили для него кормушку с телячьим салом. Термутис бессмертен, противоядья нет, он — орудье самоубийц. Благодаря термутису покончили с собой знаменитости: Гален, Деметрий Фалернский, Клеопатра. Сей змей помещался в виде диадемы вокруг головы Изиды. Я — вам — возложил венок цветной! Два венка, и в каждом по термутису! Для свадьбы.

— Издеваешься, или юмор? — спросил Юлий, мужчина. — По какому праву ты вмешиваешься в наш внутренний мир?

— Где Крестя? — спросил я.

Я разыскал винные ягоды и предложил Юлии роль Клеопатры. Я выкопал таврский меч и предложил Юлию роль Антония.

— Какую роль — себе?

— После клинической смерти вас двух мне остается Робинзон.

— А справишься? Ты ни хрена не умеешь.

— Найдут. Кровинец просматривается, в досье — инфракрасный луч! У нас человек не пропадает, как пропала. На него смотрят.

Сомнительно, что меня найдут. На острове Патмос три палатки и маяк. Змеи не в счет, бессловесны. Скорпионы умеют лишь кусаться, если не спится, — подлость! нет от них защиты. Муравьи да стрекозы. Пока муравей перейдет горы, я уже патриарх. Стрекоза дальше первой линии моря не улетит.

На маяке — слепая. Старуха-слепуха, как ей соображается? Мы носили на маяк (я носил!) миски с едой. Мяс-колбас, цыплят, шашлык и пр. продукты (дефицит Столицы!), старуха не жрала, видите ли. Ей нужен омар. К омару она пристрастилась с детства. Я взял учебник по ловле омаров, и мы с Кристей ныряли на дно моря, ползая за этой мразью, он еще и клешней цепляется.

На очах — ночь. Я плелся к протоке, жгу костер из розг хвороста, смотрю на дельфинарий.

Нет мне глаза вверх, там космос, в нем звезды. Звезд множества, я не гимназист с биноклем и не часовой у склада водородных бомб, чтобы, любопытствуя, всматриваться в сыи массы. Я уяснил, почему Джордано Бруно пошел на костер. Он пошел на костер потому, что иссяк ум ученого, одеревенели глаза от рассматриванья мертвых, никому не нужных блесток — бижутерии Вселенной. Уж лучше смерть, но в живом огне!

Я виноват, но я у костра, варю в консервной банке чифир. Ночь юга черна, чуть красновата. Маяк вертится во все стороны, сияя, дезориентируя флот, — старуха-слепуха развлекается! Вот в море столкнулись эсминец и авианосец. Воздушный взрыв и бенгальский огонь! а море в лампах новогодней елки для малышей,

а на волнах серпантин и конфетти, фарфоровые блюда с лазурными чайничками!

Утром приплывут жертвы аварии, т. е. трупы, мы их засыпаем солью, будут лежать на злат-песочке, делая вид, что у них дыханье легких: Потом их увезут на катерах...

Змеи приползли к огню, стали на хвосты, смотрят: пыланье и приятность. Змей я не боюсь, с ними безопаснее: войди чужестранец в мой шатер — бросятся, как бешеные, ведь они живут в моих одеялах и пьют мое молоко.

Ночь моя, — ничего!

Дельфины не умирали. Юля лгала в расписках. Свидетельства о смерти — фальшивка. Дельфины ревели всю ночь, взрывая воды тюремщицы. На рассвете, когда всходила в лиловом, лишнем небе Звезда Утренняя, они утихали, и тишина страшна, я знал: совещаются.

Посоветуются и попрощаются.

Девятнадцать дельфинов отплывут к берегу острова, а двадцатый выйдет на старт. Он отойдет к южной стороне стальной сетки, развернется тело-скульптура хвостом к югу, головой к северу, примет позицию «баттерфляй», окунет морду в мутную водицу и в миг, молнией выбросится из воды — всем телом! — и пролетит, как взмах Ангела, все пятьдесят метров, и ударится мордой о сталь-сеть, и разобьет морду вдребезги, — самоубийство.

Кровью окрасится водоем, кровью взойдут воды Черного моря, но через пятнадцать минут и энэн секунд мертвое тело зверя изойдет уже в смерти, кровь растворится и рассеется, и девятнадцать товарищей взовьются в воздух — последний салют! Сегодня покончил с собой Двадцатый, завтра очередь Девятнадцатого. А Последний знает, что Верхний Час его — в третий понедельник, считая с сегодняшнего четверга.

О море море. Старухе нужен омар из каприза, нам креветки для деликатеса, а Вооруженным Силам — дельфины для целей. К ним хотят привязать торпеду и напустить на вражеский корабль. Может быть, с торпедой дельфин и пойдет на врага, все мы — камикадзе, когда война касается земель и вод, где твоё рождение и твоя мансарда под чердаком. Но звери — НО звери. Возвратите мне мой звериный облик, если уж существует ваша административная теория эволюции.

— Эмоциональная сторона вопроса вне компетенции тебя, Академик! Мы исполняем инструкции, но не трогай нашу страсть! Черти ко всем чертям, жги свой юниорский костер, танцуй со змеями, ты, фетишист! Ты уже написал доклад о нравственном облике сотрудников? Ты протелеграфировал, не позабылся, что на острове Патмос — растлень? Ты посмотри на себя, на зер-

кало: морда небрита с месяц, жрешь чифир, как тебе подсматривается, как люди любят? Как бесится Вам, импозант? Не волнуйся, мы на тебя не напишем, слонявь свистульку, но не задевай святыне струны!

— Кристи нет. Нигде.

— Какое тебе дело до Кристи? Это моя собака.

— Моя собака. Она не твоя, Юлий, она своя, собачья. Так-то Псаммит.

— Не ругайтесь про пса!

— «Псаммит» — это трактат Архимеда о песчинках, — твоя специальность.

— Закрой зев, Юлий. Иван Павлович прав: Крестя вписывается в накладную, хоть и твоя, но так же, как мы трое — четвертой, на нее рацион. Иван Павлович должен знать.

— Мы же ее искали сутки, не нашли. Откуда я знаю — где? Ты — знаешь?

— Мы ее искали не сутки, а час. Ты не энтузиаст, Юлий.

— Юля, опомнись! Остров огромный. Чего не случается, — ужалила змея, укусил скорпион, отравилась чем-то и ушла подыхать, ведь животные не любят умирать на виду у людей. Я любил ее, мне жаль, но бессмыслица — искать труп! Где-то! А она где-то, потому что не отходила от палаток при жизни.

— При жизни! — канцелярист ты, Юлий. Тебе бы в морг, а ты на морях стихий. Я узнала позавчера: Крестю увез катер, под цвет морской волны. Она понравилась инстанту со звездочкой, он и увез. А если попроще — украл.

Позволю штамп: Юлий остолбенел.

— Почему ты молчала, Юля? — спросил я.

— У того столько звездочек, что замолчишь.

— Я вмешиваюсь.

— Умоляю Вас! Замолчат и Вас, и так быстренько, что не успеете свистнуть змейку. И всех нас выгонят в Столицу. Вам-то никак, а для нас — единственная экспедиция для диссертаций! Судьба! Не вмешивайтесь, Иван Павлович, я подарю Юлию добермана точь-точь, как Крестя. И назовем в честь нашей — Крестя 2!

— Юля! — сказал я. — Встань с камня и отправляйся. В дельфинарий!

— Не командуйте моей женщиной! Может быть, Вы ее — изнасилуете? Учтите: я в ярости! На острове нас трое, ни души больше. Я знаю карате! Я сверну Вас в узел и швырну в море!

— Моя женщина. Субстанция собственности, Юлий, — неистребимая извилина в мозгу тупиц.

— Не читайте лекции, Вы не инстант, не оскорбляйте!

— Сушь и твердь, вода и мир растений, Юлий, — ни о какой башке-букашке тебе не сказать «МОЕ». Чувство собственного

достоинства, реакция на лекции и оскорбления — свойство натур чистоты. Ответить, что ты такая натура — язык мой нем!

Юлий встал с кулаком.

— За что ты убил собаку? — спросил я, сидя.

Юлий открыл рот. Оказывается, зубы у него — один к одному.

— Второй вопрос: почему ты убил собаку?

— Вы не прокурор, Вы...

Я прервал:

— Сядь, объяснимся; за что и почему ты убил? Ты знаешь, что она была — беременна?

— Я не знал! — закричал Юлий стоя, и сел.

— Пока твоя Юля убивала дельфинов, а ты описывал песчинки скал, я обследовал остров. Здесь ценные минералы и деревья редких пород. Под одним из деревьев, на минералах, я обнаружил труп Кристи. Ее еще не совсем съели муравьи. Она была привязана к дереву за шею, корабельным канатом. Ты хорошо знаешь, как вяжут морской узел, вот и меня грозился связать. Ей было не вырваться. Может быть, она выла, но мало ли здесь звуков ночью. Она издохла не от голода, от инфаркта. Знаешь, Юлий, ты ведь обо мне ничего не знаешь. Я десять лет препарировал трупы для моей дурацкой геометрии. Ведь геометрию создала анатомия. По припухлостям паховых желез я сразу понял, что Кристия беременна. Я разрезал живот, девять эмбрионов.

— Вы напрасно выслали Юлю, я бы и при ней. Видите ли, в сексе у меня нет предрассудков. А мы полюбили друг друга по сексу. Чистосердечье, свадьба, — о чем речь, если мы здесь на три месяца, а потом кто куда. Схема секса! — и у Юли. Она признается с первого поцелуя, что хотела войти к Вам, ей бы и лучше по службе. Но Вы полюбили змей, — нешуточная ситуация! И вот я вошел к ней. Кристия любила меня — взяла и выкормила со щенка, — ревновала. Мы с Юлей не могли заниматься в палатке, а выгнать суку нельзя. Но мысль пришла не мне, а Юле. Я-то предлагал заниматься там, где дельфины, там ночью никого нет. Но Юля сказала: как мы объясним Академику? Так и объясним, — ответил я, — что тут за тайна? Но Юля не хотела объясняться, это — скотство. Я предложил просто уходить в горы и — там. Юля сказала, что она не какая-нибудь такси-герлс, чтобы кувиркаться под горку в куст. Что же делать? — я не знал, а делать-то нужно что-то, чтоб заниматься. Юля и сказала: убей Кристию. Я растерялся и спросил Ваш вопрос: за что? почему? Юля ответила: за то, что она не даст нам никогда заниматься, и потому, что — подумаешь, собака, подарю тебе еще лучше, а мы люди, а не животные. Я колебался, ведь Кристия столько лет мой друг. Трудно мне! Все!

— Не совсем. Если у тебя нет предрассудков в сексе, ответь мне, пожалуйста, я интересуюсь, твой опыт мне пригодится. Юлий, после того, как ты убил Кристию, положение сильно переменялось в сторону секса?

Юлий засмеялся:

— Иван Павлович, до чего ж ты витиеват в своих смелых вопросах! Ответу: нет, не изменилось. Дальше не пошло.

— Я так и знал.

— Откуда ты так и знал, подсматривал? Ты...

— Остановись во гневе! Я не сентименталист. Я допускаю убийство и человека. Но ты — трус, не человек. Ответь мне: почему ты убил не ножом, не камнем? Почему ты привязал зверя к стволу — мертвой петлей, и бежал? Твоя ню жаждет подвига во имя ея. Убить беременную суку — в принципе еще не подлость, но не подвиг. Убей меня и Юля тебе отдастся.

— На такую мерзость и кулак не потратить! Чего тебе надобно, старче, импотенче? Да тебе плюнуть в морду — улетишь на километр!

Мне не нужна была сила кисти и вес удара. Я знал: его нельзя убивать. Я ударил его один раз: — кулаком по горлу, — кровь клокотала, Юлий дергался, лежащий.

— Ты убил его! — воскликнула Юля с ужасом, в восторге.

— Забинтуй зев бойцу, — сказал я. — Дай ему календулы, прополоскается.

В ночь с 89 на 90 наших испытаний — восемьдесят девятый дельфин бросился на проволоку и покончил с собой. Девяностый отсалютовал. Я протелеграфировал, в Академию и в Вооруженные Силы, что экспедиция успешно завершена. Мы взяли сварочную машину и разрезали сеть-решетку. Девяностого мы выпустили в море и дали 90 залпов из винтовок.

Напились мы насмерть.

Мы пили зубной порошок с хинным экстрактом и корвалолом. Впервые в жизни мне понравилась звезда Сириус, и я смотрел на нее и любил ее.

Солнце колыхалось низко-низко над морем, от костра запах, как от колонны из флорентийской бронзы.

Я уснул у костра, босиком, я проснулся, надо мной два женских глаза и звезды. Глаза смеялись, угли гудели, как в камине Вселенной. Море побулькивало. Юля вылизывала мне ресницы и веки. Расслабленное солнце освещало: пепел одежд в костре, — кариатидные фигуры уже не нужных нам одежд, голое тело девы Юлии, в камушках, в чернильных угольках... Потом свершилось, потом пошли судороги...

Юлий лежал тут же и клялся: теперь-то уж он по-настоящему любит Юлю, первой любовью, он знает, как отобрать ню у меня, Фавна, что сейчас же он, Юлий, совершит подвиг кровавый, ведь эта тварь отдается лишь за кровь.

— Убей старуху и ороси ее кровью маяк, — посоветовала Юля.

Юлий повествовал:

— Заведем катер, под цвет морской волны, отведем от острова на 0,7 лье, поставим на якорь, как раз там, на глубине 1 м и 5 см от поверхности воды, при штиле — есть железный кол. Мы поставим катер так, чтобы можно было прыгать на кол и без ошибки пронзить главу. Кто-то из нас пронзит. Второго полюбит Юля, она это любит.

Юлий — мне:

— Древний обряд, не так ли? Бой за обладание женщиной обязывает Вас к действию.

Юля:

— Не обязывает. Он обладает. Ты — нет. Вот и бейся башкой в кол.

Юлий, оказывается, трезв.

Мы отвязали катер, завели, отъехали, поставили на якорь, как раз — там. У кола.

— Прыгай! — сказала Юля — Юлию.

Юлий:

— Я не трус и прыгну, но я предложил честную дуэль, а не самоубийство. Жребий: Юля, кому прыгать первым?

Юля:

— Прыгай, Юлий!

— Нечестно. Что ты ухватила за этого ублюдка? Слава? Карьера? Фаллос? Я говорю: жребий!

Я вынул монету и дал Юле. А Юлию:

— Ваш выбор, орел или решка?

— Орел.

— Орел, — прыгаете Вы?

— Решка — Вы!

Юля бросила. На палубе зазвенело. Три карманных фонарика ключились: решка! Мне прыгать.

Юля взяла винтовку и выстрелила. Мы стояли на палубе треугольником в три шага. Катер не шатало, море как в изморози. Я схватил Юлю, а пуля сорвала ухо, Юлий сказал:

— Мне сорвало ухо!

Я схватил винтовку из девичьих рук и бросил в море. Я встал на корму и сказал:

— Юлий, проверь! Я стою — правильно?

— Да! — сказал Юлий.

Я прыгнул.

Кол оцарапал мне левую лопатку и разорвал ягодицу.

Юлий встал на корму.

— Прыгай! — воскликнула Юля.

Юлий прыгнул.

Вошел в кол головой.

Над морем блеснули две ноги в ботфортах, поболтались, опали в коленях, и такую осталась картина, — радость для еще творящего Императора Сюрреализма С. Дали: море море море кистью семи палитр, семьюжды семь смешанных цветов, какой-то катер, наш, по форме напоминающий крокодилицу, а на нем — два нагих существа с волосами, у нее — груди, у меня — знак мужской, а над морем морем морем. — две ноги в ботфортах из резины, согнутые в коленях, как энный корень из числа «БЫТИЕ», да неба над нами и нет, — лишь Сириус-звезда, и я люблю ее!

Не одеваясь, мы пошли в горы, в скалы; мы шли с фонариками, ни слова нам вслед, и оказалось, что тут люди и цельнометаллическая цистерна вина. Люди пили, вне возраста, носы и волосы, в майках, с мускулатурой, без женщин.

— Если ты яурей, пей, друг Иерусалима, если нет — не дам! — сказал тот, тамада, властитель крана цистерны.

— Я не яурей, — сказал я. — Я ничей не друг, но пить я буду!

Я взял кружку, прикованную цепью к цистерне, взялся за кран, отполированный, толстый и медный. Юля встала у цистерны, и мы выпили залпом по литровой кружке. Вина.

Тот, тамада, закричал на нас на своем языке, — он был заливист. Но встал с камня старый, с лицом лягуха.

— Их двое и они пьют с яуреями, значит, у них душа чиста. Ведь они не мигрелы, не омарцы, не гайрузины, — на них нет одежд. У него — задница в крови, а у нее — грудь открыта для всех, значит, они были в борьбе. Иерусалим — Ваш, друзья. Встаньте, яуреи, и омойте их вином. Это вино лечит раны и освежает грудь.

Откуда ни возьмись — инструменты, я не назвал бы — музыкальные, но тишь высей горных весей грустных и отзвуки скал!

— Мы — террористы, — сказал тамада. — Мы получили вызов от братьев Сиона, а нас не пускают. Мы выкрали цистерну, как заложника. Теперь выпустят, — как им быть без цинандали? Всё цинандали Кауказа — в этой цистерне! Нас выпустят, — отдадим! Мы скрываемся не для вина.

— Твоя девушка? — спросил старый, с камня. — Отвечу: не твоя. Она со всеми танцует.

— Пусть танцует!

— Но танцевать со всеми, имея столь открытые груди, твоя

девушка не может. Она не твоя, а мы 1 год 11 месяцев и четыре дня в горах, без женщин. Ответь мне!

— Юля! — сказал я. Она, смеясь, она подошла, оборачиваясь, я был позабыт. Музыка! — яуреи в танце, с жестикуляцией!

— Пойдем в путь! — сказал я.

Юля пошла танцевать. Она выбрала сама.

В Столице, Булловский аэропорт, цинковый гроб с телом Юлия выносят на руках, сослуживцы.

Сойдя по трапу, я попал в объятия Юли.

— Пойщем аптеку, — сказала она. — После той ночи с яуреями нужна медицина.

Аптеку мы нашли у вокзала им. св. Витта. Очередь — человек четыреста. Силы воли нам не занимать, да и есть что порассказать друг другу о слепой старухе, столкнувшей так вовремя эсминец и авианосец, о змеях из Брема, о том, что я впервые полубил звезду (Сириус!), а Юля завтра защищает кандидатскую. Треволнения острова Патмос, им — не утихомириться в сердце у Юли: она захлеб рассказывала мне о любимцах-дельфинах!

— Что мы купили? — спросил я.

— Карбофос. Это — средство от клопов.

— А за чем мы стояли в очереди — 6 часов?

— За презервативами для меня. Но их у них нет.

У вокзала им. св. Витта ходят голуби и воробьи. Голуби — как гулливеры среди воробьев-лилипотов. Лилипуты отбирают у голубей крошки, выхватывают из клюва. Гулливеры целуются в губы.

У станции метро им. св. Витта цыганки продают розы из Родезии.

Я купил Юле семь белых роз.

СТОЛЬКО СТАТИСТИКИ И САМ С СОБОЙ

В Столице 1899 проспектов, улиц, переулков и набережных.

По 37 маршрутам ходят 765 троллейбусов, по 135 маршрутам — 2465 автобусов. В Столице 5533 такси.

Ежедневно на улицы выходит на линию 1771 трамвайный вагон. Вагоны курсируют по 52 маршрутам протяженностью 557 км. Протяженность подземных трасс Столицы 46,6 км, ими пользуются 250 млн. пассажиров ежедневно.

А я шагаю ногами.

Моя улица! — Зайчика Розы!

Зайчика Розы был зодчий. Улица уникальна, два дома длиной

с дредноут, параллельны. «Два тождественных и симметричных по своей архитектуре административных корпуса. Длина улицы — 220 м, ширина 22 м, высота зданий 22 м. Улица производит впечатление парадного зала под открытым небом. Необычайную торжественность улице придают поднятые над аркадами цокольного этажа каждого здания 23 пары колонн».

Улица моя! — центр Столицы, между рекой Фанданго, театром им. св. Йушкина и Грустильным рядом. В Грустильном ряду продают принадлежности грусти: утюги для удмуртов, дамские моды из синтетик, башмаки для бушменов, детские коляски для пятитонных младенцев, певчих; но нет сковородок, но лет через пять будут. Верится, будут сковородки в Грустильном ряду, одни одинешеньки, — больше ничего не будет. А сейчас есть еще брюки для брака инстанта и диссидентки. К ним плюс: купи куклу с двумя кулаками и целуй целлулоид.

Мой дом N 2! — Дом Балета, храм хореографии. Был императорский, да и сейчас! В моей мансарде жил Вацлав Нижинский. Танцовщик Времен и Имен, Нижинский был геометр. Белый клоун Бога, Зверь-фавн, он изобрел вечное перо.

Математик-венгр, профессор Питчлер хранит его циркуль.

Дом N 1! — управление жандарма железной дороги. Жаль жандарма: смотрит, сметанец, в танцкласс: кружится, кружится тут молодое мясо! Бросает в окна юн-балеринкам записку: у жандарма-народа любовь к искусству, а у искусства нет любви к жандарму-народу. В театр же ходить нет интереса, что им сцена, что им кресла-мебель! Жаждут живьем! — девочки, девочки — дождичек для душ!

Жаль, умер Владимир Набоков. Я рассказал бы ему о трагедии двух бессер-домов. Он-то, фантаст, он-то, изображенец! — Что Гумберт Гумберт — одиночка, философ, дядь-нянька с нимфеткой, как символ своей ритуальной системы.

Но не уайльдна жизнь, дорогой Владимир Оскарович. Не нужно быть в справочнике «Кто есть кто», нужно лишь быть жандармом железной дороги напротив подъезда Музы Терпсихоры, чтобы стать на всю жизнь Гумбертом Гумбертом, хоть и кровинец.

Жаль мне и девок искусства. Выучатся, — сами войдут в объятия жандарма. Рано, нетерпеливец, тянуться к тюрьме; нежнейшим ножкам еще разрешается развиваться, что ж ты хватаешь, Хам, у подъезда — юниц под уздцы?

Но и они:

сядет жандарм за пульт железнодорожных дистанций, спронея, свиньей, призадумается, что Н. Гоголь снял с него шинель. Достоевский сказал о нем «бедная людя», М. Горький сказал: все в нем, все для него, он и есть самородок, ГОСТ государства,

дай ему танцовщицу в 11 лет — девственницу, может быть! ведь морда — в бронзе бритья!..

Вдруг:

вдребезги стекла!.. Триста юниц по металлическим лестницам штурма бросаются в окна! — как пантеры на пуантах! «Ты нас не насилуй!» — плещут чернильницей, бьют булыжником в лоб, за галстук цепляются, как за канат и... исчезают, как искры!

Я выхожу, я вижу: дом № 1, подъезд, арка. Вот и выносят жандарма, три санитаря держат за жабры и за хвост, — весь как есть окровавленный. Кладут на тротуар: какой бы укол ему, вождюленцу?..

Кому я повею, что поезда не поедут, — тромб для товарообмена Столицы?

Жизнь вам, жизели. Мир только в моргах.

Я не о пьяницах. Пьяница — недочеловек. Он пьет утром, днем, вечером, что ни сутки — всю жизнь. И ест с аппетитом, и трудится, как тарантул: мается дурью бумаг или металла. А выпивать чашу в Юбилей (есть и такие извращенцы!) и еще петь при этом песню, — им нужно Звезду на задницу и тут же — на рудник урана за патриотизм! Это — нищие духом, они безгреховны.

Я пишу о той высшей касте алкоголиков, которые ненавидят вкус, цвет, запах алкоголя (любого!) и не пьют — вообще! Это — гении алкоголизма. Ибо: когда за нечеловеческий облик твой среди улиц по-человечески пьяных, разгневанный Бог мечет в тебя молнию (а ты и не знаешь сью секунду, ты, грешник, и не смотрелся в зеркала, чтобы контролировать свой облик), — встань и не брейся, и дрожи, пожирая лимон до 11.00. Не одевайся, тебя начнет крутить по комнате, как св. Витта, или ты всплывешь к потолку и заплываешь с люстрой, как в батискафе, и ты станешь звонить по телефону незнакомкам и рассказывать о себе то, о чем пожалеешь, — ты встань в 11.00 и иди, как встал, пред лицо Божье, — небрит, страшен глазом, с немим ухом, в шубе и босиком.

Иди один.

Иди на Несский проспект. В 11.00 всплывает чудовище Несси, говорящее о себе:

— У меня семь глав о десяти диадемах. Да будет убит всякий веселящийся, кто не встанет на колена пред образом Зверя. Но знай, число его сочтено, оно человеческое, не Божье. Число его: 666.

Пусть всякий веселится и встает на колена, им бы спастись. Это — безгреховное. Не веселись, не вставай, не бойся, не убьют.

Встань, как встал, идти и пить 666 дней. Пей и не ешь. И познаешь бездну безумья, льва лихорадки, ухо ужаса, и зеленый змий Бумсланг высосет из тебя кровь, мозг, воду. Жалкий, плачущий, кающийся, — взбешенный, нет нужды в тебе, не наш, не встающий ни пред кем на колена, не вымаливающий ни пейки на пиво, ползающий в сутане, в маске по своему зеркалу-полу, Я ГОВОРЮ:

прости меня, шкафчик, за то, что в чреве у тебя варятся одежды мои — как народы! перемешиваются их ящики (у одежд!), а мой ум съест моль;

прости меня, книжка, что фразы в тебе — Карамазы, а я изрублю тебя саблей, на кой мне любовь к человеку, если имя ей Грушенька, что ж, что сумел повеситься лишь Смердяков, он ли убийца? Не потому ль, что сын — не с печатью в анкете? А трио — Митя, Алеша, Иван? Кто ж там не отцеубийца? — все, и Ф. М.!

прости меня, подоконничек, за то, что на тебе пыль планет, а плоть у тебя деревянная, плотничья, стоят на теле твоём цветы в горшках из глин. И я ставлю на подоконник два башмака, хорошо бы войти в них ногой и сделать шаг: с пятого этажа в мировое пространство; шага нет;

простите меня, цветочки, что я не обливал вас водой ледяной, как трех борцов, как трех коней в позе ббб, я позабылся, но полью;

прости меня, этажерка, что я продал не за правду рукопись рук, лежащую на стеллажах, имеющую формулы и фигуры, — книжникам и фарисеям, по флакону за листок! Что мне свастика медных монет! Что значит «сжиться с мыслью»? Значит, ее сжечь. Я сжег рукопись в пепельнице. Кто меня осудит, если ее теперь нет — ни для кого!

прости меня, пепельница, что, сжигая лист за листком, я тебя оплавил, т. е. что у тебя деформация, ты калека, я новую не куплю, хватит и этой с дизтой;

простите меня, стенки, что писал на вас ногтем, киноварью (где у нас тушь — нет), за то, что я плевался в чертежи и отлынивал на завтра, чай из плевел — через жизнь!

прости меня, чайник, я откусил тебе носик, а все смеются: вот сифилитик. Покажи мне твой чайник и я скажу, кто ты. А по сути: на одного кровинца приходится 93 литра воды в сутки. Я пью флакон, — сколько на мне экономят?

прости, мой столик, это я лизал, ползая, твои ножки, хорошо хоть не вырвал их, не вывернул, а мог бы; от пресмыканья к бунту — лишь миг;

прости меня, холодильник, что я бил тебя ногой без башмака, унижая яйцом, — одним;

прости, креслице, что сидел не я, — девицы с девизом, друзья

за бульк-бутыль, воры веры из инстанции X, — а я валялся на лестнице. Я тебя обожду вельветом из полосок шкур зебр!

прости меня, будильник, за то, что я разбил тебя о дверь: не жужжай, и без тебя всюду жужжомцы, ты жив, как я вижу, — так разбейся о дверь!.. А ты ответил: не дерись, как дурак, ничей не друг! Вставай, будь добр, брейся! А я: брысь! — и разбил. И ты, дверь, прости за то,

что я закрылся на ключ, посвистывая мотив молитв, лицемер, уничтожающий унию между собой и Зверем, я — боролся, как девка без роз!

Простите меня, пуговички, что на мне дергается теперь лишь одна пуговичка — от борьбы, вот и весь мой бой: я отрезал вам, пуговички, головы — бритвой!

Бог, бегущий от нас по шоссе, со свечой, с циркулем, Боже, куда мы бежим? Где нам жить, геноцидам, с грязью греха, с виной втуне?

Так. На 666 день извиняйся, встань как есть и ответь Богу: благодарю. За то, что Ты метнул молнию лишь в меня, я — всех виновней. И Бог возлюбит меня за то, что я вставал на колена перед безгреховными, а они — лишь ложь, семена мяса, да и было это — где-то, когда-то, как-то. Но я не вставал на колена в дни искуса, в ночи ноши, — в 666. Ни перед ними, ни перед Богом, ни перед Зверем. Я победил: я пил один, я пил флакон Красная Москва. У меня иссякли брюали и пейки, и я стал пить все, но свое: слезы и слизь. Я держался, дрожа, чтоб дойти до 666, и я победил Зверя: я пил 666 дней, я — не ел. Теперь ты не пей до следующей молнии, искупай вину: все поставь на места в доме, умой их, а себя побрей. Омовенье с бритьем утихомирят твой нерв. Твой мозг станет светел, кровь ясна, кисть-пясть тверда, как труд. И ты поймешь, что до следующей молнии ты — творец божественных формул и фигур.

Ангел на Пропадовском шпиле:

— Кто поклонится Столице-Блуднице и образу Зверя, тот будет пить вино ярости Божьей, цельное вино, замешанное в чаше гнева Его! Так — безгреховным.

Брось, письмоносец, свой перстень, посланец поблажек! Где цельное вино, где чаша гнева? Есть бормотуха и действие — здесь: как ласка конвульсий!

Бормотуха делается по спец-заказу в НИИ для истребления уже не исцеленных — мной. Химический состав: сок гнилого картофеля, кожица фикций-фруктов, плюмбум, циан, две-три капли этилового спирта и танк табака. Все это тщательно перемешать на Винном заводе и закупорить в бутылку 0,75 л. На бутылку наклейку «Портвайн». Закусывается: уксус с горчицей, закусывается: лучший рецепт — омлет из кастальского клея.

Первый стакан... И кровинец забормотал как брамин, или же как иностранец, уже убывает (т. е. умер, увы!) в иные страны, откуда нет возврата. Нет возврата.

Забормотай на заре, бегай, Иван, до заката по цехам, по канцеляриям, по лестницам конструкторских каст, помогай карьере лопатой в подземелье метро, капай с носа у тебя капля электросварки, сваливайся, как монтажник-высотник с верхушки крупнопанельного дома и падай наземь, забормотушенный — на пенсионера с медалью, танцуйте втроем, как терцина: Иван да Марья и пенсионер, бляя как в кузове козы; или как В. Нижинский в безуслышном паренье, — молчите!

А временно загубленные жизнью жены бейте мужей булавой, требуйте развод. Разведутся, опять заживут жизнью женщин: будут бодаться у Саркофага: с кем бы по-ул-ыбаться? Повод развода: у нас нет туалетной бумаги, а завиваться наждачной — гигиенично, кто спорит, но так трудно! Истинная причина: у нас нет презервативов.

Женщинам — храбрость, писали даже в спец-аптеку: где презервативы?

Я знаю, где: Зубикомлязгик мне приносит. Я напускаю в них гелий, они распускаются, точь в точь воздушные шары, я перевязываю им крайнюю плоть нитью, раскрашиваю шары петушками, лягушками, мордочкой космонавта, и выпускаю их в форточку, — для детей ул. Зайчика Розы к Юбилею! — пусть им праздник!

И играют очень просто дети маменького роста!

А маменьки писем? Не агентура ль вы по искорененью рода кровинцев? Если все оснастятся презервативом, то в Столице прекратится деторождение, его и так-то нет, а сойдет на нет. Столице нужны дети. Производство бормотухи повышается в геометрической прогрессии. Если не будет детей, кому же пить через пятью пять лет? Не волнуйтесь, презервативы будут в ближайшем столетье, правда, со спец-печатью врача, но — наденем!

Не было карбофоса. Вы писали смелые письма. Вот вам: карбофос есть, он приобрел несусветную популярность среди клопов и самоубийц. Клоп жил в антисанитарных условиях: что в комнатах, — знаем, там курят, а дети плескают в воздух слюну. Теперь эти запахи убиты карбофосом, — клоп, ликуй!

Самоубийца: чем он себя не убивал! Сколько изобретательности, хитрости, ума требуется для этого дела! Теперь: хватанул стакан карбофоса и никакой тебе «Скорой помощи» или еще утомительнее «Неотложной», — нервный паралич и легкий, безболезненный путь в неизвестное. Но все новое порождает проблемы: как хоронить? На всю Столицу один крематорий. Туда

самоубийц нельзя. Там: чтец-декламатор, который говорит гражданскую панихиду, вот что он говорит:

— Умер Гражданин Великой Столицы Пупеза А. Б.! — и объясняет вкратце, во имя чего же умер Гражданин в Столице бессмертных. Оказывается, во имя того, что у него был самоотверженный труд и была у него болезнь кой-какая (болезни в Столице уже уменьшаются в процентах, но их никак не уменьшить — в телах!).

Как объяснит чтец-декламатор смерть Пупезы А. Б., умершего от карбофоса?

От карбофоса? Он есть, карбофос, но дефицит! От дефицита? Но все — дефицит! Как умер Гражданин, где справка? Да и кто умирает от справки? — Абсурд. Вот если бы он умер от инфаркта, — значит, о нем позаботилась «Скорая помощь»... От карбофоса же... вот и выпускай, с мертвецами не расплываться...

«23 ноября 1707 г. на фасадах домов четырех улиц, берущих начало вблизи Пропадловской крепости, были повешены фонари, — первые, Ментором, по примеру Европы, в количестве 4.

В 1723 г. на некоторых улицах Столицы и главным образом на Большой перспективной дороге установили 596 фонарей. А для обслуживания светильников была создана команда из 64 человек. Это — масляные фонари. «Далее, ради Бога, далее от фонаря! — писал Н. В. Гоголь. — И скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастье еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольский сюртук ваш вонючим своим маслом».

В 1770 году на улицах Столицы уже 1257 фонарей.

В 1788 — 2745, в 1794 — 3440, в 1858 — 8494.

В 1821 г. появились газовые фонари. В 1863 г. — керосиновые светильники. Наряду с газовыми и керосиновыми появились фонари, в которых жгли спирто-скипидарную смесь.

В 1873 г. зажегся первый электрический фонарь. Зажегся и погас. Академия Наук Столицы не дала премию изобретателю, не пожелала налаживать массовое производство электрических ламп накаливания, которые зажигались и в ту же секунду гасли.

Зато в 1914 г. на улицах Столицы вспыхнули сразу же 13 950 фонарей. В том числе: керосиновых 2505, газовых 8425 и электрических 3020.

С 1918 по 1922 гг. в Столице не было ни одного фонаря.

В 1922 г. уже горело 2563 электрических уличных фонаря.

В 1941 г. фонарей уже было 30 500.

К началу 1960 г. количество светильников достигло 52 550.

В настоящее время в Столице зажигается по вечерам уже более 500 000 электрических фонарей.

Если в прошлом уходило 88 минут, чтобы зажечь 64 фонаря и весь экс-терьер города портила фигура фонарщика, перебегающего по улицам с лестницей за плечами от фонаря к фонарю, то в настоящее время фигуры фонарщика вообще нет, 500 000 фонарей зажигается за одну минуту с помощью лишь нескольких кнопок на пульте.

С каждым годом становится все больше фонарей и все ярче горят их огни. Необычайно торжественной и нарядной выглядит Столица в праздничные дни Юбилея, когда фонари забинтовывают в красный медицинский бант и на улицах ничего не рассмотреть, есть люди, которые из-за генезиса не любят любоваться красным бинтом.

А приходилось ли вам когда-либо стоять на северном склоне Булловского холма и смотреть на вечерний город? Захватывающее зрелище! Вы видите десятки тысяч мерцающих огней, сливающихся в сплошное гигантское зарево.

Нельзя отрицать, у нас в магазинах лампочек нет. А в Антиквари продаются керосиновые лампы всех веков и объясняется покупателю, что это — произведение искусства. Стоимость невысока: от 5 до 120 зарплат среднего кровинца, но с антикварной лампой вашу комнату посетит вкус.

Если же вы хотите поближе рассмотреть друг друга — выйдите на Несский проспект, подойдите к первому фонарю и зажгите спичку. И так стойте лицом к лицу, пока не насмотритесь, или пока вас не покалечит молодежь в возрасте от 14 до 41 года.

257 день догорал на моих мерзлых губах, голубых. Солнце не светило ни мне, ни кому, ни в мою форточку. Я включил люстру и сел на пол — явности моей частное зеркало. Я посмотрел: кудри превращаются в волосяные, чернобелая пена, серебро с патиной, как у пуделя, ниже плеч; истощаются, истончаются ключицы; лицо пестрит, клякса на кляксе — капилляры. Не хорошее, детективное выражение лицу придают глаза — огромные до невероятья плавают, два желтка в голубизне; а нос — конфуз, травма тому, кто подвернется, если я зашевелю носом.

Жу-уть. Я расплакался. Я взял флакон и попытался выпить под люстрой, слезы шли, а голова не откидывается, в пляске пальцы, крышку не отвинтить. Горе! — не выпить, нет глотка. Я запел:

— ЧЕРРРНЫЙ ВООРРОН ЧТО Ж ТЫ ВВЬЕШЬСЯ НАД МОЕЮ ГАЛАВОООООЙ

ТЫ ДАБЫЫЧИ НЕ ДАБЬЙООШЬСЯ ЧЕРНЫЙ ВОРОН Я НЕ ТВОЙ

Я сидел в кресле, вдруг перед лицом у меня — Рука! Мои заняты, в правой флакон, левая дирижирует песню, чья же у лица? — большая, без шума, вот-вот приласкается...

В форточке: уже луна, снежно-зеленая, в путанице прожилок цвета молний, в окне семь труб на крыше, в профиль, потому что ночь.

Но о чем я? Охватывая зрением пространство, прослеживая путь Руки от лица вверх, я спрашиваю: кто закинул семя на луну, где взял семя Руки? Семя проросло с минуту назад, вышел обыкновенный, м. б., стебель с лепестками, как у магнолий, протянулся в мою форточку и расцвел Рукой, вот и у лица такой распутившийся бутон — Кисть Руки!

Форточка не закрывается, курю я. Придется подумать о фальстре из колочей проволоки, в эту ночь — Рука, а в последующую?

Я посмотрелся: человеческая, но увеличенная космосом и рефракцией раз в 10. Виденья космоса — своеобразные линзы.

Виденье не из приятных: Боже, какая большая, вены соответствуют, я вижу сквозь вены кровь, пульсирует, лейкоциты и эритроциты крутятся актуально. Волосы — конские на Руке, считай, что ли, но какой счет — миллион их, шумит камыш! Ногти у Руки граненые, знак аристократизма. Шкура на Руке мне никак не нравится, пять пальцев, а на мизинце перстень с глазом зеленого змия Бумсланга, ничего нового, об этом уже писал Джонатан Свифт про Гулливера у великанов, я не натуралист.

Я вырвал один волос, воткнул в горшок, в землю, к цветам на этажерке. Волос завился, как хмель, опутал всю этажерку, распустился сразу. Что распустилось на конце спирали, овивающей этажерку? — тот же перстень с тем же глазиком Бумсланг, — я повторяюсь, не новость, я и прежде утверждал, что кошмары космоса — банальность, штамп.

Я отстраняю Руку, и она отстраняется к переплету рам, но в форточку не вышла, а выгонять полотенцем лень. Я и не смотрю на нее, насмотрелся.

Я погружился в нирвану: что же есть я?

К человеческой касте существ я не имею чести себя причислить. Я не человек, а кто я — не знаю. Знаю: я не хочу писать формулы и фигуры, фиговые листики существования, я не умею жевать железо, ловить рыбу сом весом в 126 кг с моста реки Фанданго, не хочу нюхать ню. Но ню ложатся невымытые, от них запах, — в канализационный люк и завинтить крышку! Не хочу быть музыкой мозга!

В детстве я хотел быть Ромулом и Ремом, чтобы сосать сосцы у волчицы, основать империю Рим, вести когорты крови на Карфаген, — о сеть Сципиона, хитрость побед, а герой-то все ж Ганнибал! Мои думы детства — от недоедания.

В отрочестве я хотел пасть Цезарем, чтобы восстать Генрихом

IV, пасть Генрихом IV, чтобы восстать Иоанном IV, Кровинцем, пасть Иоанном, чтобы восстать Лжедмитрием I и т. д. и т. п. Почему же такая жертвенность у отрока? Потому что: у них имена, а я безымянец, у них Клеопатра, Маргарита Наваррская и Марина Мнишек, а у меня — лишь ночной огонь поллюций.

А в юности я прочитал про них: Великий Цезарь был сменен Клеопатрой на пьяницу Антония, Генрих IV был женат на благи-романистке, а Марина Мнишек обвенчалась во второй раз с Лжедмитрием II, который был, как пишут, «то ли армянин, то ли цыган, то ли яурей», а был он проще — из простокваш и трус.

В зрелости, зная звон славы и наитья ню, я хотел что-то делать своей рукой, хоть нить овечью спрясть! Жил я как ложь: наук? Но я — неук, они роились как ребус в моем мозжечке. Вывод:

благодарю луну за протянутую Руку!

Я встал, осушил слезы, шагнул к форточке — Руку пожать! Ее не было. Пустота повсюду и луны нет.

Лишь чей-то голос, как диктор, буква в букву, говорит вверху, в водопроводной трубе:

— НАДО УБИТЬ! НАДО УБИТЬ!

— НАДО ЛЮБИТЬ! — отвечает тихий, настойчивый голос в шкафу.

— НАДО УБИТЬ! — не сдается голос в водопроводной трубе.

Что мне их спор. Я не участник дискуссий. Я пою о вороне:

— ЧТО Ж ТЫ КОГТИ РАССПУССКАЕШЬ НАД МАЕЮЮ
ГАЛЛАВОООООЙ

ТЫ ДОБЫЫЧИ НЕ СПАЙМААЙЕШЬ ЧЕРНЫЙ ВОРОН Я НЕ
ТВОЙ

Здесь — звонок!

Начальник жандармов квартала майор Милюта Скорлупко. На плече эполет, в руке револьвер. Это не Рука друга из космоса, это фигура дактилоскопического матъморализма:

— Извините, Иван Павлович, но мы к Вам.

Они — к нам. Ведь я под охраной государства, как ценный экспонат современного мышления, как все делатели Наук. По первому плачу любого из нас является майор Милюта Скорлупко, — обязательства, по Кодексу.

— Извините, Иван Павлович, что мы не явились тотчас, по первому сигналу слез, а лишь по второму, — сигнализация барахлит, у нас нет запсигнала. Но у нас есть шприц с инъекцией, есть бронированная машина у подъезда, под аркой, Вас отвезут,

если понадобится. Простите за вопрос: Вам худо с физиологией в организме или Вы не в себе, т. ск. невменяем?

— Не худо, я в себе, я вмняем, — оправился я. — Я рас-плакался над губительностью алкоголя. Особенно: когда алкоголь бездействует.

Я взял со стеллажа флакон и дал майору.

— Красная Москва! — облизнулся начальник.

Как мил Милюта, как открыт и полнокровный у него глаз, без всяких ухищрений говорящий о том, что бормотуха в его крови.

— Вот Вам вопрос, Басманов, — Милюта расселся с флако-ном, в кресле, где сидел я, а крышку от флакона я никак еще не отвинтил. — Историю кровинцев знает любой раб-рыбарь или тот, кто жует железо. Я к чему: в инстанциях есть мнение о Вас, что Вы — из бояр Басмановых, не попросту же Вы под охраной государства... Да и лицо Ваше, и жест Ваш... что-то в них есть железное, от истории тех. А не хотите ли Вы воскресить Боярскую Думу, чтобы стать жертвой заговора диссидентов? Скажите мне, у меня связи в Тайной канцелярии, я позабочусь, чтобы Вам дали чин подполковника!

Он сидел, я стоял у форточки, крышка не отвинчивается.

Я сказал:

— Железность лица у меня — вне сомнений, а с жестом похуже. Ты что же, вопроситель, пьешь второй флакон, распро-страняешься про историю, а я обессилел от слез и не пью, не отвинтить!

Жандарм отвинтил, не вставая, в руках у меня. Он взял стакан.

— Поплюйте, пожалуйста! — попросил.

— В морду, что ли? — сказал я с готовностью.

— Поплюйте в стакан, а я вытру носовым платком. Если я поплюю, мне-то плевать, а Вы можете и обидеться. А такой, как Вы, пьет ведь из чистого стакана.

— Встать, — сказал я.

Он встал.

— Головной убор — снять.

Он снял.

— Кто-нибудь умер? — обеспокоился.

Я сказал:

— Стоять по стойке «Смирно»! Равненье на середину!

Он уставился мне в грудь, в сердце.

— Майор Милюта Скорлупко! — сказал я.

— Я! — признался он.

Я ответил:

— Снимай шляпу, шакал, пред тобой — Гений!

О ТЕХ, КТО ЖУЕТ ЖЕЛЕЗО

Кровинцы знают свою историю.

«Там, где берег реки Вены сравнительно крутой террасой спускается к заливу, была обнаружена стоянка доисторического человека. Среди найденных предметов — хорошо отшлифованные каменные орудия, в том числе наконечники для стрел, предметы быта — скребки, резцы и др. Найденная стоянка первобытного человека — свидетельство того, что здесь, на берегах реки Вены и у взморья существовали поселения людей свыше трех тысяч лет назад».

Есть чем гордиться.

Три тысячи лет существуют Китай, Египет, Индия. Но и у нас не кой-кто: хорошо отшлифованные каменные орудия, в том числе наконечники для стрел, скребки и резцы и др.

«В гавани, во время земляных работ был вырыт котелок с монетами, отчеканенными около 780 г. Одна из этих монет была выбита во времена третьего халифа Абассидов, Мегди. У истока Вены был обнаружен сосуд, наполненный арабскими золотыми монетами. Эти клады повествуют о далекой истории привенских земель. Они настоятельно напоминают, что и в давние времена здесь жили люди».

Вот: не воровали, как и не воруют.

Наш род и по истории чист. Жили здесь люди, кровинцы, такие честные, что халиф Мегди без опасений поплыл к нам за тридевять земель, чтоб спрятать в нашу землю котелок с монетами, ему понравилось, и спрятал сосуд золота. Из поколения в поколение эти клады охранялись потомственной стражей, и лишь во времена Столицы, когда мы узнали у юриста, что халиф умер 1200 лет назад, кладу вынули из шкапулок и передали с распиской в сокровищницу ЮАР.

По утрам кровинцы любят красить морды в синий и зеленый цвет, после бритья у них морды — пухнут. Не с похмелья, после бритья.

В столовой Завода на обед им жарят жаб, это тем, кто жует железо.

И мы не питаемся, чем придется, есть справочник о вкусной и здоровой пище. Чего в нем нет — все съедим до седины!

Есть рецепт: наручные часы «Ракета» о 21 камне, маринованные. Описывается, как скрестить часовую, минутную и секундную стрелки, как они укладываются в консервную банку на лист смородины, какая неожиданность вкуса у хлорвинилового ремешка, если его пеленуют в укроп и вялят на углях у Булловского холма, как разобрать по винтику часовой механизм, чтобы винтик

имел свой аромат, как украшается 21 рубином блюдо «Ракета» на блюде.

Об одежде кровинцев. Это инстанты и диссиденты ходят в штанах с лампасами, купленными из-за пазухи из радиостанции «Логос Хамерики». Остальные ходят в хитоне из шкур шакала, женщины любят сандалии из самоцветных булыжников. Женское нижнее белье ткут химические химеры, чтобы тела не увядали, а сохраняли сок и при ночном освещенье, насыщенном у всех народов и рас тьмой и атавизмом, а у кровинцев — пожалуйста! — женское тело в сорочке из синтетик исходит элегантной электрической искрой, свежей молнией! Дом Мод регулирует любую одежду, — хоть вам из натрия о аш, хоть из кальция эс о три, — да чего уж! — из любого элемента таблицы Менделеева.

О любви кровинцев. Любят труд, сам по себе (у нас нет трат). Труд у кровинцев в крови, как у коров — гигиенический порошок ДДТ. В особенности любят труд те, кто жует железо. Без труда им жизнь не в жизнь. Проснутся, ополоснут гортань без греха — у Несси, идут с толпой и с тобой кто куда: на Завод завета, на Фабрику фермента. (ФРРР, Ментор!)

Те, кто жует железо, — привкус признанья, мозг миазита.

Уже в Столице разводятся волки и дикие кабаны. Некому, в общем-то, в проклятьях бить младенцев о камни, — эти сожрут. Потом и их уничтожат, артиллерии хватит.

Что нам делать с кумирами древних дубров — с комарами? Вырублены дубровы. Комары ютятся в квартирах. Кусаются, как псы.

В наших беседах беснуются блохи. Тараканы (тик-так, тараканчик!) сжирают весь завтрак — прожаренных жаб, завернутых в бумагу, промасленную для сохраненья — мажут!

По клавишам улиц танцуют инстанты и диссиденты, борются, как в иллюзионе, суфлируют роли, ремарки. Борются, красного мяса нажравшись, они за права примата. Дух же Святой и не веял, им, красномясам.

Град-самозванец, Блудница! Скалится Медный Скакун.

Менторы вживе, где вы? Висят на портретах с гримасами амманистов какие-то маски из мяса с прорезьями для глаз. Тот, с туловом, людодубийца из меди на симфоническом кино-Коне, и крадется Змий к ботфурту, и не раз еще взовьется Змий-искуситель и кольцами он обовьет сталь-Столицу, и будут бинты окровавленных фонарей и фигурки в руках револьверов, бьющих фальцетом!

Эх-тронь-ка, псица-Столица! И кто тебя выдурил? Звать — не дозваться народа-урода, мгла только родится во мгле, черт нам любит чертить, а с ромбом-гладнем разминувшись на полвека, да и ступай свистать войско, — бокал займби тебя отчий!

СНЫ

Во сне виделся какой-то большой круг синего цвета с пятью радиусами, из которых на каждом по пяти же ростков или травяных стебельков; еще дочери А. Н. Оленина и какая-то лежавшая и встававшая девица.

Во сне виделись граф С. С. Уваров и А. А. Перовский, министры, цензурные дела... Город Ревель и в нем небольшое возвышенье, с которого я спускался в воду и искал башмаков или обуви, чтобы перейти по воде на другую сторону; мне дал какой-то мужик с наростом на носу башмаки деревянные, большие, с соломой, и за них требовал 2 пейки (серебром).

Во сне виделось, что я, на Каменном острове, в мундире и ленте, потом собираюсь в Новую или Старую деревню на похороны, снимаю мундир и ленту, надеваю черный фрак и, не зная, где взять круглую шляпу, просыпаюсь.

Во сне виделся Дворец Расстрелов, в котором я надел на себя одежду с орлами ливрейными, ожидая фельдмаршала кн. И. Ф. Варшавского, бывшего внизу у своей супруги. Еще видел верхний этаж дома графа Строганова, деревянный, круглый. Еще какие-то слова духовного содержания, писанные мною на стене.

Во сне виделась большая зала, в которую пришла царица Екатерина с великим князем Павлом I, спрашивала у меня, где ей сесть, а заняла место по своему выбору; говорила со мной милостиво и, заметив в моих словах о надобности учения польскому языку для лучшего знания французского, — неправильную речь, переговорила мои слова при великом князе, которого я не узнавал по имени, а видел в сером сюртуке, — замечательный сон по совершенной случайности.

Во сне виделось: чей-то гроб с телом, уже попортившимся и закрытым; еще какой-то огород; еще виделось пред алтарем три животных, обреченных на жертву, и покойный князь А. Н. Голицын, критикующий какое-то рукописное сочинение.

Во сне виделось: церковь, дом митрополита Антония, его спальня и сам Антоний, желающий дослужить некоторое время до отставки; еще моя шляпа, которая была очень тяжела, хотя пели тропарь Крещения; еще просфоры на лестнице, засыпанные снегом; чужой дом, в котором я искал места для известной надобности, указанный мне каким-то лакеем; и еще болезнь на теле дочери покойной М. П. Капгер, которая представилась овдовевшею и сваталась за меня со странным лицом; сенатор П. С. Горголи, министр государственного имущества Киселев и бумаги в свертках; черный надгробный камень над могилой брата моего; еще дьякон, которого я приглашал к обеду; какая-то пьеса на английском языке, которая запрещалась по представлению цензора Роде.

Еще привиделось, что я обратил вниманье на сочинение глагола «нападать» с винительным падежом *на дом* и *на человека*, и что по Вене и по льду у дворца ехал в зимнем экипаже император Александр I, стоя и оборачиваясь к протоиерею Г. П. Павловскому; еще кое-что и А. Е. Измайлов, говорящий со мной о создании Адама и Евы, — странный сон; князь Варшавский с генералитетом; еще В. И. Панаев, просящий у меня прощения и исповеди, и я поклонился в ноги; В. И. Панаев, его племянник И. И. Панаев, Г. И. Спасский, которого я принял к себе ночевать; еще часы; еще дощатая дорога, на которой меня остановили от падения вниз женщины; государь, говоривший о лекарствах и удостоивший меня киванием головы на мой низкий поклон; еще хождение мое по доскам строящегося здания в верхнем этаже, с которых я чуть не упал; сундук, в который я клал какие-то дорогие деньги и вещи; графиня Клейнмихель, приведшая меня за руку к обеденному столу, и еще слово «бедность», сказанное мною по какому-то случаю; император Павел I, приказывающий мне не являться в высочайшем присутствии его; еще выпадающий из верхней правой десны зуб мой; еще граф Уваров, ласковый ко мне, порядочные и хорошо одетые люди, ходившие в баню; еще видел идущего по Обуквенному проспекту жандарма хорошо одетого; какая-то женщина, которую по желанию бросали вверх и которая, сделав круг, возвращалась на дно какого-то сосуда невредимой; еще иглы, в которые мне доставалось вдевать проволочную нитку; покойный И. А. Крылов, которого я потчевал в своей столовой у комода нижней сладкой корочкой белого хлеба; молебен в какой-то молебне в чужой праздник, который я слушал, лежа в постели и после которого я поцеловал с усердием евангелие, потом чтение из Златоуста о тленности богатства; нечаянная встреча с лишившимся престола французским королем, которого я хотел угостить в трактире за свой счет и представил ему моего батюшку, а он сказал: да батюшка-то — мертвец! еще преосвященный Иннокентий, архиепископ Херсонский в рясе, с распущенными волосами; далее какие-то портреты царей и других особ; видел Швецию; виделась еще слепая старуха, ищущая свободы и проч.; какого-то квакера, которому я заплатил за что-то больше денег, нежели следовало; что я в какой-то церкви на хорах, с которых мне хотелось посмотреть на присутствие высочайших особ, и что я слышу проповедь какой-то проповедницы, ошибавшейся в правильном употреблении грамматики; какой-то ребенок, просивший конфет со слезами; какие-то молодые люди, говорившие о наградах орденами; покойный министр народного просвещения князь К. И. Ливен, заметивший мне, что я чему-то некстати улыбаюсь; что-то забытое, Вольтер, Семилетняя война и имя Суздалец.

РИМАН:

ПРОЕКТИВНАЯ ПЛОСКОСТЬ НА КОТОРУЮ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ БЕСКОНЕЧНО УДАЛЕННУЮ ПЛОСКОСТЬ ЭВКЛИДА ДОПОЛНЕННОГО БЕСКОНЕЧНО УДАЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ А ТАКЖЕ ЭЛЕМЕНТАМИ ПО СВОЕЙ СУТИ МНИМЫМИ

ИНСТАНТЫ — СТРУИТЕЛИ НАДЕЖД

Утром я одел девицу и выпил яйцо.

Это не искусство стилистики. Я пишу «вечером», «утром» — нет у меня дня, вечером я пьян, а утром потеря памяти: куда я шагал шагами, до какой степени дошагался?

Утром:

телефон звонил с бешенством, что ж удивляться: по утрам у нас бешенство, телефон тоже ведь — МЫ.

Гибельная голова, я взял трубку.

— Иван Павлович, у Вас вышла книга. Я люблю геометрию. Я в ней души не чаю. Я люблю ее так, как может любить женщина в жемчугах. Ваших книг у нас нет, они дефицит, а в них есть эстетика! Пожалуйста, привезите мне Вашу книгу сейчас же, с автографом. Я горю желанием увидеть Вас и Вашу книгу через 15 минут! Бронированная машина — у Вашего подъезда, под аркой. С уважением, — Титана Себастьяновна Музальцева!

Балерина с псевдонимом, я знаю по афишам. И ей требуется геометрия, не только же моим ню. Текст продиктовала, как телеграмму — в телефонную трубку!

В Столице что-то стряслось: все занимаются геометрией. Выдь на Несский, чей стон? Это стонут геометры, негде им чертить, у нас нет издательств. И рисуют формулы и фигуры на тротуарах, на стенах дворцов и хижин, в одеколонных, бормотушных, на стволах Летейского сада, Мигайловского сада, на трамвайных линиях Обуквенного и Лыковского проспектов, на плитах-гранитах Морсова поля, на льду канала им. св. Гробоегова, — весь град зарисовывается формулами и фигурами.

Я ушел от Майи, я перебрался в Дом Балета, в мансарду. Моя территория, моя окружность: театры, музеи, залы, — все стали ходить: пить им негде. Я не гостеприимец, я вывесил у арки плакат: «Не геометр да не войдет». Самоубийца, через два дня я вошел:

на лестнице! — в пять этажей, на семьдесят трех ступеньках! — стоят геометры. Их — сотни, тысячи с рулонами ватмана,

с папкой рукописей, в правой руке циркуль, в левой метр. Во дворе — запруда: геометры! Они же по ул. Зайчика Розы, — не пройти. Балеринки с вывернутыми ступнями, в пелеринках, ветреные дети, упражняются: «Танец с саблями». Они — прорубают сверкающими саблями свой путь в толпе. К входу в хореографическое училище. Путь к искусству тяжел и прорубается саблями, — учти, Учитель!

Теперь — танцовщица!

Бронированная машина, эмблема «Дворец Верховных Инстантов». Кто-то из них обольстил Титану. Или оба — как бы! — обольстились. Так иль не так, она во Дворце, где струятся все наши надежды, где планируется с плюсом общество обещаний.

Куда Корбюзье! Дворец — ультра-модерн! Стоит на берегу реки Вены с видом на волны, кто же догадается, что в нем кто-то жив? Стоит гигантский запаянный куб 1.000 на 1.000 на 1000 м куб.!

Куб из легированной стали, ни щелочки в нем для иголки, такая макси-избушка Века, ни куриных ножек, ни окон, ни дверей. Ходи вокруг, как ненормальный, бейся лбом, если не терпится, облизывай золотым языком, если приглянется, — Куб не отвечает, стоит! сверкает, анодированный! Да и кто пойдет? — пожизненная гробница для Верховных Инстантов, бальзамировались в Кубе, чтоб уцелеть хоть при жизни.

Шофер с харей из хризолита.

— Что ж, — подумал я, рассматривая пуленепроницаемые латы шофера. — На нем и шлем с забралом. Шоферу-то зачем забрало? Да и не шофер он, машина самоуправляется из Дворца, шофер же с оптическим автоматом — из Тайной канцелярии. — Посмотрим, — решил я, — как-никак, а еще три-четыре страницы для рукописи, не описывать же до рвоты себя. Нужно же написать и про мир во всем мире.

Машина летела со скоростью света и уступают ей дорогу другие народы и государства. У Дворца из радиатора вышли бивни, вонзились в сталь и мы ворвались вовнутрь Куба, вошли в многометровую броню толщины и вот! — во двор. Произошло это в секунду. Если бы враг фиксировал нас, он бы обманулся: на пленке прочертится световой пунктир, но не мы. Да и кинопленок у нас нет. К слову: и фотопленок нет.

У дверцы двое в скафандрах. Открывают.

Сколько мифов есть и нафантазируются об этом Дворце! Но око мое — светильник тела, два ока — два светильника. Вот вам два моих глаза: я пишу!

Двор пуст, чист. Ни барокко, ни рококо. Двор! — простран-

ство, выметенное метлой из прутьев ивы, асфальт. Дворец в Кубе! — какой же Дворец, никакого дворца. Во дворе дом. Из кирпича, дом как дом.

Знайте, за стенами бронированного, анодированного, устрашающего весь мир Куба — кирпичный дом, для людей. Ничего нет в нем потустороннего и нет архитектурных излишеств, а есть в нем люди, кровинцы. Как все мы и даже лучше.

Люди, кровинцы, еще не старые, от 70 до 140 лет бегают вокруг дома в синих тренировочных костюмах из трикотажа, они еще не утратили утра, хороший признак. Многих я узнал по портретам в лицо, но художники, рисовавшие портреты — или же хитрые халтурщики, или же сволочь со свечой и вином, натравленная диссидентами. На портретах у Верховных Инстантов лица тупые, типизированные, красномысые. Какая несусветная ложь распространяется по Юбилеям под маской портретов! Я двумя глазами смотрел на бегающих вокруг дома людей, кровинцев: оживленные, оригинальные, одухотворенные лица, у каждого в руке чаша чести, а в чаше соус совести. Ни одного пьяного! Ни одного небритого!

У диссидентов нет чести, нет совести. Это я знал. Они борются за права примата, сами не видя, что творят. И я не мог видеть, пока не увидел двумя глазами, какую клевету распространяют эти типы про моральный облик Верховных Инстантов, маскируя зависть и злобу в форму анекдотов и псевдокровинских частушек. Чепуха! — у всех здесь человеческий облик.

Они даже солнца-то не видят вовсе: над домом крутится пять искусственных солнц. А скрываются в Кубе от нескромных взглядов: далеко зашла зависть и злоба диссидентов, купающихся для закалки в проруби у Пропадовской крепости. Скромность и правдивость, чашу чести и соус совести — вот что ненавидят эти бесцеремонные, лживые, алкоголизированные субъекты. Но я не о них. Пусть их постанутся.

Двое в скафандрах у дверей: открыли мне, закрыли за мной. Хорошая у них манера держаться — в скафандрах! Открывать и закрывать за мной дверь, — даже в Академии другой принцип, худший: открывай и закрывай своей рукой. Как будто у Академии нет брьюалей, чтобы дать их двум в скафандрах: пусть открывают и закрывают за мной дверь, — пустяк, но приятно.

Двое в костюмах, сшитых из тканей, подошли в вестибюле. Я залюбовался: вестибюль, как в больнице! Нет лампочки в потолке, нет табуреток, нет пальм в кадучке, нет электрических часов. Пусто: пол из мраморной крошки, отшлифован и опустошен.

Двое взяли документы. Взяли чистыми руками. Как же не поинтересоваться, не полюбопытствовать! Не вздройнув от моих

званий, героизма и гениальности, двое проводили меня к лифту. Встали с двух сторон и проводили меня до этажа. Как мальчишки с голубыми глазенками, — катаются с этажа на этаж, весь день. Я сказал, что и сам доеду, не приучен к знакам почтения, — нет, им хотелось покататься.

У выхода из лифта ждала Титана Себастьяновна Йуздальцева. На ней пеньюар из горностая. В этом доме даже странно видеть драгоценный мех... Женщины...

У двери Титаны двое в белых рубашках с ножами «штеемесер»: нажмешь кнопочку — выпрыгнет ножичек, нажмешь — спрячется. Мне бы такой, ходить за грибом в лес! Шатаешься по лесу в цилиндре, с манишкой, в одной руке трость, в другой кухонный нож, заржавленный, для рубки хлеба и костей, — как бандит из кинофильма о не нашей столице. А так бы: нажал кнопочку, лезвие выпрыгнуло, отрезал грибочек у ножки, нажал еще — спряталось жало кинжала, а в руке у тебя безделушка из перламутра. Захочется, встречный, думай, что это рукоять опаснейшего ружья, а я отвечаю: это я для себя хожу в лес с тростью и безделушкой, я, видите ли, перлюстрирую перламутр!.. Хорошо, что еще никто не видел меня в лесу с ножом из бундета, а увидят — что отвечу?

Она суетилась, как сука.

С низким задом, как у кровинцев, с обрюзгшей физиономьей, с нержавеющими волосами, а на вид — феерическая фея, столько набросала на себя веревок с жемчугами, столько припаяла брошей с бриллиантом, сапфиром, изумрудом, — какие еще есть камни, которыми не побивают святых и пророков, а надевают на тела селялюбивые бардачницы всех континентов, если им сильно за 50?

Кухня — зал персональный, кухарка отпущена на 3 часа, чтоб мадонне общаться со мной — персонажем, на кухне — гобелены, маски, вазы; веера, живопись, фрески, — весь Земной Шар всех времен всех народов ограбила эта старуха для кухни, для пьянки; с похмелья тряслись глазницы!

— Вам бы поесть! — сказала она вприпрыжку по ковру. — Это стол, где Вы будете есть — Николайя, знаете, может быть, того, из Москвы, который застрелил Пушкина!

— Меня заграница не интересует, — сказал я. — Визу в Москву не взять. Да и не хочу, я — кровинец!

— И меня заграница не интересует. Взять визу и глазеть на статут страны. Да они перестают развиваться! Инфляцья, безработица, насилье! Поедешь, как в кино, привезешь тряпку да трясись на таможне. Но Москва! Там есть что есть! Поезжайте в Москву, я похлопочу про визу, у них хлебом не корми, — всюду мясо, масло и молоко, и все разрешают увозить — бесплатно! Богатство — в бочках! Вон у нас огурцы, помидоры,

капуста — все с кислинкой, — все из Москвы! Хотите сосиску? Одну дам, а больше не могу, нам носят из спец-валют. Московская сосиска — это не суп из хвоста кенгуру!

В кастрюле крутится сосиска! Я загоревал. В юности мне давали визу в Москву. Вспоминается, — волшебный Восток! Все равны друг другу, все друг друга строят. Хлебосолье и халва. Свинина и сельдь! Нет инстантов, нет диссидентов. Купайся в луже — никто слова не скажет, хоть и свобода слова, и все говорят без передышки! Свобода свадьбы! У нас, правда, еще лучше: у нас ПРАВДА! Чего у нас только нет! — ничего нет. Взять бы эту сосиску, сожрать ее сок! Но я не ем.

— Если не хотите, чтобы я выбросил кастрюлю, выбросите сами. Я не ем.

— Странные нравы теперь: никто не ест. Мы им даем целые гастрономы еды, консервный Завод работает, как концерт: хлеб из опилок ливанского кедра, еловые шишки в горчичном соусе, тунисские пивавки, картофельная кожура в мармеладе! Думаете, продукты несвежие? Свежайшие, из холодильников! Они и триста лет еще не пролежали! И что ж? — отравляются нашей пищей! Диагноз: преднамеренное отравление! Ах, кровинцы! Во все века они ненавидят нас! А мы их любим. Мы и живем-то в запаянном Кубе, потому что боимся: если мы выйдем к людям, наша любовь превзойдет все ожидания!

— Не суется, Титана. Жри, если хочется, и жрать давай другим — сосиску. Я не ярей, не инстант, не диссидент, — я не ем. Ваши проблемы для меня — по касательной. Дай пива мне, дай! У меня нет ответа на вопросы экономических дисциплин. Дай пива, я объясню, как пью с утра!

В глазах у Титаны сверкнула слеза!

Она прыгнула к холодильнику. Такому прыжку позавидовал бы и мой предшественник по мансарде — В. Нижинский.

— Тебе еще танцуется? — спросил я, с пивом.

— Чуть-чуть. А Вам хочется потанцевать? Как Вы — даже джентльмен: и пиво, и танцы! Мой муж, Илия Тумбасович Юбздальцев, — ему не до танца, он старается для Столицы. Сейчас он в Юго-Восточной провинции, там у нас дворец, вертолет и блятви. Здесь их называют девица с девизом.

Не подслушивают мой телефон, это я перепутал знак звука. Почему же мне должна звонить Юбздальцева? Потому, что приснилось имя Суздалец? Ей-то, Суздальцевой, на кой геометрия с автографом, если ей не сойти с афиши? Инстанты на афишах не женятся. Юбздальцева — вот кто мне звонил. Вот она — женщина в жемчугах, уже опьяневшая от пива и вчерашних вращений. Ее муж — Маршал тех, кто хлебает хлябь. Тех я не

видел, они в лесах и на полях, говорят, что и они живут припеваючи. Мне-то что!

Пиво из Голландии, Титана вскрывает банки с мастерством фотографа-моменталиста.

— Давай дуй, давай! — сказал я, поощряя.

— Мой папа был Маршал Тайной канцелярии, правдоискатель, погиб от лжи врага, ложь изорвала ему сосуд в сердце. Если бы он хоть раз солгал сам, был бы жив. Но не мог — и погиб. Я — лишь полковник Тайной канцелярии, по завещанию. И я не лгу, и мне смерть. Как бы перевоспитать врага, Иван Павлович?

— Что пригорюнилась, Титана! Полковник — тоже не птичка. Мой папа был Герой Всех Войск, и его убили в лоб. В Тайной канцелярии.

— Мы не знали! — воскликнула Титана.

— И он не знал. Вызвали и убили, вот он и узнал. Дуй, дуй! Кто старое понимает, тому в глаз вонь! Я без предрассудков.

Она, отдуваясь:

— Я ведь боялась Вас, Иван Павлович Басманов! И что сказать, и как себя показать? У нас ведь нет прав принимать Вас в гости, все — нас ниже. А вдруг Вы — выше? Что скажет радиостанция «Логос Хамерики»? У этих пройдох везде уши. Что скажут кровинцы? Вас видел кто-нибудь, когда Вы садились в машину? Кто-нибудь записывал номер машины в записную книжку?

— Что нам «Логос Хамерики»? Пусть подсматривают, а мы пьем пиво! Пей, падчерица тайн, жуй, женщина!

Где пиво — там сортир, я пошел отдышаться. Раковина — нерукотворная, но на цепочке для спуска висит слепок из бронзы — кисть Верховного Инстанта. Я дернул за кисть, спустил. Озарился: вот откуда струятся наши надежды — в реки, каналы, в море им. св. Бельта, а уж оттуда — в нашу кофейную гущу, в борщ из бочек, в коктейль для кельи. (Хоть в рукописи похвастаться: я видел Истину, исток!)

— Думаете, почему стены завешены гобеленом из гойи и всякой модильяню в красках? Из наживы денег? Из поминанья живописей? Ошибка! Знаете Катю? — у нее все есть! Отворачивайте ковер!

Отворачнул! — стена стеклянная. Сквозь: видна точь в точь такая же кухня и стол Николая, у соседей.

— У нас все стены стеклянные, так дом задуман, чтоб ни у кого никаких тайн. Делай, что делается, но чтобы все видели наизусть: что делается? Подслушивать — ниже нашего уровня. Зачем? Вот: в холодильнике вмонтирован микрофон, все разговоры переписываются тут же, на верхнем этаже, в канцелярии. Нет хлопот! Говори, что ты продумал, — и тебе запишется!

— Может быть, — ляжем в ложу? — спросил я, на всякий случай. Прошептал.

Титана схватила листок календаря и ручку с чернилой. Написала: «Не здесь. У Вас, где-нибудь. Придумайте!» И сожгла листок на зажигалке. Образованная образина. Я написал адрес. Она сожгла и адрес, а пепел съела. Впечатляющая память.

— Как выйти? — вот вопрос. Ведь не выйдешь, — это не тюрьма!

Она:

— Выйди в окно.

Я:

— Я не считал этаж, но, думается, здесь — метров 800, высота парашюта. Выйти-то я выйду, а — ноги?

Она:

— К подоконнику прикован цепью самолет «Боинг». По вечерам их спускают с цепи, они летают вокруг дома и лают, — сну не помеха, нам делают укол в задницу, спим, сколько спросится.

Она включила холодильник:

— Спустить «Боинг» с цепи! Для гостя!

Я позвонил Зубикомлязгику. Дул ветер с реки Вены, в телефонной будке, на полочке для бритвы — башмак с двумя застежками, свинцовыми. Башмак, полный монет. В будке какая-то реконструкция. Если уж так, и я бросил монету — в башмак!

— Зубиком, — сказал я. — Лязгик, — сказал я. — Через час к тебе явится на бронированной машине хорошенькая женщина, ей лишь год до пенсии. Я дал твой адрес. Твоя задача: твоя с ней ночь. Не пей в усмерть. Если ты не войдешь в высоту вопроса, то знай: все прогулки отменяются.

Утром Зубикомлязгик позвонил мне; он был уныл, зачем-то заикался: — Иван Павлович! — сказал он с убийственной простотой. — Я в первый раз в жизни спал с полковником Тайной канцелярии!

И по проводам пошли рыдания.

НЮ-ДЕВСТВЕННОИЦА С ДВОЙНЫМИ ГЛАЗАМИ С ОФИЦЕРСКИМ РЕМНЕМ

У Пяти Углов стоит пять девиц, на углу по штуке.

Не до них мне, я — в Саркофаг. На одной двери М, на другой Ж. В дверь М нельзя, а вдруг Метро, там специалисты по пьяницам и штрафам. Имя им жандармы.

Я в дверь с буквой Ж, мне нужна дверь, я не змея, это у нее отсутствует мочевого пузыря, у меня он есть.

Сто ступеней в подземелье, кафель, я пошел, мне кажется, вниз. На ступенях женщины, стоят, их сто. Они в одежде. Курят. Многие в мехах, губы — запоминаются. Внизу женщин нет. Их дело, ходят как хотят: быть на ступенях... не быть внизу...

Я съел сигарету, пошел по ступеням вверх.

На 37 ступени я столкнулся: студентка. Я не знал ее, но по лицу что проще догадаться — курсистка! Она не шла вниз, не поднималась вверх, не стояла, как те сто. Она кивала всем дамам, не всем вместе, а кому попадет. У нас кивают лишь иностранки, а эта — студентка. Она не была внизу, я увидел бы. Она не спрашивала с лихорадкой: как спуститься вниз? На ступенях не спрашивают, я-то спустился, не спрашивая. Эту задачу по логике я решил: ей здесь не место, она стоит (т. е. не стоит, а кивает) на моем пути, я взял ее за шиворот и вывел на воздух.

Вслед! — вышло! взшло! взбежало! выбежало! — я не грамматик от глагола, — сто дам в мехах, без губ (губы во тьме растворяются!). А тут тьма! К клозету Саркофага примыкает Фруктовый сад, за решеткой сада электрическая лампочка без абажура в железе, да и лампочка-то висит на тонюсенькой проволочке над волейбольной площадкой (в саду!).

Визг, ругательства, хватают меня и студентку... не люблю описаний, — сто дам ни с того ни с сего отнимают у меня ее, одну.

С женщиной нельзя драться. Почему бы и нельзя, но не как с мужчиной. Не оспариваю человеческое происхождение женщин, а не сомневаюсь: это особи, никакой наукой не исследованные.

Они тащили мою, царапая меня, как цапли! Я сделал вот что: я вынул из кармана футляр, из футляра — бритву фирмы «Жиллет»; она раскрывается, большое лезвие, я рекомендую бритву «Жиллет» всем геометрам на маршрутах Столицы, сталь чудесная, любую голову срывает в миг, если это не противоречит Кодексу; этой бритвой я вспорол шубы всем попавшимся дамам из ста, по принципу синусоиды, — и спереди и со спины. Дамы выхватывали из лак-сумочек иглы с нитью, бежали в сад, на волейбольную площадку, под лампочку — зашиваться. Остальные ушли в Саркофаг, урча.

В моей мансарде моя сняла сразу то, что на ней было и препоясала чресла офицерским ремнем; сидя на полу, приготовленная к бурям и барам, — расплакалась.

Я дал ей стакан рому.

— Что плачется? — спросил я. — Смотри: в форточке луна, в комнате аромат флакона, — лучший из всех в мире! Прибавлю: тебя никто не терзает. Зачем тебе офицерский ремень?

Она вздрогнула:

— Чтоб не забеременеть!

Я:

— Возьми в рот руку!

Она:

— Зачем?

Я:

— Через рот еще никто не беременел. Зачем ты пришла? Чтобы плакать?

Она:

— Ты взял меня за шиворот.

Я:

— Иди в ЗОО. Там слон, без девицы. Увидит тебя, удивится, распустит руку в хоботе до земли, а ты увидишь — расплачешься пуще!

Она:

— Может быть, ты посоветуешь дога, чтобы к нему уйти?

Я:

— Могу дать и дога. Давно хочу собаку.

Она:

— Значит, ты не будешь жалить меня, зачем тебе ню, если тебе требуется дог?

Пора бы поразмяться. Так мы договоримся до гориллы.

Я знал, что у Саркофага знакомятся, но там же — Клуб лесбиянок, припоминается. Дуня-ведунья оттуда, иначе не плакала бы и — ремень?

Я:

— Это легальный Клуб или жертва общества?

Она:

— Нелегальность. Стопроцентная. Платим по брюаю жандарму клозета, ему нравится. Беспорядков-то поменьше. Он хулиганами озабочен. Морду они ему хлещут.

— Пей, Дуня, — сказал я, — у меня есть и бренди, и шартрез; ты мне нравишься.

— А так бывает, что ню нравится — мужчине? тебе?

Тупик. Нравится ли?

Есть такие ню: пока стоит в какой-нибудь одежде, глаза у нее т. ск. желанны, а раздевается и препоясывает чресла офицерским ремнем — глаза двойные! Передо мной: девица с двойными глазами, не драгоценность, но встречаются. Теперь ее в Саркофаг не пустят, — запятнана мной. Что Дуня-ведунья? В Восточной провинции голод, побег в Столицу, не поступает в институт, ходит с двойными глазами, а у дамы-декана глаз всевидящ, а узнается, что девственница, случай феноменальный, — дама-декан полюбит ее, удочерит и прописывает в своей квартире.

Дуня-ведунья попадает в списки вне-конкурса, учится для диплома, ее балуют серебряным кулоном на грудь, дают мясо на косточке, ласкают в постельке, — как собаку.

Потом приедается, денег на двоих и у декана не так уж (дачу-машину обслуживает и оплачивает!), и пойдет моя двойная к Пяти Углам, в Саркофаг. Ведь у них с дамой семья, а у нас в семье работают двое. В Саркофаге — сто. Носят они в авосках спец-коврик, тепленький, за решеткой сада — скамейки, постелят на землю коврик, Дуня-ведунья станет на коленки; десять минут — десять брюалей. Там: жены инстантов и жандармов, все есть у них, и любовь, и медаль, и брюаль, пять комнат в квартире — для ласк, есть где, казалось бы, — по-ул-ыбаться, а вот не умеют мужья, стесняются, что ли, после блятвей у них неловкость какая-то с женами, вот жены и желают девочек из Саркофага. За вечер-полночь Дуня-ведунья зарабатывает сто брюалей, больше невкусно...

Лампу люстры мы не выключали. Звенели на Зеркале. Дай Бог тебе дога Дуня-ведунья, ведь я — первый твой мужчина! Не льстит мне, но я пил 324 дня.

Утром я уснул, в полдень проснулся: сидит надо мной с двойными глазами, на талии офицерский ремень, в руках горшок с цветами, вылизывает их, цветы и листья, пережевывая и съедая, — не от голода, конечно же, от привычки лизать и жевать. Это — единственные живые друзья моей мансарды, я их растил с ростка, она их убьет. Убийца цветов.

Она просилась прийти.

Я изгнал ее из своего государства.

НЮ-МУЖЧИНА ВИКТОРИАН БУБЛИК

Девицы на Несском, движутся в вельветах, каблук «коломбин», волос вьется в морозце, щеницы, глазик-монголоид, а на открытой, щемящей сердце — шее, на цепочке нет ни крестика, ни кулона, а болтается бритва марки «Вена» и «Мэйд ин Поланд», символ-сталь, сигнал «Секс-Опасно!»

У Саркофага столкнулся: Зубикомлязгик и Дуня-ведунья.

В подъезде N 11, под лестницей Зубикомлязгик откусит бритву Дуни-ведуньи, будет гладить ей ляжку под юбкой — как утюгом! Будет ли у них что-либо-нибудь-кое, — меня не касается. Я знаю лишь:

Зубикомлязгик еще простодушен и откусил бритву не из боязни пораниться, не клептоман, а — чтобы побриться с утра. Бритв для бритья у нас нет.

Я видел сон: что-то хорошее и несомненное в той жизни, когда я еще не ушел от Майи.

Я вышел к форточке, тело не повинуется, в темноте я не знаю, где я. Я знаю лишь:

луна показывает 6 часов утра. Новый Год!

Новый Год, бьет мороз редчайшей красоты, силы. В эту ночь не читать ни о чем! О чем читать, я сам себе — сюжет:

В лесу был снег и стоял стул.

В лесу было семь докторов Наук НТР и семь докторэсс. Вот их имена:

(не помню! — четырнадцать, я сидел в лесу на стуле и пил, память-память!).

Говорю, как рассказывается:

В лесу снег, стоит стул, на стуле я, со мной четырнадцать докторов и докторэсс НТР, приехали на электричке в лес у моря им. св. Бельта, чтобы отпраздновать Новый Год. Мужской персонал привез семь рюкзаков, там еда и бутльк бутылей. У женщин тоже рюкзаки.

В лесу пить не стали, в лесу нельзя жечь костер, а мы любим природу. Взяли стул, взяли меня и принесли к морю им. св. Бельта.

У моря лодка. У лодки ель. Сели все в лодку, под елью — все же Новый Год. Я сказал: нельзя сидеть в лодке, всякая лодка — ладья, всякая ладья на земле — смерть. Так издревле, так Ольга поступила с древлянами: несла их в ладьях — похоронить. А они-то не знали. Вот и похоронила. Не нужно сидеть в ладье, дурной знак!

Надо мной посмеялись, но сели в ладью. Я не сел. Я взял стул, принесенный из лесу, я сел на стул. Все смеялись: оригинал! Посмотрим.

У моря жечь костер можно, распустили костер; он пылал как пламя!

Потом стали пить, закусывая, еще до часа Нового Года. И я пил. Вот в чем, оказывается, суть:

Семья им осточертевает; жены надоя и мужья недолюбки. Не хочется встречать Новый Год в семейном кругу, скука: скука! Вот и решили встретиться вместе все не имеющие счастья в семье, уехать в лес, к морю, как в юности — никаких квартир, все а ля натюр, — воздух, звезды, море, луна, ладья, лес, ель и я...

— Я-то при чем? — спросил я.

— Ты сидел в лесу на стуле, ты мог замерзнуть, а теперь мы тебя принесли, участвуй! У нас праздник! С Новым Годом!

Я их не поздравлял. Я сидел на стуле в лесу, я мог бы замерзнуть, им-то что!

Женщины развязали мешки, вот что в мешках: кошечки, собачки, хомячки, морские свинки, змеи, петушок и гиппопотамчик, и т. д. — все это в платяницах, в вязаных шапочках, в башмачках! Стали вешать на ель, украшать ель к Новому Году, игрушки. Трогательный трюк!

Это я сдуру думал, что это — игрушки. Оказывается, зверушки — живые: мяучат, лают, хрюкают, шипят, кукарекают, гиппопотамчик хватается пастью, но и его повесили на ель, удавили.

Всех повесили на ель на удавках, всех удавили.

Транзистор ВЭФ-202 поздравил всех с Новым Годом, бой бокала, танцы у моря, с брудершафтом, транзистор с магнитофоном, — под елью, на ели висели трупы зверей, в судорогах! Были живые, теперь висят. Кто не подышает — иглой выколуют глаза. А снег при костре — семицвет. Пары — парят! покружатся у костра, выпьют, закусывая и уйдут в лес...

Кто с кем, меня не касается, я взял стул и ушел.

— Милюта! — сказал я. — Ты мыслитель. Если кто сидит у моря на стуле, охватив лоб кистью с указательным пальцем, как умный, знай, — это убийца. Я убил четырнадцать людей, кровинцев.

— Что ж ты так? — спросил Милюта Скорлупко.

— Так, убил! — сказал я, не зная, что еще сказать. — Пойдем. Мне суд по Кодексу, и все тут.

— Брось! — Милюта поморщился. — Кто из нас не убивал? Гений и злодейство — две вещи неразрывные. Ты их в борьбе убил? Для самозащиты?

— Если бы в борьбе! Я сидел на стуле, с колоколом на коленях и убивал их в уме. И убил.

— Вот как, — в уме! — вторил Скорлупко.

— Да. Они мне дали колокол и сказали: мороз, мороз, Иван Павлович! Если мы почему-то вмерзнем в лес, в ладью, в море, — звони во все колокола, услышат, спасут! Я взял стул и ушел, а колокол выбросил. И подумай: четырнадцать человек, цвет НТР, доктора Наук и докторэссы! Я их убил.

— Не убивайся. Это твой вывод.

— Это мой вывод. Уходя со стулом к станции, я возвратился. Они лежали в ладье. Вокруг валялись гитары. Я пощупал пульсы: все четырнадцать — мертвецы. А почему: я хотел их убить в уме и убедился, что я прав: я их убил. Нет мне прощенья, нет мне пощады.

— Это Новый Год, у нас — нервы! Успокойся, весной их найдут, разморозят, и посмотрят еще, живы они или мертвы... Тоже мне, тяжелоатлет! Убийца в уме! — тоже мне, амбиция! Лучше полюбуйся!

Я полюбовался:

в кабинете в штабелях — шубы, шапки, саквояжи, костюмы, юбки, джинсы, башмаки, сапожки, шарфы, колготки и носки (вязанные и нитяные!) — все в количестве... экземпляров! На письменном столе таз, железный, для мытья морд. В тазу — часы, шоколад в серебре, кольца; перстни, цепочки с крестиками, серьги, брюали, пейки, — целый таз!

Майор объяснил:

— Новый Год у жандарма — путь премий. Мы ловим на улицах пьяниц и вынимаем их из одежд. На одежды и ценности составляем протокол, а голых выбрасываем в канализационные люки, чтоб не замерзли. Их имущества — нам за службу, а мы: — Выпьем за павших, Иван Павлович! С Новым Годом!

Новый Год, бьет мороз, взрыв батарей парового отопления, турбина, котел, газовая колонка — взрываются!

Бог бормочет, замерзая на лету, пропадом пропавший. В инстанциях бросают бухгалтерию и рисуют портреты Верховных Инстантов, не получается, не знаем Верховных в лицо, вот и выговор: не рисуй всуе. Но и копии, выполненные по правде документа, не спасают: мороз мрачнел! В доменных печах переливают танки на пушки, стреляют из этих пушек-самоделок в воздух: в Науке считается, что взрыв разряжает замороженный воздух и тогда теплеет.

Не теплеет. В магазины прекратился ввоз поеданья, ясноглазые гимназисты собирают в ранцы трупики воробьев и ворон, замерзших, упавших. Выключается электросеть, воды нет, рубят рукой мебель-шкафы, и перила лестниц (топора-пилы у нас нет!), распускают костер в коридоре, расплавят лед, сварят в рюмке бульон из птичьей мертвечины (тарелок у нас нет!).

Когда взрывается в семье бутылка с бормотухой, становится не по себе, приходит крах: война с Кидаем!

Ходят на труд, а ждут повестку Войны.

Морозы отступают. Войны с Кидаем не будет. По радио объясняют ошибки от мороза в домах вне ремонта, во всем виноват метеоролог, почему он не предсказал на 75 лет вперед меру мороза? А мой друг Антип Инфантьев, манометрист из бани, с нашей лестницы, этажом ниже, ликвидирующий иностранные марки с конвертов и оставляющий мне мзду в 1 брюаль, тот, кому я благодарен за это, — награждается за какую-то пружину манометра, у которой не иссякла сила и в лютую стужу, пружина жужжала и без воды. Написали в прессе: «Антип Инфантьев — лучший манометрист Столицы!» Надо же, — награда.

В батарею парового отопления кипятки, а неизвестный раб-рыбарь из экспедиции минерала Северо-Западной провинции, 33

лет, Викториан Бублик стал персоной N 1 во всем Земном Шаре, о нем захлебываются радиостанции «Логос Хамерики». Мы молчим. Не опускаться до спора нашей, нескомпрометированной, передающей правду — радиостанции! Здесь — вымысел, а мы о вымысле — ни слова! Попытаемся разобраться.

В батарею парового отопленья наконец-то — кипяток, а раб-рыбарь Викториан Бублик, 33 лет, открутил кран у батарее и вывинтил кран; снял с себя всю одежду, ведь в отверстие от вывинченного крана в одежде — не взлезть, Бублик влез в отверстие без одежды с коробком спичек во рту и поплыл по десяти извивам батарее, выплыл в водопроводную систему Дома Балета, по водопроводным трубам проплыл систему квартала, попал в канализационную сеть и поплыл по канализации, попал в трубы, выбрасывающие отбросы производств, и поплыл, попал из канала им. св. Гробоетова в реку Моргу, из нее в реку Вену и поплыл вверх, доплыл по ручьям до границы с Финляндией и переплыл границу.

Оговоримся: Викториан Бублик плыл под водой, не питаясь ничем, а уж воду-то не пил, захлебнулся бы!

Он попал на территорию Финляндии, но финны и оленей возвращают в Столицу из-за Хельсинкской конференции, зачем финнам Бублик?

Раб-рыбарь читал газеты, поэтому он подземными озерами пронырнул Финляндию и вышел в Норвегии. О Норвегии Викториан не читал, но на всякий случай пошел на ногах. Новый Год, под Северным сияньем ходить не воспрещается, пусть у тебя и голое тело. Но мороз! 50° по Цельсию, пощипывает. Спички во рту отсырели, а всякий груз для пешехода ощутим, тем не менее он вынул изо рта и не выбросил, а понес в руке, — вещь родная.

Попадается клюква. Но нужно идти, а не копать в снегу. Спать хочет, но спать нельзя, выйдет из берлоги поспавший, с сосулькой от сна, отяжелеет, дальше не уйдет. Попадается птица. Но Бублик сам не летает, а норвежский валун из фьорда в птичку не запустить, — и тяжелый, и не попадешь в птичку, а попадешь — так расплющишь.

Раб-рыбарь Викториан Бублик, 33 лет, не знает ягодоведения и птицелогии.

Не знает он и географии. Он идет через Норвегию, Швецию. Он идет днем по Солнцу, если оно проглянется, а ночью по звездам, если увидятся. Куда идет Солнце тут, как располагаются звезды чужбины — этого Викториан Бублик не знает, он знает, что Солнце и Звезды хороши для души. Есть он хочет, пить он хочет, холодно — конечно же, но нельзя останавливаться, не дойдя до цели.

До цели он дошел: увидел не наш поезд в лесу, на вокзале. На поезде надпись «Дания, Эльсинор». Весь мир хлещется высшим образованием. Да у нас каждый раб-рыбарь знает по Шекспиру, что в Дании столица Эльсинор. Да у нас кто не разбирается в буквах других стран, кто не знает, что у них все не по-кровински, а наоборот: «н» пишется как наше «п», а «п» пишется как наше «р», — думают, что мы запутаемся!

Бублик взошел на поезд. Билета нет, — вот что кровинца стесняется. Но у него есть спички. В Дании спичек нет, за спичками охотятся все туристы из скандинавских стран, они и романы-то пишут с названьем «За спичками». Викториан взошел, сел на скамью, обитую безвкусицей: ткань из малиновой парчи с золотым орлом, датским; наших орлов у них нет. Не как пришелец-хам, а как настоящий кровинец, Бублик выдул бутылку минеральной воды и съел пять вафель в фантиках, больше на столике ничего не было из еды, экономят на пассажирах. Выпил, съел и положил на стол — спички!

Поезд пошумел и пошел. Кондуктор вошел и подошел. Кондуктор не стал свистеть в свисток, а осмотрел Бублика со всех сторон и удовлетворился, и билет не потребовался, — кондуктор воровато осмотрелся в купе, взял спички со стола, и, — в карман! Еще бы!

В купе три дамы. В Дании в каждом купе по три дамы, такой у них Кодекс. Дамы едут сидя, как полагается, Бублик им понравился: в Дании сухой закон, а юноша — из общества любителей минеральной воды (это их мысль!), вафли в Дании едят лишь священнослужители, и то лишь на Пасху.

Мы позабыли, что Викториан Бублик был ню. Но какой ню; весь в волосах, голова, лицо, пах, живот, — весь как есть в волосах, и ноги, и руки. Такая форма у молодых в Дании не бросается в глаза, разве что запоминается для себя: новая мода, естественная.

Раб-рыбарь жалел дам: спичек нет у них, в Дании зажигалка, обжигаются газом ресницы, ноздри и... губы. Древнейший ритуал — первый поцелуй! — в Дании отсутствует, губы не чувствуют любви, обожженные. Кажется, газовая зажигалка — цивилизация, а от нее губы опухают, три дамы до Эльсинора открывали рот с трудом, когда Бублик смотрел на них, говорили фразу с акцентом.

В Эльсиноре! — Королевский Дворец, сторож с алебардой и не спрашивает «кто идет?» — Викториан Бублик идет, а тех, кто объясняется по-кровински, в Дании пропускают без препятствий. Тронный Зал! — здесь принц Гамлет был в борьбе со злом. Бублик знает, куда идти, настоящий кровинец искореняет зло.

На троне! — королева Дании, Гертруда II. Бублик первый дал королеве руку, она пожала, уважая.

— Говорите по-кровински! — сказала Гертруда II. — Мои дяди вышли из Вашей Столицы, это были цари Романовы. Но Бог мой! — она взяла католический крест, — что творится в Вашей Столице! голод, узурпация инстантов, психобольницы для диссидентов, ах, ужас! — как в Хамерике!

Ах, «Логос Хамерики»! — мировой жандарм сенсаций! На коронацию они прислали аллигатора из Цинциннати. Это — шантаж, лесть, подкуп, они недооценили мой ум. Я убила аллигатора и осмотрела желудок. В желудке целая коллекция: метеорит весом сто граммов; три зубца от граблей, три пары очков, три доллара и 18 мелких монет, ножницы, 17 зубных щеток и дверной замок.

Метод дедукции, Викториан! По дедукции получается: метеорит — хамериканцы стремятся к захвату Космоса, 3 зубца от граблей — Хамерика сельскохозяйственная страна, 3 пары очков — хамериканцы подслеповаты, 3 доллара и 18 более мелких монет — любят бизнес, но мелочатся в монетках, ножницы — прижимисты, сами шьют себе костюмы, сами подстригают ногти, 17 зубных щеток — невероятная страсть к зубам, холят и лелеют пасть для лжи, дверной замок — в Хамерике много мафий, взрывают любую дверь, а народ хамериканцы запираются друг от друга на замок.

Ваша Столица, Бублик, прислала мне тоже презент: белого медведя! Я сразу же поняла, что это от души и по правде. Но для дедукции медведя вспороли, нашли: медицинский пластырь, кусок брезента и рваный хамериканский флаг.

Медицинский пластырь — Ваша Столица уделяет внеочередное вниманье медицине и здравоохранению, кусок брезента — вы строите дома из брезента, чтобы закаляться в климате, вы рвете хамериканский флаг.

— Вы попросите политическое убежище? Вот оно Вам: в тронном зале! Живите, желайте!

— Благодарю! — тон Викториана Бублика был тверд. — Но я не прошу политического убежища. То, что Вы говорили о голоде и т. д. — этого у нас нет, а у Вас психоз псих-больниц, а лучшие люди висят у нас в виде портретов на Площади Расстрелов. Я по всем пунктам согласен с пунктуацией Столицы. Я не говорю, что Вы лжете, это было бы сверх программы гостеприимства, но у Вас простое сердце и нерв на веру радиостанции «Логос Хамерики».

— О Хамерике я сказала внятно: ужас! Мне нравится Ваш вид в волосах, но признайтесь, почему вы убежали из любимой

Столицы? Так не бегут и в ад. Если Вы не яурей, то могли бы жениться на яурейке и уехать на аэрофлоте.

— Я не люблю яуреек.

— Вы бы купили яурейку и, не вступая с ней в контакт, получили бы всевозможный вызов.

— Яурейки стоят 10 тысяч брюалей. Если не есть и не пить 15 лет, я заработаю деньги на яурейку.

— Но вызов!

— Он фиктивный. Тайная канцелярия не поставит штамп. А мне-то тоже зачем фикция? Я не жулик.

— Но Вы убежали.

— Мне не от кого бежать, я — уплыл.

На аудиенции вельможи двора, вожди партий, иностранные консулы, артисты и маршалы. На хамериканских дипломатов и корреспондентов королева Дании Гертруда II наложила эмбарго.

Сенсация мира:

за 20 дней Бублик проплыл 2.200 км под водой! То, что он шел — не в счет, все идут.

Комиссия экспертов от ЮНЕСКО. Экспертиза: кран в батаре — отвинчен, волосья с тела пловца в водопроводных трубах — найдены, в Бабенцовом море поймана рыба блятва со следами зубов, сделали рентген — зубики Бублика, в Финляндии Викториана видели, выстрелили, в теле раба-рыбаря была пуля финской промышленности, изготовленная для мирных целей 18 дней назад, в Норвегии Викториана видели, принят был за снежного человека, там их 17, его не взяли, но сфотографировали, фотокопия совпадает с оригиналом.

Мировая пресса захлебывается: зиг хайль! Подвиг Века!

Но спросили:

— Вашу любовь к Столице Вы объясняете с блеском. Теперь объясните, почему Вы уплыли?

— У кровинцев призванье: кому — какое! У меня призванье — плавать! — ответил с честью Бублик. — Я плаваю с детства. Я не феномен, а у меня призванье. Я хотел построить лодку своими руками и переплыть все океаны Земли по диагонали. Меня к этому тянет мой талант. Мне нужна лодка.

Я люблю Столицу. Я пролью кровь за кровинцев. **НО — У НАС НЕЛЬЗЯ ПОСТРОИТЬ ЛОДКУ: У НАС НЕТ ДОСОК, У НАС НЕТ ГВОЗДЕЙ, У НАС НЕТ СМОЛЫ!** Понимаете Вы или нет, олухи идологизма: **НЕ ПОСТРОИТЬ ЛОДКУ У НАС, НЕ ИЗ ЧЕГО!** Я требую записать мои слова в Нобелевском комитете и не клеветать!

МАЛЕНЬКИЙ МОНОЛОГ ВОСПОМИНАНИЙ, С ДИАЛОГОМ. КИНИК ТОДОР И МАЙЯ

У моря им. св. Бельта есть холм, на нем деревянный дворец, — мой Хутор!

Над ним нет радуг, там есть еще, может быть, мы:

Я,

Майя,

Уна — сука наша, пудель белый, королевский! Пудель — в полдень!

Свиной затылок, весь киник состоит из свинины: если кабан похож на могола, Тодор похож на кабана: белая кожа, на затылке щетина. Физиогномистика не ошибается.

Но имеет киник нежное сердце, наше, для добра и брака.

Как-то меня спросят: сколько я замучил женщин? Я затрепещу, я заплачу! Трепет не в трепет, плач не в плач, а сколько? — не помню. Замучил? — да, признаться, замучил, как змий Бумсланг!

Тодор не замучил ни одной женщины.

Доктор Наук, профессор-Лауреат, в интимной жизни Тодор был без денег, отдавая их женщинам, питался в буфете студента. Не удивляюсь.

Он и влюбился-то не по возрасту: ему 37, ей 30. Женился. Папа жены был наотмашь убит переменной, а киник Тодор не находил места, взваливая всю неповинную вину на себя: женитьба ввергла Тодора в хаос, уж вовсе в ничью нищету; тесть — Верховный Инстант Тайной канцелярии Юго-Западной провинции, — длинней титула нет! У тестя дворец, бронированная машина, еще дворец в загородной роще, но тесть так стар, как не дать ему деньги на старость? Верховные Инстанты Тайной канцелярии денег не имеют, у них энтузиазм.

Все му виной жертвенность, Тодор!

Я твердил же тебе: не ходи в Саркофаг.

Ты мне в ответ: как не пойти, ведь на улице схватят!

Уж лучше б схватили на улице, ну и что, дал штраф, застегнулся.

Горе тебе, я говорил; пойдешь — попадешься.

Пошел и

попался у Саркофага художник-портретист Бадья Жужжомец, а Тодор тут как тут, — жертвует собой:

садится на стул из сталактита, сидит 17 сеансов по 7 часов в сутки, чтоб Бадья нарисовал кисточкой рот, эх ты, оратор факультета! Бадья рисует, прикидывается. Бадья, увы, не художник, я писал в предыдущей прозе. Тодор уносит портрет к себе в руках, идет, как пешеход, через всю Столицу, в транспорт с портретом не пускают, чтоб не опозорился.

Так. На страницу — новелла:

месяц пройдет, Бадья пригласит Тодора на вокзал им. св. Витта, в мой ресторан, где директор — дьявологлазый Гай Рузин. Бадья, увы, не художник, но и не дурак: он ведь повсюду ходит с Геней Любяхиной, негде им по-ул-ыбаться. Бадья и Геня сидят в обнимку и Жужжомец возопит:

— Где деньги?

Тодор остолбенеет, а тот объяснит: портрет взят, ему наплевать на бедствия Лауреата, пусть платит. И добавит, оскорбит:

— Давай деньги, самец из свинины!

О какой оплате тут может быть речь, если киник Тодор 17 сеансов по 7 часов в сутки — сидел, сидья! «Самец из свинины», — обдумает Тодор, — ему не нравится мой внешний вид, но — ложь! Если бы не мое лицо, не написался бы шедевр, а портрет — шедевр, Бадья сам признается. Тодор же был на дискуссиях Искусства. О живописи не спорят, но киник XX века выигрывает такой диспут с сокрушительным счетом: 100:0! Это о вкусах.

О деньгах. Что ни художник — психопат, симулянт сумасшествия, но к чему их дикий девиз «Давай деньги!»? Сам для себя нянчится с кисточкой, отнимает время у друга и требует в кабаке, при лакее «пусть платит!» С какой стати он требует, чтобы любой, встреченный у Саркофага, платил ему?

— О Саркофаге! — взовьется Бадья Жужжомец.

Дьявологлазый Гай Рузин подойдет, спросил:

— В чем шум, Бадья?

— Вот в чем: кто-то из этих двух мне изменил! Киник Тодор, ответь: ты познакомился с Геней Любяхиной у Саркофага?

— Я познакомился.

— Ты познакомился с ней и увел ее для измен?

— Я не увел, мы пошли. Вам негде было по-ул-ыбаться. У меня же Лаборатория.

— Ты пошел, тряся телесой, как кумир!

— Мы пошли в Лабораторию. Я дал ей стакан спирта и по-ул-ыбался. Вам-то ведь негде, я-то причем?

Гай Рузин сидит, внимательный:

— Бадья! Мы посмеемся и Геню простим. Этот же фрукт нам известен: если наусъкать лакеев, — в морду убьют!

— Я не фрукт, я — фигура Наук!

— И фигура известна. Не ты ль, ежегодник, празднуешь здесь День рожденья, с друзьями?

— Я праздную здесь. Я люблю тост.

— Ты умоляешь лакея, чтоб дал тебе стол? Дает. Ты спаиваешь друзей, а сам пригубливаешь, наливая им допьяна, сам же держишься, сильный? Им-то вдоволь, уйдут на двух лапах, не помня. Мне-то, едак, вспоминается: счет! Ты требуешь счет, с бледным

лицом в цвет свинины, глаз голубка превратился в кабаный, вот — вынимается карандаш, пишется счет — наизусть! У меня лакей — ответственный за правду, если уж ты умолял о столе, то плати, как считает лакей. Ты же платишь по счету, изменник, — из меню!

— Из меню! — это — честно.

— Нет, не честно. Тогда не умоляй. А схватка с лакеем карается, как посягательство на традицию кровинца: равенство в рамках! Двадцать лет ты нас жулил! Если сейчас же ты не оплатишь двадцать лакейных счетов День рождений, — будешь забит.

— Как я могу? Нет у меня и брюляя в банке!

— Что говорить! — вмешалась Геня Любяхина. — Есть портрет, — плати, по-ул-ыбал — женись!

Вот в чем соль, Тодор, мой дорогой. Портрет — повод. Ты попался в тройной шантаж. Ты поразмыслил: папа у Гени, твой т. ск. тесть в перспективе, он — титулы я перечислял! Лучше жениться, стать жертвой любви, чем — не дай Бог! — замучить этих троих: Бадью Жужжомца, Гая Рузина и... женщину.

Ты женился на женщине.

Ну, как новелла?

Где научились трое таким идеям? Что за друзья у тебя, киник Тодор! — опустившиеся, погрязшие, требуют у тебя! Опомнись ли до сих пор ты, идущий с распахнутым сердцем — на встречу у Саркофага?

Так и тогда: Тодор мечтал про себя о дворце, о бронированной машине, сье не высказывается вслух. Пока же он скупал на последние пейки мебель для дворца. В его квартире ногой не ступить: бьешься о мебель лбом медным.

Я был в Столице, а друг мой Тодор, отважный, сделал гибельный шаг, дьяволизм: вздумалось ему по-ул-ыбаться — с Майей. Он снимал деревянный хутор поблизости. Майя:

— Беги, мой возлюбленный, беги как быстроногий олень с гор бальзамических от такого тупицы! Слушай.

— Тодор явился пьяный, не в своем состоянии. Эта свинина ввалился к нам, пыля. В портфеле пятнадцать бугылок бренди; в своей фантазии он перепутал меня с дивизией блятвей.

Мы воссели за яства и пили, а пес твой постился.

Лампа твоя в потолке, раскаленная Мук, ведь и в ней у тебя — непростая пружина!

О сад сад! Пчелы твои ушли в колыбель, муха махала крылом фиолета, взвиваясь к возмездью.

Уна ушла на чердак, чтоб не смотреть срам сатанинства.

Руки мои рокотали от радости, — жизнь, мой возлюбленный, а мне лишь двадцать, что ли, с чем-то, что ли! Не оценила я

цепь твою, не примирилась с венком из мирта: «не для нас наслаждаться!» Мне бы венец из вечного напалма, я — пала!

Киник Тодор с кабаньим глазом, ревел ртом:

— Почему для басмановщины прощается все, а мне — ничего? Почему же он может и пить, и девок переменять, не служить в расписаньях, шататься, как бешеный авиатрасс, в заграницы? Почему поводится все по уму — ему, а мне — нет?

— Потому что он — гений, а ты — гнида.

— И я гений, но другой. Чтоб проявилась во всю моя гениальность, Лабораториям — годы гудеть! Эх, как ставится эксперимент в кинической колбе!

— У тебя рискованный эксперимент. Почему ты вошел в наш дом? Над тобой смеется твоя же свинина.

— Я защищу тебя от этого эталона. Он хищник, живет за чей-нибудь счет. А тебе нужно теплое тело, такое, как у меня.

— На чей же счет он живет?

— На твой, на мой, на всех.

— Оставим меня и всех. Что ты на своем счету — подсчитал?

И он подсчитал, Иван Павлович! Он подсчитал до брюаля, до пейки все выпитое, выеденное с ним — тобой, сколько раз носил на вокзал твой чемодан, сколько шагал шагами с тобой по Летейскому и Мигайловскому садам, сколько дал тебе сигарет у Саркофага. Оставались неподсчитанными лишь твои пиры, твои порывы.

Я стала гнать. Но выгнать такую тушу не пустяк. И я отважилась:

— Ты остаешься. Но что же ты, сука, наливаешь мне стакан, а сам держишь свой, как скипетр? Пей, педераст!

Я пила, не тебе объяснить, а этот уже был ближе к исходу. Мы стали пить. Он орал, но все то же, дальше — муть, дальше мысль его не простиралась. Когда ж он напился и разделся при лампочке, — Боже! — бабья задница, бело-жирный живот, бабий хлуй, как баллончик для рыбьего жира, тел-то таких у мужчин и нет!

Я разделась. Мы легли. Я лампу не погасила. Белые ночи, свет за стеклом — как смерть, но пусть попробует и при лампе. Сколько он пробовал, Басманов, и так и сяк! Но я полегла, как полагается: бедная бабья хитрость! Сколько бы демон свинины не пробовал, бы он пьян — в воскресенье! Вот моя мысль: ведь в понедельник у него лекция, так что по-ул-ыбанье — вне правил, не смеет.

Баллончик — болтался! Так и промучился в неге несчастной, пока не постучали соседи. В ужасе, очень отчетливо протрезвевший, он убежал. Вот тебе песнь о паденье!

Я лишь спросил:

— А если бы...?

— Если бы, друг мой, эта формула — отсутствует. Прости, промучила: тебя, мой милый, в твоих декорациях дружб, себя — я не бес, я авантюра; а киник что ж — киник-хамик, быть ему инстантом. Будет купаться в какао. Шваль, милый, твой шевалье. Посягательство на тело твоей жены есть посягательство на твое тело. Если это друг твой — он педераст!

Такова была Майя.

КАК Я ПИСАЛ РУГОПИСЬ

Я не цитирую. Я пересказываю. Мой Хутор!

Третий день от алкоголя, белая горячка начинается в 4-7 день. Потеря памяти: нет транквилизаторов, у нас их нет.

Третий день я не сплю, варю чай, написал 30 страниц, не уснуть. На холмах цвет-мак, рожь стоит, синяя, воздушная! Страшный лес, весь изрубленный, падают шишки. Мой лес рубит раб для кухни.

Я не сплю еще двое суток, пью корвалол, от корвалола был бред, но не сон. Бредится: я бегу, я подверстываю фразу к фразе, а за мной катушки ниток, бегут без ног! а нить мулине бросается в меня в петлях! Не до литератур, это тебе, читатель, не глава «Сны» из А. И. Красовского, председателя комитета цензуры в век Н. Гоголя... О чертях-то не снится, — тсс!

Кристиан Томазий, профессор юриспруденции в Галле, считал, что лишь судилища инквизиции истребили 9.440.000 чел. за сношения с чертом.

Во Франконии в цистерианском монастыре близ Шентеля жил аббат Рихальмус, написавший настольную книгу «Книга откровения о хитростях и уловках демона по отношению к людям».

Венский епископ доктор Гаспар Нейбек в церкви им. св. Варвары изгнал из 16-летней девицы Анны Шлюттербауэр 12.652 черта.

Яурейские каббалисты высчитывают, что каждый из людей окружен 11.000 чертями, из коих 1.000 по правую сторону, а 10.000 по левую. В каббале же отмечается, что царь Соломон всю жизнь держал у себя в заключении, в маленькой склянке 522.288 чертей.

Каббала: топография ада: ад — в форме воронки, состоит из 7 поясов, каждый в 60.000 раз больше следующего за ним. Каждый пояс имеет несколько подразделений, в каждом отделе 7.000 камер заключения, в каждой из камер 7.000 ям, в каждой яме 7.000 скорпионов и 1.000 бочек кипящей смолы. Скорпион 7 щупальцами рвет тело грешника.

Демограф Бейер приводит точную цифру армии ада: 44.635.569. Это не считая кобольдов, гномов, оборотней и т. д.

Клеман д'Эльбе вычислил температуру огня, при котором грешники жарятся в аду: 195.000 градусов.

Пока все шло, как шелк: не слышатся голоса, не видится зверушка с рожкой. В субботу была сауна, это спасенье. Сердце стучает, но выпаривался три часа, на корточках, с тазиком, крепко держался тончайшими от голода руками за полку. Волосы вылезают, завиваясь по сауне, — куст акаций!

Чудо, что ты? Отпарился, лег, утомленный. Лег в пух одеял. Брезжится лунность в окошке, травницей-землицей, птицы одна щебечет, вторая свиритит. Гдей-то лягух поквакивает. Муха вокруг лампочки вьется, милая, молодая, не из горячки, крылышком фиолета светится во тьме. Плакать бы светлой слезой полудрем! Солнце, вот-вот восходящее с блеском. Я позабылся, я взял димедрол. И... заснул, как впервые, брезжущим сном при солнце.

Нельзя брать димедрол на выходе из алкоголя, и вообще-то димедрол нельзя, галлюцинат! Через два часа я очнулся. И ударило: не прошло, начинается.

У меня были, рассказывали: такой лютой истерики у меня не бывало. Кто-то так окрестил: коматозный криз. (О узники формул! Так Велемир окрестил павлина — красивейшина!)

Я встал, сжал зуб на зуб, я побежал.

Это как амок:

страх

гнал

в нуль,

спазм

горл, ключиц,

веки в судорогах, вьются,

ног-рук

дергаются,

где

уж

тут, —

до гипербол!

Я бегу, скаля зуб,

и

зуб,

екая, —

стучался!

а шоссе, раскаленное солнцем до снега, превращается в бесконечный, не имеющий зигзага, изъяна — трамплин, под-

нимающийся вверх для лыж, я бегю в Столицу, в больницу-блевницу,

потому что:
отч ум от оп
муж
меж
муз! —
бос
из
бездн!
Эх,
а —
э
т
а

— Что такое «Кот и Пан»?

— Напиток.

ДА, НО МИЛ ЛИМОНАД!

(пой, палиндром!)

(морд не лапъ, йоп!)

с
м
е
р
т
ь!

Это — смерть, если не сделают сильный укол, У-сп-О-к-А-И-в-А-Ю-щИЙ. Вот еще: не сошедший с ума, не чувствуя тела, я твердил себе, хищен, храбр:

— Ты описываешь супермена, опоясываешь гирляндой роз егойный лоб, а ты супермень — сам! героизируйся — сам! стой, не сдавайся — сам!..

Не устоять тебе, — сам! Я был на верхушке трамплина, трамплин шатал ветер, держался я за перильца, смотрел вниз, в Столицу, дворцы распускаются, как цвет из ботаник, канал — сталь игл, летящих, мост-метеоры кривизн, а море им. св. Бельта — как люк, а я в люк — кап-кап-кап! Я прыгнул.

Я приземлился.

Чуть что — часы на руке: я пробежал 42 км за 5 часов. В спазмах, в слезах, как в слизи, как в ливни, я к Аптеке, на ней замок, воскресенье, не до психик, я в больницу, не пускают, заявляя, что от белой горячки лечатся алкоголизмом. Я их ругаю,

рыдая, что не! горячка! у меня! а — коматозный криз, я могу покончить с собой.

— Не покончили же, Иван Павлович, пробежаться 42 км за 5 час — это кривая в рекорд! Вы-то знаете, куда вы бегаєте? — сказал врач Роман Рында.

Я вышвырнул врача, в коридор, взламывая замки, я ломал шкафчик, стеллаж, тумбочку, стол, — нет шприца, нет лекарств; я в такси, аллюром на Хутор, не присесть, с Хутора на Озеро, пал в воды, без одежд. Шесть раз я переплыл Озеро, не устал, побежал по шоссе, вниз и вспять, 36 км, лишь елки в юбках, как бабушки...

и возвращался, мраморный, скелетный,
две луны шли за мной, сопровождаая.

Две луны, обе красные и без ног, а шли, как два конвоира в шлемах, за шеломенем еси. Мой шаг — как штык!

Спать не спал, а наутро понедельник. В Амбулатории мне указали на ноги: окровавленные, кто их жует? Я сказал: заживают. Забинтовали, дали для сна реланиум, — пустяк, а спится. Я стал спать, криз миновал. Ругопись пошла тем же темпом. До сентября, до сентября — почему-то!

КАК Н. ГОГОЛЬ НЕ ПИСАЛ ВТОРОЙ ТОМ

Н. Гоголь, иностранец, ходит по гостинной Москвы, спрашивая всех: «Долго ли вы в Москве?» — Живу постоянно. «Ну, стало быть, наговоримся, натолкуемся еще». — Не пишете ли чего новенького? — Гоголь в дрему, смотрит в бок, встанет, уйдет. В другой гостинной, на минутку посмотрит по комнате туда, сюда, посидит на пустом диване, слова два-три сквозь зубы через плечо. Сам себя не читает, сидит, истукан, стеклянный глаз, читает Щепкин — из Гоголя, все глядят не на чтеца, на автора, час, два, три, встанет и уйдет. Не любит говорить о литературе, особенно о своих произведениях, избалованный, все печатает, нельзя спрашивать «Что пишете?», «Куда едете?», «Откуда приехали?». Если едет в Малороссию, ответит в Рим, а в Рим, ответит в деревню к Кобыленко. Говорят, что пишет второй том «Мертвых душ», Гоголь не говорит. Черный сюртук, шаровары, волосы в скобку, улыбка — не улыбка, быстрый глаз вверх-вниз, но не в лицо, ходит из угла в угол, руки в карманах, походка мелкая, нервная, пошатывается, ноги заплетаются, от этого один шаг получается как бы шире другого, фигура скованная. Сорокалетье Н. Гоголя. «На аллее в Девичьем поле, были: Аксаковы, Кошелев,

Шевырев, Максимович, Островский, Берг. В «Московских ведомостях» заметка: о волках с белыми лапами, появившихся в Москве в этот день. В третьей гостиной Н. Гоголь катает шарики из мякиша, все воруют шарики (сувенир гения!), а он еще носит испанский плащ без рукавов, если бы носил шейф или бороду, как Л. Толстой, — вся Россия и Европа пошла бы к нему, подержаться. Н. Гоголь живет у гр. Толстого (другой, обер-прокурор!) в доме Талызина (не тот, который дал мундир Екатерине 2 для восстания против мужа — потомок!), на Никитском бульваре, занимает переднюю часть нижнего этажа, окнами на улицу, ни о чем не заботится, завтрак обед ужин десерт подается по первому знаку, стирают белье и гладят, прислуга-невидимка и личный телохранитель Семен, юноша. На званных же обедах Н. Гоголь не ест, глотает пилюльки и говорит, что вообще-то он не ест. — Что вы смолкаете? Ни строчки, вот уж сколько месяцев сряду! — испугаются, вот — вопрос, замешкаются: отомолчится, отшутится, но Н. Гоголь грустен: «Да, как странно устроен человек: дай ему все, чего он хочет, для полного удобства и занятий, тут-то он не станет ничего делать; тут-то и не пойдут работа.» Осенью 1851 г. говорят, что уже готовы 11 глав, но исправляются, переписываются. В феврале 1852 г. Н. Гоголь слег. Совсем не слаб, не худел, ходил, как здоровый. Посетители. Жалуются, что принимает друзей, как император — полуминутная аудиенция, лежа, с опущенными веками протягивает слабую десницу: «Извини, дремлется что-то!» Уезжают, вскакивает, с аппетитом ест, ходит, маневрируя меж диваном и столом. Знаменитый врач А. И. Овер не нашел ничего лучшего, как поставить клистир. А. И. Овер вызвался поставить лично. Н. Гоголь согласился. А. И. Овер приступил к исполнению, а Н. Гоголь закричал, что не позволит над собой издеваться, что бы ни случилось! — Случится то, что вы умрете! — «Ну, что ж! я готов... Я уже слышал голоса». 21 февраля Н. Гоголь умер. Не от болезни. Лег и умер. Марк Туллий Цицерон: «Когда жизнь становится человеку в тягость, то величие духа его заключается в том, чтобы насильственно прекратить ее». Фаддей Булгарин: в ответ на письмо потрясенного П. В. Хавского, хронолога, археолога, юриста, 28 февраля 1852 г.: «Милостивый государь Петр Васильевич! Благодарю Вас за память, но не могу догадаться, что заставило вас в двух письмах извещать меня о подробностях кончины и похорон Н. Гоголя. Если Г. для вас и для редактора московских полицейских ведомостей кажется знаменитым писателем, то он вовсе не таким кажется мне и Н. И. Гречу. Сравнить Гоголя с Карамзиным и грех и смех. Никто не нанес пагубнейшего удара чистоте, правильности русского языка и изящному вкусу, как Г. Почести, оказанные ему в Москве, не делают чести ее литературному вкусу. Москва любит благоволить кому попало! Лавровые

листы, которые вы мне прислали с его гроба — не расцветут в потомстве. От другого я принял бы посылку этих лавров за насмешку, но от вас получил с улыбкой, будучи уверен, что вы не читали вовеки Гоголя и мнений о нем „Северной пчелы“. Из ваших писем не сделаю никакого употребления или злоупотребления, а за сим честь имею...» В 18 лет Н. Гоголь написал поэму «Ганц Кюхельгартен», выражающую нравственную иллюзию относительно переустройства внутреннего мира человека. Поэму он сжег. В 37 лет Н. Гоголь написал «Выбранные места из переписки с друзьями», в которых: «идея нравственного воскресения». Эта же «идея» была и во Втором Томе «Мертвых душ», который Н. Гоголь не писал, но сжег. Н. Гоголь был гений пера и духа 12 лет; с 1830 года, начала публикации «Вечеров» до 1842 г., конца публикации первого тома «Мертвых душ», потом он бросил писать, в 33 года, и десять лет жилось и писалось по инерции. Художник, начинающий с «нравственности» и завершающий жизненный путь «нравственностью» — какой губительный круг, повторенный потом Л. Толстым. Какой поучительный путь — в смерть.

(Такой путь Западу цивилизаций и не грезился, там пишут без казацких волос, без плуга, не босиком. Там не бросают писать для воображенья «нравственности», не ложатся в смерть, не бегут из дома в старцах, или в поисках Бога, их т. ск. поименно не расстреливают в концлагерях, но их «герои» — «шалют, целуют, пляшут и не пишут», — так сказал поэт-кровинец А. Ш.)

СТО ЛЕТ СПУСТЯ. КИНИК ТОДОР И АРТИСТКА АРФА (ЧЕПЧИКОВА)

На Хуторе — сад сад!

Плавник у бабочек — ухо акул, чернофрочная ласточка сидит на проводе, как пингвин. Азалия, роза, пион, жасмин, сирень, крокус, нарцисс — лилия долин! Я шел с холма на холм, — Озеро и горизонт!

Солнце прицелится в логово грибниц и боровик взойдет из эпицентра, из пасти А-бомбы. На Озере трамплин для прыжка, прыгай с брызгой.

Киник Тодор женился, Арфа не знала. Да и зачем ей знать, зря бить тревогу. У Арфы нет папы в Тайной канцелярии, нет дворца и т. д., но у нее было прошлое. Как у всех артисток. Правда, Арфа была массажисткой во Дворце искусств, но в глазах у кровинцев и массажистка — артистка, если она у искусств, вот из-за прошлого-то Тодор и не мог жениться на Арфе.

У него прошлого нет, он весь в будущем. И у Гени Любяхиной какое же прошлое, но все остальное в избытке: есть где по-улыбаться. Что мне Геня, ее я не видел, чтоб не запутаться в действующих лицах. Арфу я любил: добрый друг! Двое у меня поселились на Хуторе: Тодор и Арфа. Пусть так.

Серый зайчонок, беглец от молний, ворвался ко мне. Встал на задние лапки, передними приготовился к бою, а уши скрещенные, — чтоб я боялся и не бил, — о лукав! Я дал ему лист капусты, взял в лапу лепешку листа, хрусти, хитрец; но пристрастился к ревеню, я варю ему кисель в эмалированном чайнике, пьет из носика, закатывая неопиcуемый золотой глаз! напьется — и в сад, пчел полюбил, прыг-скак на улей, сидит, умывается в пчелиной туче, как-никак их пятьсот, — ну-ка поумывайся! Лапкой кивает, как дирижер, — хор и оркестр! После концерта свалится с улья и по саду — ко мне, пчелы за ним, как мантия из фрейлин!

Паук свил сеть, летает по Хутору из комнаты в комнату, а к вечеру любит лампочку, забрасывает сеть на патрон и качается над моею головой, распуская когти, — мой маятник Фуко, золотой эталон моего Верховного Часа. Мух не ловит, ест колбасу, высасывая жир (на блюде!).

На блюде и мед, утром я ставлю на подоконник, прилетают двойники с крыльцами: стрекоз и стрекоза. У них завтрак, и солнце восходит. Сколько же тысяч глаз у стрекоз и зачем им столько? И что ни глаз — мир звезд. С этой двойней нет хлопот, мед поедят, сделают по кабинету круг олимпийцев, улетают со звуком «тютат»!

В окно им на смену кукушка, на голландскую печь, закуковала. Я, сидя за машинкой, считаю. Прокуковала 114. Ты не очень-то считай мой век, красotka, не льсти, не смейся, прогону полотенцем. Осердился, прогнал. Но кукушка не дура для драм, прилетела, прокуковала 14, может быть, так мне и хватит, еще 14 лет отстучаться на клавише, или у тебя — подхалимаж? Пусть, я покупаю пшено, рассыпаю рукой по клеенке, — клюет! Кувыркается на кровать, и дерется зайчонок, фокусничает с кукушкой, кусает ей хвост, но и она клюется до визга! Мое одеяло — красный цвет, расплывшийся желтой лилией!

В саду семья ежей: мама, папа и ежик. Мама и папа — шары с человеческую голову, ежик — с кулачок. Когда закрывается мое красное солнце и открывается хрустальный, апельсиновый закат, я ставлю на крыльце из цемента все то же блюдо, на сей раз с молоком. Семья трех лакает, потом садятся на крыльцо и смотрят на закат, два мудреца в иглах и третий звереныш, еще лишь игольчат. Смотрят, как молятся. Будто на солнце заката, сидя с ногами крест-накрест, за холм опускается Будда.

По шоссе идут живые мотоциклы.

Так я живу за машинкой, а потом приедут эти двое.
Тодор в свинине и Арфа рыжего цвета.

— Ты почему не заплатил за больницу? Арфа не Лоллобриджида бюджета, чтобы ей не платить! — это Тодор, его рот.

— Арфа не проститутка, чтоб ей платить. А тебе бы не вмешиваться, ЭВМ, в то, что тебя не касается.

Сто лет у дружбы уж иной оттенок, но киник не видит полутонов. Он искренне верит, что без любви к нему никто и минуты не просуществует.

Киник Тодор уже из Верховных Инстантов, администрирует новокаина Наук, свой, свиновый; рот окреп, извергается, как врагу, распоясался, крестник.

Я был в больнице, я потерял речь, в ухо укол — стал я кой-как заикаться, любовь к человеку проверяется больницей, мне штампуют приветственные телеграммы, передают в табакерке леденец, а в гирлянде цветков, сок из косточек в соковарке, а вот пожрать никто не приносит, не допускаются, да и не рвутся очень-то, — ко мне. Я голодал.

В палате висят: портрет и плакат.

Портрет:

стариканец с усенками, с бородашкой, прищуривается, машет мне ручкой в манжете, велосипедная кепочка, а сам смеется, лучинится смех старичка:

— Выздоровливай, сволочь! Нас ждут надежды!

Кто он? Я спрашиваю, когда от заиканья укол исцелил, а язык развязался.

Но что с ними: я спрашиваю всерьез, а на меня смотрят зрачком зайца и отвечают или «мы не знаем», или вообще-то так:

— Это Го-Жи-Нин.

— Но к чему же мне в больнице Го-Жи-Нин? Он же кидает!

— Он не кидает. Он бьетнамец.

— Для чего мне в больнице бьетнамец? Или это не он?

— Думается, не он.

— Может быть, Го-Мин-Дан?

— Не Го-Мин-Дан. Тот брился.

Вот и узнай у болеющих. Не узнаешь.

Не узнал я, кто это. Пусть висит. Висят же в Летейском саду коровы, и у портрета свой смысл.

Плакат:

«В 1814 г. хирург-кровинец И. В. Бульвальский бальзамировал тело знатной дамы герцогини де Тарант, кузины несчастного Людовика XVI. У этой покойницы найдены нашим анатомом 507 мелких желчных камней, из коих 9 были величиной с

лесной орех, 14 величиной с горошину, а остальные с конопляное зерно».

На тумбочке книжка из сверх-державы Москвы. О медицине и писателях. Книжка называется «Ура», 1979, N 12, стр. 137. С русским языком я познакомился в Глобусе, выйду на волю, переводе для кровинцев:

«Спина — самая тупая часть тела к осязанью. Спина в 600 раз меньше ощущает раздраженья в сравнении с кончиком языка. Съе давным давно известно, однако в стольких книгах наши герои "чувствуют" черт-те что спиной. Да еще под платьем, под шубой. Наверное, кто-то первый написал, как гиперболу (во — даже спиной!), а потом пошло и пошло, став банальной деталью».

Автор: писатель-медицин, баба.

Я почувствовал спиной: я хочу встретиться с автором, с бабой; я возьму ее за кончик языка своей неумолимой кистью-пятью и 600 дней буду бить шприцутеном по спине, ей же не чувствуется, а я вспотею, дунет, плюнет нора-ост в форточку, температура градусника у меня подмышкой 41, опять в больницу.

Вот Шарко, тот крадется сзади, как ненормалец, подражая движениям того, идущего передним, а войдя в роль, Шарко спотыкается, падает. И тот, кто впереди, падает, он, оказывается, чувствует спиной. Ах — ведь в спине позвоночник, а в нем спинной мозг, такая каша из сантимента.

Все время от времени убеждают, что у людей сверх-державы Москва есть позвоночник, — ходят они как хотят! Но м. б., в их позвоночнике нет спинного мозга? М. б., нет у них и темени, а темя тоже что-то чувствует, а м. б., сзади у них — лишь ягодица, сидят они на ней и пишут мысль для масс.

Есть у кровинцев загадка: «Без рук, без ног, без головы, — а — пишет!» Кто это? Ни один иностранец от нас не узнает, кто это. Нам бы закаляться, как сталь, а не выдается нами сокровенная тайна имен. Вот ведь и о старичке, очнувшийся, я спросил про портрет: кто это? Кто из кровинцев мне ответил?

Никто.

Что делается в больнице? Все за тебя делается. Не покупай шприц-иглу для инъекций, шприц-иглу у нас нет, — возьмет медицин электродрель, просверлит в тазу отверстие (у нас и ягодиц-то нет, у нас — таз!), воьет в отверстие бутылку бормотух — и будь здоров! И буду.

В больнице я переводчик.

«В жизни великое множество людей одаренных. А в наших сочиненьях мы это редко подчеркиваем. Психологи различают одаренность в тонкостях органов чувств (сенсорная), в ловкости и точности движений (моторная), в обилии чувствований (аффективная). А главное — умственная и художественная одаренность,

не считая специальных видов (математическая, техническая, музыкальная и т. д.)».

Сенсор, мотор, аффект, а главное — умственная и художественная одаренность, — это у всех. Более специальные виды не считаются: математик С. Раманужан, техник Эдисон, музыкант Моцарт, — не считаются; вы — и т. д. Это мне нравится.

«Интересно, что чувствительность обонянья у человека очень высока (воспринимается запах одной двухсоттысячной миллиграмма розового масла)».

Что это за розовое масло? По цвету розовое, из киникалий? Такого у нас нет. Масло из роз? Кошунственность! — розы у нас есть, мы плетем из них венок для мертвеца, но кто же, тупица, догадается, делать из роз — масло? Масло делается из нефти, — спектр живописи!.. Автор — маньяк обонянья и розовый дальтоник.

«Дваадекакеровская классификация делит запахи по сходству на девять групп: эфирные — плоды, вина, ароматические — перец, анис, шафран, цветочные — фиалка, резеда и т. д., мускусные, луковичные — лук, чеснок, хлор, горелые — табак, дым, деготь, козлиные — запах козла, пота, наркотические — опиум, тошнотворные — гниющее мясо, отбросы».

Если вчитаться вслед за Гертрудой П, то в сверхдержаве Москва есть:

плоды и вина, перец, анис, шафран, фиалки, резеда, лук, чеснок, хлор, табак, дым, деготь, козел, пот, опиум. В Москве даже мясо — гниет и отбросы — есть! Уму не постижимо!

Хирург-кровинец И. В. Бульяльский препарировал тело знатной дамы герцогини де Тарант, кухни несчастного Людовика XVI. Это было в 1814 г. Сейчас 1980, а И. В. Бульяльский — уже Главврач больницы им. св. Уйицкого в Столице! За какие-то 164 года — такой блистательный карьер!

И. В. Бульяльский вошел с вещмешком, взял молоток и зубило, приблизился.

— У меня нет камней в печени, да и печени-то, кажется, нет! Бросай медицинский инструмент в свой вещмешок и не вынимай! Я потерял дар речи, я оглох, но уже я лишь заикаюсь, а на днях заговорю, а слышу я и сейчас: звон зубила! Так что: здесь, в больнице им. св. Уйицкого я здоров!

— Он потерял дар речи! Он оглох! Как же Вы исцелили глухонемого по имени Зубикомлязгик? Исцеляй же себя! Что, не получается!

— Не получается, ведь я самородок, я сам себя родил. Но самому себя мне не исцелить. Благодарю Вас, И. В., за реанимацию.

Такого успеха медицин мир не знал: три дня я был мертв, и

вот воскрес. В палате было 33 болеющих, а к моему прибытию осталось трое.

И. В. Бульяльский потупился, польщенный, заворачивая молоток и зубило в антисептический бинт.

У что ни кровинца фамилья, имя, отчество, чтоб не перепутаться в досье. Но люди... но люди, так сказать! Они предпочитают кличку. К примеру: Зубикомлязгик. Знает ли кто в Столице настоящее имя, или же инициал хотя бы, а он — Первый Исцеленный! Никто не знает. Сам исцелитель — Я — не поинтересовался как-то паспортом, а произносить «Зубикомлязгик» трудно! А чем же лучше, если бы его звали, ну, скажем, Петропадл Джугашвилианович Человеконенавистнический? Подумается лишь, и то жуть: встретимся у Саркофага, тебя трясет, схватить бы флакон со скоростью света и хватить бы вовнутрь, а ты суешь ледяную лапку в руку кровинца, напоминающую челюсть экскаватора, и говоришь по-человечески:

— Здравствуйте, бон суар, гуд найт, Петропадл Джугашвилианович Человеконенавистнический!

Так нельзя! Пока произносится этот бред в 75 букв, все уже выпьют, что тебе останется? Лучше уж кличка, псевдоним, аббревиатура, доведенная до минимума букв:

— Здр! бср! гднт! ЗБКЛЗГК! — здравствуй, будь счастлив, где-нибудь тут, Зубикомлязгик!

Трое, оставшиеся в живых, первый имеет кличку Мцыря.

Мцыря, лежащий, голый, на обнаженной простыне из желез, к нему водят студенток-медицинок, посмотрим же попросту на незаурядность! У нас нет слуг, а кто снимает в эту минуту, кому надевать одеяло? Я снимаю, я надеваю, Мцыря — экспонат для всех.

И. В.:

— Если тебе вздумается исцелять в моей больнице, сомневаюсь, что ты выживешь с диагнозом «плюс». Отдай одеяло мне, а займись-ка своей профессией: возьми рулетку, измерь все члены Мцыря по Леонардо да Винчи... Эх, экземпляр!

Я не любопытствую нигде, ни о ком, но я взял, измеряю. Пусть у хирурга останется всякое мнение, как-никак сделать такую карьеру за 164 года и, не приказывая, попросить, — не всякий найдется!

Все измеренья вписываются в знаменитый круг Леонардо. Мцыря, оказывается, не «эх, экземпляр!», а уникам пропорций тела: рост 1 м 99 см, размах рук по кончикам пальцев 1 м 99 см и т. д., почитайте Анатомический Атлас.

Красавец; черных блестящих кудрей — аллюр; белый, в скулах

романтизма; двубров! С жестом изяществ лежащий в золотом пенсне, и не смотрит на студенток, — сквозь! Влюбленные по уши, никто из них не хотел уходить. Он мог в сей миг опустить на койку любую, отделать ее так, что за ушами — свист зверин стал б!

Но не мог.

Не хотел он ловить сей миг, не зверь, отворачивался, чтоб и не видеть ему эту гадость — женщин! Да и фаллос его был занят: там был градусник. Женщины, хуже мать-мачех, что ему губы этих голубок, ясность их ягодиц! Мцыря, молодой таксист автопарка, делатель денег, но — честолюбец секса и виртуоз: он лелеял свой фаллос, брал его пальцами по утрам, приподнимал ему голову, как гладиатору, и вставлял в фаллос — градусник! Точнее бы выразиться: он вставлял градусник в мочевого канал, и фиксация: перевязывал бантиком из алюминия фаллос у корня (нить у нас нет, я писал!). Затем: Мцыря садился в свое такси, там-то фаллос подскакивал от своей любви, а Мцыря крутил теперь круглые сутки баранку руля, воображая, что крутит за ягодицу не руль, а любую из виденных ню из кино — Мцыря, любая из них попадаетея в калейдоскоп твоей секс-мечты! Сутки и сутки, гоняя в такси, как генетик, он испытывал раз за разом оргазм! Идеалист. Но бантик-то бантик, оргазм-то оргазм, а термометр проскользнул сквозь петлю из алюминия и пробил мочеточник. Извиняюсь, но началось кровоизлияние.

У нас же, где кровь — там больница. Без крови в больницу не попасть. Советую, если у тебя инфаркт (я и об этом писал, но мне б поподробней!), не сообщай в «Скорую помощь», не возьмут, симуляцья. Ответят: эту трагедию нам ни к чему и трогать, пьян, отлежится, а утром придется идти на труд и пойдет, как миленький! Так что, если инфаркт, не обращай внимание на сердце, а не медяя, возьми нож (нет, ножей у нас нет!), возьми вилку (и вилок — нет!), но ты не отчаивайся, хватай стакан от бормотух, бей в дверь, а осколком перережь себе вену на локтевом сгибе, а уж если не перережется, то порви, осколок стакана остер! «Скорая помощь» явится тут же, тебя как самоубийцу, с термином суицид отправят в псих-больницу и будешь там — быть! Твой волчий инфаркт вылечат в час, а вот в досье появится птичка-пестричка: шизофрения, вооруженец бритвой, ой опасен. Сердце теперь в норме, подумай о поведенье. Дай зньность брюалей жандарму псих-больницы, тебя выпустят, напутствую:

— У Вас было сумеречное состоянье. Астения, интоксикоз, в таких случаях сердце не бьется. Сейчас оно бьется. А вены вам пригодятся, в них кровь, а мы — кровинцы! После инфаркта полагается бриться электрическим фонариком, он выжигает волосы и морда становится голубиной, — как для Юбилея. Но

электрических фонариков у нас нет, вот и выписываю Вам спец-рецепт с печатью, получишь еще и фонарик для бритвы, для массажа кровеносных сосудов лица!

Не сегоуй на судьбу, Мцыря! — градусник не разбился, а вот если б разбился, первая капля ртути убила б тебя, недогадливый девственник! Но профессор И. В. Бульяльский, практиковавший всю жизнь мочевого пузыря, он — разрубил тебя, неженка, звонким зубилом от впадины между ключиц до мочеточника. Ничего не нашел внутри вен, но я дал ему орден — за недра, за поиск в них икса. Потом уже я, утешитель, засунул щипцы-длинногубцы в твой фаллос и вынул градусник. Ведь это не важно, кто вынул, важно, что ты, Мцыря — не мертвец. Живи, дон Жуан!

Капитан лейб-гвардии при Дворце Расстрелов, Антон Частоколянец;

— Дворец Расстрелов — название из вредных времен, сейчас там картинная галерея, почему ж не переименуют? Остается мне вздох: не переименуют, зарекомендовался, во Дворце — стреляют. Но кто и в кого? Никто, ни в кого. Смертной казни у нас нет, а патроны есть, вот и постреливают с неимоверной частотой, автоматов у нас нет, откуда бы взяться патрону? Из глаз. Глаза кровинца, в общем-то любующиеся искусством, а отвернешься: нет-нет, а раздаются выстрелы или же залпы. Мы вызывали медицинских светил, рассматривали; что за устройство в глазу — для стрельбы отдельными выстрелами и короткими очередями? Светила на консилиуме сказали: нет. Таких устройств в анатомии нет. В анатомии нет, а в глазу есть! — сказал я. — Пройди за портьеру! — сказал я светилу, в ярости. — И проверь из-за портьеры — есть или нет выстрелы. — Ну вот еще! — разнервничался светило, — я не Полоний, чтобы мне всунули за портьеру пулю!

— Я — искусствовед в штатском костюме, на самом же деле я капитан, развяжу культурный галстук, а под ним — воротник с вензелем, а под штатским плечом эполет. По статуту Столицы каждый кровинец обязан в кратчайший срок изучать и понять до тонкостей все искусство предшественников и современников, иначе от «Логоса Хамерики» наветов не оберешься, как будто мы невежды и никого из мастеров кисти — не вешаем. Телесных наказаний у нас нет, вот и приходится гнать плетью толпу миллиона в галерею — для знакомства с прекрасным. Но на холстах намешано столько красок, что не выдерживают нервы, вот и постреливают втихомолку, а краски от пуль съеживаются, оплавляются, морщятся, не спасает и реставрация. Как говорится, это и к лучшему: придут кровинцы с простым сердцем, с жаждой тут же схватиться за кисть и написать что-нибудь свое, искусственное, а тут тебе пожалуйста — стрельба отдельных элемен-

тов, и поврежденные композиции, — тоже мне эстетическое воспитанье! — так хмыкнет кровинец и уже не купит ребенку мольберт для такой карьеры, а купит рейшину и пойдет в цирк с циркулем, чтоб чертить, как Вы, Иван Павлович, на песочке арены формулы и фигуры, это же развивает мировоззренье глаза для Вооруженных Сил. Как же переименуют Дворец Расстрелов? Да никак. Я бы и сам пустил пулю в это перевоспитанье, да накажут по инструкции.

Но стоять на карауле и пропускать через шлагбаум миллион за миллионом — вспотеешь солью и во сне. Я и придумал: над подъездом у входа в галерею висят большие круглые часы, у них стрелки ходят при помощи электроэнергии. За одну ночь как-то я разрисовал часы портретом, пейзажем и натюрмортом, получилось уж не менее интернационально, чем в галерее для интересующихся. Утром я объявил в рупор, что необязательно заходить в галерею для многодневного осмотра, что эти часы — микроэкстракт всех жанров живописи, графики и скульптуры. Я буду стоять на часах, как и положено начальнику караула по уставу, а миллион толп пусть себе стоит под часами и смотрит на мое произведение, так быстрее, и на открытом воздухе, а денежки — в кассу. В том-то и дело, что мой почин был очень одобрен художественной комиссией, какая экономия времени и энергии знаний для труда. Ликовали целый день: и я, и Вооруженные Силы, и Академия Художеств к вечеру обещали присвоить мне званье Лучшего кровинца по мастерству, а к вечеру меня познакомили с двумя жандармами в белых халатах и те спросили, почему в кассе нет денег. Я изумился: все так ликовали, а миллион толп больше всех, а тут — денег нет! Быть не может. Показали: кассы пусты. Оказывается, у нас никто не призадумался заплатить за искусство на открытом воздухе. Это превзошло все ожидания.

— Что с Вами творится, капитан лейб-гвардии? — спросили, в белом.

Что я мог ответить? Со мной творилась только мысль о правильности моей идеи.

— У вас — бред ревности! — сказали.

Если вы о психике, у меня какой-то бред и правда, но при чем тут — ревность? Вы болеете душой за искусство? — спросили? — А как же! Разве не видите? — Значит, вы душевнобольной. — Я понял, я признался, как дурак. Смотрят в глаза окуляром: так и есть, у него в глазу зрачок! Зрачок раскрыт постоянно с какой-то навязчивой мыслью, как в бреде. Я огрызнулся: что ж, я буду стоять с закрытым глазом на часах, да меня за это — под суд! — Отстаньте вы с детективной макулатурой! У вас есть жена Римма?

Я:

— Эта сука из сук?

— Вот, пожалуйста: у вас ревность!

— Да какая же к псам ревность, если нет ни лейб-гвардейца в штатском, кто бы с ней не уснул, пока я на карауле! Спросите их, спросите ее.

— Так уж и ни одного! Ревность! Гипертрофированная ревность!

Мы спросили Римму, ответила: мой Антон пьет напропалую, бьет боем и меня, и лейб-гвардейцев по ночам, а сам спит на лестнице.

— Где же мне спать, если с ней спят?

— Острейшая астения! Не бередите свой бред, а вам бы полечиться. В тот достопамятный день вашего новаторского предложения о часах мы получили 250 млн. писем и циркуляров с жалобой: капитан лейб-гвардии Антон Частоколянц не дает народу настоящего искусства, шедевры живописи, графики и скульптуры он подменил искусственными электрическими часами, размалеванными издевательскими натюрелями, в галерею никто не допускается, а это — недопустимо. Это он сделал от ревности: хочет лишь сам смотреть и совершенствовать свой вкус, а нам — шиш! Он маньяк! Он любит лишь свою Римму и народное искусство. В обществе обещаний недопустима такая семейственность.

— Римма — шлюха, а не народное искусство!

— А как у вас с кассой? Где деньги? Вы приревновали и деньги к народному контролю и тоже присвоили их себе. Все у вас, видите ли, ваше: и Римма, и галерея, и деньги. Что честность, — она у вас на месте. А вот в псих-больнице — там брандспойты, вам отремонтируют ревность.

Изоляторов у нас нет, но клеем БФ-6 мы пользуемся. Вот и И. В. Бульяльский извлек пластмассовые пробки из бутылей бормотух, присобачил их к черепу капитана клеем БФ-6, а в пробки вставил электроды. Это называется энцефалограмма. По 18 часов в сутки держали Антона, связанного вервьем, на стальном столе под рентгеном, рассматривая из-под ладошки реакцию мозга. Был ли бред, не было ль бреда, — искать им, не найти. Антон смеялся как астматик, некормленный, одичавший, у него выросли женские груди, и Бог знает что еще вырвалось б из его кишок, если б он не плакал, неутешная душа. В том ему повезло: он выплакался до размеров брошки, оправленной в бриллиантики-слезинки. Я дал брошку Римме и сказал: носи. До поры, до времени. Если я выйду отсюда — увидим.

Я вызвал пальцем И. В. Бульяльского, я сказал:

— Вот что, И. В. Бульяльский, знаменитый хирург-кровинец. Ты ведь умер в середине XIX века, честь по чести. Я воскресил тебя для трех новелл, а ты и с двумя-то не справился. Если у

тебя есть религия, помолись в миску с киской. Не сгущайся, как смог. Я воскресил, а теперь подыхай, как поддец!

— Ты свихнулся! Тоже мне, мэтр молитв! Я возьму молоток и зубило, пойду по палатам, на койках, как говорится, унынье, как у Нила! Зазвеню я — оживятся от ожиренья!

Я:

— Что это за воскрешенье? Занудство, честное слово! Мне бы Лазаря, у него дочь Мария! Где Мария, И. В.?

— У меня нет дочери! — склонился И. В., поугрюмел.

— Вот видишь. Была бы Мария, она вытерла б мне ноги волосами.

— Ее нет, — хирург сник.

— Ее нет, вытирай мне ноги волосами — сам!

И. В. Бульальский выхватил из головы последние волосинки (пригоршню, грешник!), сжал их в горсть, благоговей, к ногам...

— Сгинь со страниц моих, скворец!

Третий: Тварь Дрожащья. Какая невыговариваемая кличка!

Его стягивали корсетом из китового уса, чтоб не дрожал, давали душ из кипящей сорницы, держали клещами за уши по пятнадцать санитарок, дрожь не унималась. Он лишь вырывался к выходу, шлепая шлепанцами.

— У меня температура 66 лет! Я родился с температурой 41,9. До смертельной мне не хватает 0,1. Почему врачи не знают, почему у меня температура? Где И. В. Бульальский, хирург-храбрец, он бы мне понизил температуру до минимума: я уже не раз холодел при виде его молотка и зубила! Удержите мою дрожь в жизни, охладите меня яблоками, я мастер тех, кто жует железо, я отблагодарю. Я выкую вам корону для крематорья после вашей смерти. Что это я бегаю, шлепая шлепанцами, с мундштуком, как лошадь дрожащая, кусаю мундштук, — а все — от температур!

— Не тревожься, Тварь Дрожащья, не дрожи. Температура 41,9 — не праздный признак. Твое тело борется с болезнью, гордись, кровинец! Вот когда у тебя укротится тело и отрегулируется температура до 0 — что с тобой сбудется? Мы родились в борьбе и боремся без бомб! Наш девиз — борьба, с кем попало, в любых обстоятельствах. Посмотри на меня, Тварь Дрожащья: чем лучше мне, я лежу заикаясь, лишь челюстью чуть-чуть шевелю, как мим. Нет, мне хуже, я не лежал бы и т. д., если бы знал, с кем мне бороться во имя общества обещаний. А у тебя же 41,9, ты — в бешеной борьбе, тебе известен враг, он здесь, в тебе, он — твоя температура! Ты уже на 0,1° от смерти, так борись же, счастливчик! А грядет гибель от градуса, — прощай, я плачу! Я напишу о тебе, неопиcуемый! необъяснимец!

Как бы то ни было, Арфа явилась. Женщина рыжего цвета, она принесла мне красную икру, светлую севрюгу, зеленый лук и каракулеву колбасу, — о продукты нашей пропащей юности, о которых юность цветущая и не подозревает, существуют ли они хоть в учебнике о пищеводе.

Арфа прогуливала меня по тритоньим тропинкам дикорастущего сада больницы. Она показала спец-пропуск и ей дали хвостину, — чтоб я далеко не убежал.

За две недели до моей больницы Арфа позвонила и сказала:

— Басманов, меня уже нет.

— Куда ж ты запропастилась?

— Я приняла 70 таблеток зуноктина.

Я взял молоток, такси нет, не найти, я побежал с молотком. Я бежал по Несскому проспекту до Лавры, там не тот мост, я побежал обратно, к Оптинскому мосту, этот разводился, раздвигался, я отшвырнул жандарма от перил, перепрыгнул через щель, я завернул на Оптинский проспект, я, задыхаясь на лестнице, ударил — тем! — тяжким млатом в замок, дверь дрогнула и отвалилась.

Ее уже не было.

Арфа лежала без лица на синем сафьяновом ковре, без сорочки, груди синие, волосы свисали кой-как, ноги наголо, как у птеницы. Я вызвал спецмедмашину по пропускам от Милюты Скорлупко, я сделал массаж висков и пальцев ног, — все, что я имел имя сделать. Завернули в саван, увезли в санях.

Тодор уже женился, а жил с Арфой, в общем жил и там и сям, в ту ночь от кого-то (через восемь все-таки лет — в лес!) Арфа узнала про узы. Киник умел киничить.

Я позвонил ему: Арфа на реанимацьи. Не жди надежд.

Он откликнулся, жизнелюб:

— Ну, я-то выкручусь!

Его потрепали б за хвост профессорской мантии, но он выкрутился б.

Я не сказал Арфе, мне было нипочему-то, но вот и я был на реанимацьи.

— Нам нужно венчаться, что ли, — считала Арфа на тропинках, — этот хам дал маху с размаху, для меня этот свинин со Святым Духом сдох, у тебя после Майи никого нет, да и места нет и для меня. Что нам остается, последним из Аллей?

— Так скоропостижно, Арфа? Взять — и повенчаться? Пообщаться, повращаться, взять и — повенчаться? Я прочитал бы тебе лекцию об анатомии. Мне — жутко, тебя — жалко, почему бы и не повенчаться? Но я не педераст.

— Я приеду к тебе на хутор и будем гулять, будто бы. Я привезу тебе опахало из страусовых перьев и буду перед сном

твоим сидеть и опахивать твое лицо мужа и воина: «баю, бедник!» И буду как сестра целовать на ночь тебя в лоб любви твоей — к Майе. Они-то с Тодором не подрались когда-то из-за признака педераста. Баю, мой предрассудок!

— Мы оба чтим знаки казни, а у обочин! — не обвенчаться. Так, Арфа.

Через две недели после моей реанимации вот ведь приехала. С Тодором. Двое на диво. Тодор не мог допустить, чтобы Арфа приехала одна. Кто бы стал ее попрекать со слезой в сердце — прошлым? Киник отправил Геню Любяхину к папе, взял ослабленную суицидом Арфу — на солнце, прибыли. Я впустил.

С прежним вас пламенем,
с прежними пломбами,
с прежними пробками!

Чем
был
мне
мил —

ТОДОР!:

Он ни при каких обстоятельствах жизни не расставался с НЕСЕССЕРОМ.

Травма, битва, XX век, смерть, концлагерь, стыковка в космосе, укол витамина в задницу, — Тодор тут как тут, растворяет несессер и вынимает крем для бритья, бритву для бритья, станок для бритья, одеколон для бритья, пять пилоч той же конфигурации, но для ногтей ноги, щипчики для заусениц, ножички для нужд, щипчики, чтобы выкусывать волоски из ушей, щипчики, чтобы выкусывать волоски из ноздрей, пинцетики для пациентки, кремы, предохраняющие от крематорья, — писчая бумага у нас дефицит, ее у нас нет, выдается лишь писателям письмен, да и то из спец-сейфов с сигнализацией, — не могу я тратить столько бумаги на описание несессера какого-то киника Тодора, если даже для пудры и духов Павла Ивановича Чичикова Гоголь, в общем-то щедрый на детализацию, отвел абзац, а Оскар Уайльд указал в трех фразах о зеркальце Дориана Грея, а уж Оскар Уайльд посвятил этим несессерам три четверти кратковременной своей жизни английского лорда, эстета, сноба, главного редактора журнала мод для женщин и был настоящим гомосексуалистом для любви, а чего я-то, ничего не понимающий в принадлежностях мужского туалета, — расписываюсь? Я мужчин-то и не нюхал!

Переводя дух, отмечу: я не вмешиваюсь в ассортимент ухода за телесами моего героя.

Я писал и пил. Пока у Тодора несессер, беспокоиться не о чем. Никто не будет обесщечен, мир нам будет обеспечен. Ни одна хунта не посягнет на хутор. А дуэт в действии — как в кино. Так, одна деточка-дурочка призналась мне:

— А знаешь, Иван Павлович, возьми меня, возлюбленный, СПАТЬ С ТОБОЙ ИНТЕРЕСНО — КАК В КИНО ХОДИТЬ!

Дуй, дуэт! —

киник спаивал артистку снеговым вином «Агнес», он бил ножами зайцев у холма и тушил их в капустных листьях, он звал ее в Озеро плыть «баттерфляем» и плыли до озелененья, он сбрасывал ее, как трупца с ребрышками — с трамплина, и артистка рыжего цвета висела в волнах, как в водевиле, он выпаривал ее дубовым листом с квасом, с пивасом в сауне и спускал в ведре на цепи в колодец, тащил ее за своей спиной по шоссе, жутко с шуткой смотреть мне, как они под солнцем сивиллы — в пробежку, нет, бег македонского марша: туша в трусах впереди, безволосая, а за нею — высокая в ребрышках женщина, красавица кросса, поспешающая за великовозрастным любимым, сцепив челюсти-зубья, и локти ходят ходуном, а волосы рыжего цвета мотаются хоть у ног!

Чрез энность линз-времени вся их физкультура, спорт их, спартанцев, проясняются: Арфа была беременна, Тодор изгонял из нее ребенка, она — откликалась.

Но ребенок взродился, на радость веселощекий, и киник Тодор звала на свою совесть и эту — ничью ношу; он жил-был в семье, но Арфу и сына окружил заботой и роскошью: он заботился, чтобы Арфа не завела себе любовника, а для сына привозил из-за границ пепельницу. Пепельниц у нас нет.

ЧЕЛОВЕК В РЫБЬЕЙ ЧЕШУЕ

Мне снилось: там и тут толпы идут!

Топ-топ, — топот толп.

Толпы идут со штыками, лезвия в красных кровяных шариках, лязг!

Идут гоплиты-кровинцы, поют пеан, в глазу у них кнопка электропульта, перечеркнутая молнией, и надпись на кнопке: «Не прикасаться. Убьет!» На гоплитах нет одежд, нет их, нет, хоть бы трусы, чтоб купаться, но и трусов у нас нет. Мускулатура же — есть, шлем на лбу — есть, шлем на лбу, гребень петушиный на нем, а в межножье, там, где перст первородный был, — нет перста! — бубенчик, как зимний, трясется динь-динь!

Я проснулся.

Я отстранил окно, а вода — по стеклам! Ни звука звезд, с холма на холм идет строй струй... Шаг — штык!

Я вышел вон!

Я взял себя в зубы, я сказал дождю:

— Не лейся, прекратись, уйди наверх!

Хутор храбрился. Я стоял на крыльце из цемента, мои ноги босы, мерзнут аки мерзость.

Дождь не ушел; прекратился, не каплется, а в моем саду — звываается фонтан, из клумбы! В моем саду яблоньки-двойники, там дождь превратился в фонтан, фосфоресцирует, на развесистых струях висят бокалы, а в них — дождевая водица! Вкусная!.. Дождь — стратег, бутафор.

— Дай мне день! — сказал я вверх.

День мне дан:

солнце, малиновое, на тяжких ногах кенгуру, с холма на холм, в прыжках, — ко мне! Прыжок над садом, фиксация, солнце убрало ножки, как шасси.

— Поторапливайся! Я дрожу от бессонниц! Согрей, у меня нет сигарет!

Солнце выпустило язык (как у коровы!), облизало мое смерщееся лицо, неживые ноги. Что стесняться? Уста мои, где глаголы гнева? — шепот щенка!

— Убирайся вверх!

Взошло солнце и засветило, как настоящее.

Над холмами, над озерами, над мавзолеями изб — чей луч в луч, чей лай лисий?

Космодрама, что мне до нее? Нет у меня сплина, лишь не сплю я. Бессонница.

Бессонница — от Беса, Бес — от бельмеса, бельмес — от бессмыслиц; на хлуя Аллаху лях!

Я, прародитель новых племен и имен, я стою на крыльце из цемента под собственным солнцем с Книгой Притчей. Я притчей 31 говорю: новым поколениям, новым погорельцам:

— Что сын мой? Что сын семени моего? Что сын обетов моих?

— Не отдавай сил девицам с девизом, ученицам-геометристам, не отдавай путей твоих губительницам царей.

— Не царям, Лемуил, пить вино, не царям!

— Открывай уста свои за безгласного, и для защиты всех сирот! — вспоминай их всех!

Я вспомню Зубикомлязгика: что мне открывать уста за него, язык его звонок теперь — мат метафор! Я вспомню киника Тодора, что уста ему мои, если его рот — аккорд спец-афоризма. Я вспомню дельфинистку Юлю, ее жажду жертв во имя себя — Женщины, теперь ее усмирил клоп: вполз в уста в больнице им. св. Уйбышева и убил. Я вспомню тебя, Бадья Жужжомец, увы,

не художник, что ж у тебя за уста, им негде по-ул-ыбаться! Я вспомню Геню Любяхину — ей есть где есть. Я вспомню, пойму: нет безгласных и сирот, вон и Дуня-ведунья представляет себе аборт через рот. Я вспомню Антипа Инфантьева, манометриста, и как он отклеил иностранные марки устами. Я вспомню Мцдырю, уста ему вообще-то ни к чему, и Частоколянца, превращенного мною в брошь, чтоб не произносил пустой монолог. Я пойму: сирость — это лишь старость, а старость не защищают. Так в Спарте я вспомню фетидии пьедестальцев, и дендизм Леонида, и вспомню я всех, и зальюсь я слезами, и вымокну раньше, чем заплачусь я, Б. А. (Вам ли было не плакать в самаритянские семьдесят лет!)

Чем больше людей, тем меньше любви, всех не вспомнишь...

Дождя нет, я не вымокну. Солнце светит в сад, я пойду смотреть плод. У меня теплица для защиты всех сирот (не царям, Лемуил, пить вино, не царям!), я сам обтягивал теплицу тончайшей пленкой полиэтилена, посмотрю вовнутрь сквозь пленку — все вижу.

Посмотрю — вижу:

стебли, как ботва злака зверя, зеленая! клубни зреют в перегное, а на ботве из завязей уже висят на пуповинках красненькие человечки, по вкусу — как помидор! Я — прародитель. Я их выращиваю в теплице, я их выпускаю из мрака в миры. В сентябре я сошью суму им из парусин суровой ниткой, выкопаю лопатой из стали клубни, брошу в суму и скажу:

— Идите и да будьте!

Пой Дух мой, — пойдут!

Пойдут, семиглазый народец теплиц, закаленный, смысленыш, посмотрит в священное солнце и — кольца на мускул! Дождутся дождя — прыг-скок с соломинкой в воду войдут, как в седле, в Адогу-море вольтуются, им восхищаться бронтидами, в рученьку — в рупор им петь:

— Люди, лютики, людовики! — Как живете, живцы? Как жуете, животики? Вы, инстанты из танка, вы, дуэт диссидента, вы, рабы-рыбари, те, кто жует железо для лезвий, и те, кто хлебает хлябь для блях, девицы с девизом для визы влагалищ и геометристки для басен Басманова, струители сатанинских надежд, обобщественные в обществе обнищаний, — как трясется вам, трусость, как выдумывается вам враг для борьбы (с барабаном!)? Что, неродившимся, нам? Мы на соломинках прыг-скок по водам, как с нами бороться, уродцы? Ведь мы меньше мизинца! Вам — топот толп из телес, бей булыжником ближних, мы готовы и к мегатоннам, а вы-то хоть — где выход? Кара Марса нам, красноясым! А у нас — маленьких, миленьких, нам не нужен ни огонь для агоний, ни пещь для пищ, у нас клубень — из нерукотворных теплиц, лизнул язычком и сыт на весь свет; и

соломинка — хоть заплывай, хоть заплывай, хоть вставь ее в рот и дуй-подуй: нас — миллионы миллионов, и если мы все и повсюду вдруг дунем — о море Адога! о морт от арт! — такой ураган ударит! Мы уже не грозим вам, о любвеобильцы, мы еще лишь грезим!.. Нам смеяться лишь, слабеньким, петъ в седле по соломинкам!

Мир замер,
Мир замер, мерзавцы; — замерз!

О Ты, отдай мне Озеро!
На отчеканенном Озере, как на монете металла, — профиль чайки.

Камыши стоят, как эскимо в шоколаде, на палочках.

Но всякое чудо превращается в чудовище:
в камышах сидел ЧЕЛОВЕК В РЫБЬЕЙ ЧЕШУЕ!

В камышах у берега он сделал постамент из цемента, построил на нем комнатку из доски дуба в рост человека, но без оконца, чтоб никто не видел, что этот человек покрыт рыбьей чешуей. Как выросла на нем рыба чешуя? — вопрос не к месту.

Я подплыл на лодке, я осушил весла.

На лице человека тоже рыба чешуя, и на ушах, и на веках. Что за рыба в нем завелась? — на груди, животе и на ляжках чешуины как циферблаты, а на лице, на коленках, на пальцах чешуйки как чайинки... Что за человек! — весь в рыбьей чешуе, спрятался в камышах от людей, и оконца в игрушечной комнатке не сделал, а замаскировался: покрасил дом свой в цвет зеленый, сидит, полулежит в шезлонге, дверь нараспашку, — принимает солнечные ванны, жмурясь.

Увидев меня, человек в чешуе, как в медалях, — встал! Весь зазвенел! Ужас, ужас! Я не эпилептик, но и у меня есть конвульсии в виду таких людей.

— Вам не мешает камыш? — спросил человек. — Если мешает, в моем доме есть велосипед, можете сесть в седло и уехать на Хутор, Иван Павлович Басманов!

— Камыш мне не мешает. Если уж ты меня знаешь, то — кто ты, кровинец?

— Зачем тебе мое имя? Пожужешь и забудешь за челюстью. Я не могу пригласить, извини, тебя, мой дом не для вдвоем, здесь не поместиться. Дом для меня, день ото дня. Мне не помочь.

Почему б не помочь?

Я:

— Что ты ешь?

Он:

— Что привезти? Вечереет, я надеваю плащ, у меня велосипед, еду в магазин для капусты и покупаю кочан.

— Так и сидишь день за днем?

— Я так сказал. Я сижу в моем доме, в шезлонге.

— Не грустишь?

— Нет, не грустно. В Солнце смотрю, Луной люблюсь, рыбку ругаю, если не ловится, — не до грусти.

— А зимой? То же Солнце, та же Луна, та же рыбка. Капусту кашу в сетях. У меня есть лом, пробью лунку, ловлю на мор-мышку, летом я рыбку сушу, а зимой замораживаю.

— Книги читаешь? Я привезу.

— Книги? Нет, не читаю. Книги — как ноги, на них далеко не уйдешь. Книги, как люди: друзья до зари, а потом — своим путем!

— Что... я еще мог...

— Иван Павлович Басманов. Вы геометр, Вы — снайпер формул и фигур, что ж это Вы превратились в вопросительный знак? Или — интервью для рукописи? Или хотите исцелить? Не исцеляйте, я не поддамся. Мы докатились: гений, и чем же занят его умнейший ум Всех Времен: исцелением! кого? — приматов! Ум твой, Басманов, умопомрачился!

Ничего себе, — на моем отекавшем Озере, — меня отчеканивают!

А я? Что же я?

Я смутился:

— Я буду пить 666 дней. Это — борьба со Зверем, это трюк-трагедия, я — Белый Клоун Бога!

— Борьба, трагедия, Белый Клоун Бога!.. Я вот сижу в рыбьей чешуе, я вот ежусь на велосипеде за кочном капуст, рыбку ругаю, а вот грянет молнья, законвульсируют ливни, я заключаю дверь на ключ, встаю в твоей тьме, сквозь щели — вспышки, всплески, грохот грядущего Хама! Я встаю, я складываю две ладони для молитвы, а они — в рыбьей чешуе, а они сами собой, без меня, стискиваются в два несокрушимых кулака, а тело мое, без меня — потрясает кулаками, а слезы и спазмы душат меня не любовью, Басманов, неистовой ненавистью и, рыдающий, не дарящий, скрюченный в погибель в своей песьей конуре, я кричу на коленях в тучи:

— А БОГ? ВЫ В БОГА ВЕРУЕТЕ, БОГ!

ОЙ ЛИ, ОСВЕНЦИМ ЛИ?

Календарные числа — от римских календ. Читайте Овидия, благодаря «фастам» он не попал в Освенцим. Фашист любит фасты, без фаст ему — жизнь не в жизнь. Прояснится фашист с солнышком, послуявит перст, перевернет листик календаря, — сердце засветится: и в этот день — фаст! Бей в колокол, ко-

мендант, объявляй Освенциму, что сегодня юбилей легионера Калигулы или же Юбилей открытия атомной гидроэлектростанции в междуречье Миссисипи-Миссури, Тигра-Евфрата, — выводяй уникамов на демонстрацию с флагом — фалангой, хойте им — иллюминация! В храме крематорья светоч был бы — душа задрожит! Зачем же в Освенциме Овидий, он — союзник, молдаванин, свое отфастил на Дунае, зегзицей.

А вот Нильс Бору в Освенциме по душе, подошел бы к их постулатам, все друг друга дополнили бы по календарам дополнительности, колдуны. Не прячь в печь, в ней свет. Очень бы нужен был Нильс Бор в Освенциме. А все потому, что ему никак не удавалось привести к согласью два взгляда на вещи: классический — на процесс распространения света (в виде непрерывных волн) и квантовый — на процесс взаимодействия атомов со светом (в виде очереди прерывистых актов). Обмен энергией — важнейшая сторона всего происходящего в природе. Но тут условие непрерывности обмена сталкивается с условием прерывности. И ускользал у Нильса Бора от понимания механизм, способный сочетать и то, и другое.

Здесь механизм — не ускользнул бы от пронизательного окуляра Нобелеата: крематорий! Свет распространяется, атомы взаимодействуют; крематорий варится! Условия непрерывности колонн, уходящих в печи, не сталкиваются с прерывистостью команд, — обмен энергией согласуется ЭСЭС. Тут уж Нильс Бор постеснялся б воскликнуть: «Эврика!»

Вацлав Нижинский: «Грация приобретенная имеет предел. Грация врожденная развивается беспредельно»...

Что было делать Вацлаву с его беспредельной грацией, когда у световых волн-войн, у печей публики в комнатке этого Палац-Театра, виталистского варьете, администратор Морис Волни заявил, что между номерами пред откормленными заключенными — будет играть оркестр, такая привычка уж у публики, отвлекаться перед представленьем, — пока не в печь, Вацлав приказал отменить эту привычку. Отменена.

Но когда в кресла воссели войска ЭСЭС, жаждущие таинств танца, когда Нижинский собирался надеть костюм Призрака Розы, а костюмер натягивал уже на него багряное, фиолетовое трико Л. Бакста, прикалывая булавками лепестки роз, на сей раз искусственных, — за дверю уборной, на сцене Освенцима, оркестр, до сей секунды лакающий лимонад, — вдруг грянул «Крестьянский вальс» из «Спящей красавицы»! Когда гения Психеи, медиума граций, ничейку нерва бьют в затылок ободом Чайковского, — он вздрагивает вдруг, закусывает язык, бросается оземь, жуя испражненья зеков, рыдая, как дурак, в рогах, катаясь,

конвульсируя, блюя, срывая с себя стальными когтями кожу, — о эра эриний! Надо ведь, в недоуменье гость из гестапо: вот — розарий костра в печи, а где ж Роза? вот прожектор — где ж кантилен и прыжок? Освенцим не даст ответа.

Нильс Бор рассекретил в световом крематории атом и дал миру откровенье гения: БОМБУ, в один миг разрушающую миллиарды живых структур. Но Нильс Бор, там, в Освенциме, не понял нерв атома. А этот нерв-атом, вот он — Вацлав! — катался по земляному полу уборной, в слезах, в спазмах — сумасшедший уже!

Овидий ответствовал за безумье Нарцисса, но Нильс Бор не понял психеи атома, Бор был машиной структуры ума, а нерв интуита бился в сумасшествьи.

Интересный параллелизм: поучительная иллюстрация генетики:

Кристиан Бор, профессор Копенгагенского университета, член Датской академии, физиолог — родил троих детей:

ДЖЕННИ,
НИЛЬСА
И ХАРАЛЬДА.

Дженни в детстве сошла с ума, Нильс и Харальд стали учеными мирового класса.

Томаш Нижинский, гастролер странствующей труппы польских танцовщиков, прима-исполнитель знаменитого прыжка Дьяволино-Перро — родил трех детей:

СТАНИСЛАВА,
ВАЦЛАВА
И БРОНИСЛАВУ.

Станислав в детстве сошел с ума, Вацлав и Бронислава стали танцовщиками мирового класса.

В 1886 году Нильс Бор ехал в трамвае с матерью, в Эльсинор. Мать рассказывала мальчику что-то из сказок. Он сидел, раскрыв рот, послушный, — как тупица. Сердобolec, пассажир трамвая воскликнул: «Бедная мать!» Мать фру Элен рассмеялась. Нильсу было 11 лет.

Впоследствии медленная реакция Бора вошла в поговорку (тугодумье). О нем отзывались: «Приехал слывший Великим, а оказался Обыкновенным».

В 1900 году Вацлав Нижинский был зачислен в Дом Балета, в Столице, лишь приходящим, — стоял на экзаменах, раскрыв рот, в ответах был туп. Его мать пани Элеонора смеялась. Вацлаву Нижинскому было 11 лет.

Впоследствии тупоумье Нижинского на людях вошло в поговорку. Вацлав сам писал в своем «послании человечеству»: «Я

теперь понимаю "Идиота" Достоевского. Меня самого ведь принимали за идиота».

Об ученом Нильсе Боре писали: «Рембрандт современной физики».

О танцовщице Вацлаве Нижинском писали: «Король танца, современный Вестрис».

Гнусная геометрия: параллели пересеклись и превратились в перпендикуляр:

**НИЛЬС БОР — ЧЕРНЫЙ ФОКУСНИК АТОМНОЙ БОМБЫ
ВАЦЛАВ НИЖИНСКИЙ — БЕЛЫЙ КЛОУН БОГА**

**АЭРОФЛОТ, ВЕТЕР С АДОГА-МОРЯ,
НЮ-ГЕРЛС С ДВУМЯ ЗЕЛЕНЫМИ ОГОНЬКАМИ,
КАК НЕ ПИШЕТСЯ И МОЛНЬЯ В МЕНЯ**

У календаря нет чисел, — цифры. Они в переплетах, на пружинах, не пей с утра, перелистаются. Перезабудется жизнь живая, посвященная какому-то чистому числу, а останется забубенная цифирь.

Надо мной лампа, на ней клоп, как ласточка, — клопа — хлопоты: у меня в холодильнике яйцо, одно, а клоп садится на лампу, сидится ж ему, яйца приумножаются.

У кассы Аэрофлота на ступенях два башмака из валют, с пряжками, стоят носками на запад, но мне не войти.

Войдяй в башмаки, застегняй пряжки, улетай; люди, любопытствуя, останавливаются, и тяжелая мысль светится в их веждах, соблазн: если войти в башмаки, то снимай свои, свойственные, а эти-то — чуждые, а на своих-то ходишь как хочешь, а эти сулят себя, а — взлетят ли? Будешь стоять в двух башмаках из валют на ступенях аэрофлота, как эшафота, а меж тем твои-то украдет какой-нибудь спринтер-интурист, а выйдешь из валют — куда пойдешь, да и как — босиком, в слякоть, в филармонию? А если башмаки взлетят, вопреки веку, застегнутся пряжкой и пойдут по воздушной трассе маршрута на Запад, и что ж тебе кувыркатся в атмосфере с гудящими от гравитации ушами, а вокруг тебя вьются орлы и орлицы, вьются, бьются, им-то что, возвратятся в отечество, у них же гнезда, у тех же гнусно. Нет, не войти мне в башмаки, в них не тот ветер.

Тот ветер — тут.

С Адога-моря дует, плюет в стекла, надувается кварц, как выпуклый лоб, и тот же тут же — лопается, брызгается стеклянный мозг вниз, в згу, идяй же со своим башмаком на башке, как капитан третьего ранга А, соскальзывайся по стеклам, как

по лужицам Великого Ледовитого. Что стекла в окнах, если опять апрель — есть и нет их! Можно и так: сядь на шкаф, воздух в комнате и без стекол везде — сущ, повздыхай, выпей штоф шампанцев — пузырькофф, станет вроде бы роднее, может в окно без стекол занесет ветерком друга с Бабенцевого моря, капитана третьего ранга Б, выкурите по трубке в тряпку, обрадуйтесь еще хрен знает почему: были бы стекла, хрена с два проскользнул бы друг сквозь стекло!

Я возьму рондо и начерчу на своей щеке знак-зодиак и расскажу вам, братцы-капитанцы сагу в гексаметре о том, как любили два брата, Кастор и Полидевк. Кастор был пастор, а Полидевк — полудевка... и прочая притча.

Лед идет с Адога-моря, под водосточной трубой лежит песик-пестрик, моет свой ух, а из трубы фонтан-кипенец, ведь водосточные трубы у нас для умыванья псин. Перед песиком поднос, на поднос кто-то положил бутерброд. Бутербродик вот какой: квадратец хлебца, на нем телячья котлета с косточкой, на ней таблетка сахарина.

Это я увидел, когда вышел из Дома Балета, это было уже у Пяти Углов, но не на том углу, где Саркофаг, а на том углу, где стоит лимузин с зеленым огоньком, владелец — дьявологлазый Гай Рузин. А у лимузина (я увидел!) стоит ню-герлс Алена Кулыбина, у нее тоже зеленый огонек, но их два: два зеленых огонька на ягодицах, на каждой по огоньку.

Когда же я вышел из Саркофага, чтобы идти в Дом Балета, — грусть прячь в горсть! — где декорацьа? Лимузин увез Гай Рузин, ню-герлс лежит в луже, а над ней наклоняются два офицера, капитан третьего ранга А и капитан третьего ранга Б, лакированный околыш с якорьком, хобот на лбу, две сигареты.

Я поинтересовался: что за мизансцена и не требуется ль офицерам друг-помощник?

Не требуется: двое шли в Саркофаг, в морской форме. Лимузин увез Гай Рузин. Ню-герлс Алена Кулыбина стояла одна, без поддержки со стороны. Она не курила. — У вас есть спички? — спросили офицеры флота. — У меня спички нет. — Хорошо, — согласились, — но у вас есть прикурить? — Нет. Я не курю. — Вы не курите, это, по всей вероятности, правда. Но огонька у вас нет? — Нет, отстаньте, я жду. — Чего же вы ждете? — Я жду от жизни чего-нибудь получше. — Вы ждите, кто же протестует. Но нам бы огонька! — Нет у меня огонька! — Это была вопиющая ложь: у нее на ягодицах был огонек, целых два, зеленых. — Ах, у вас нет огонька, тогда мы — с огоньком возьмем за тело! И мы взялись. Мы хватанули ей в харю, свалили в лужу сью сволоту, расстегнули пуговицы из мундира.

— И что? — спросил я.

— Как что? И прикурили!

— И все?

— Что ж еще? Прикурили и пошли, куда шли, в Саркофаг.

— Что ж вы стоите сейчас-то над ней с сигаретой?

— Да у нас в Саркофаге сигареты погасли, а она все лежит, и огни на ягодицах у нее перестали гореть. Вот и стоим с сигаретой, ждем, зажгутся.

Дальнейшие подробности пусть поют не мне, я оглядывался: где песик? Водопроводная труба та же тут же, но песика нет. Думается, взял Гай Рузин в свой лимузин, у него ведь грум в лайковой перчатке, вот он и сказал груму: «Взять», — грум и взял собачку, теперь она в надежных руках. Гай Рузин занимается цветоводством, а собачья котлета — лучшее удобренье для роз. Вон какие розы я покупал Юле у вокзала им. св. Витта, а ведь Гай Рузин — там директор.

Почему-то поднос вот никто не взял, не взял и я, у нас не воруют, драгоценности — ни к чему. Хлеб же кто-то взял, думаю, чтобы съесть хлеб. Таблетку тоже кто-то, любитель лекарств, прикарманил, диабета у нас нет, но сахарин обменивается в Антикварии на ожерелье от ожиренья. А вот котлету не взяли, оставили валяться телячью с косточкой, какой смысл хватать этот хлам, все равно котлет у нас нет. Не советую подбирать их и впрдь, мы не маньяки мяс.

На спичечном коробке стоял клоп с гитарой и с челюстями, — как людоед!

Я писал со свечой.

Не из-за романтизма, всякий романтизм на клавишах моей машинки как-то вдруг превращается в рюмантизм. Я купил люстру, у нее семь светильников, как у Иоанна на острове Патмос, в форме медных цилиндров, они вынимаются с хитростью из гнезд и воспламеняются — как для жаренья вепря на вертеле! Но сосредоточиться сей огонь не даст, никак. Я купил, повесил и писал: со свечой, клацая клавиатурой — перелицевать бы теорему Пьера Ферма. Пьер не пил.

В 1637 году он записал условия теоремы на полях книги Диофанта, полюбуемся: $икс\ эн\ плюс\ игрек\ эн\ равняется\ зэт\ эн$ — неразрешимо в целых положительных числах, если $эн$ больше 2.

Повторяю: Пьер не пил, потому что он заявил свысока, что решение теоремы — им найденное, оно — удивительное, и лишь из-за нехватки места (?) он не может его записать для потомства. Пьер, будь он проклят, не пил: лишь непьющим не хватает места где-то. Если бы он пил, ему бы хватило места на земле, всем кто пьет — места здесь хватает. Ферма вообразил себя консер-

ватором секрета, гением остроумья. Хвала хулиганству, мой милый математик!

Ребячество: страшный секрет, шпионский шифр этого чудесного человека — лишь в анаграмме его имени, в датах его рождения и открытия теоремы. Составьте анаграмму, перетасуйте числа — это посильно и школьной шкале. Геттингенская академия выдаст вам причитающиеся за решение 100.000 марок. Мне марки ни к чему, у нас марок нет, мы любим брюали. Возьмите марки себе и пейте флакон за меня!

По статуэтке Афродиты Милосской ползает клоп, как сексуальный маньяк!

Нравственность моя нарастает.

Свеча смеркается, барахлит машинка, близится время большой писанины, а вот на стеллаже стоит глиняный голубь — гимн Миру, хищный цветок на этажерке стоит, как скульптура из ажурного скелета рыбы — на хвосте! Когда тебе не терпится ни в чем, попробуй писать о пробке, лежащей в пепельнице, как смеет пробка быть лежащей, что она — женщина, что ли? Кстати, о пробке: я взял вчера бутылку минеральной воды «Балюстрада» и полил цветы на этажерке, от минеральной воды цветы растут, и, оказывается, предпочитают превращаться в рыбьи скелеты. Над машинкой летает муха, как пуля, поправить бы текст, стр. 30, а карандашей у нас нет. На стеллаже блюдец, в блюдец вишневое варенье, в варенье валяется нож, им я намазывал селедочное масло на мякиш к чаю. На столе... стальной револьвер, не стреляется мне как-то, не в кого уже, всюду люди, что им — пуля! На венском стуле плетеная корзинка в форме двутрудовой девки, для земляники. Вот серебряный ковшик для дегустации, я приспособил как пепельницу. Без лицемерья, без лимита лирических отступлений, положи руку на рот в сей ситуации, я говорю: МНЕ НУЖНО ВЫПИТЬ. Без морей мироздания, без Христа и Харибды, не возьмемся мы объясняться: вот — взвывается молния и ты берешь левой рукой свечу и твердым шагом римлянина идешь в тот дом, где нам даже днешь!

МОЖЕТ БЫТЬ И МОРОЖЕНИЦА

Я люблю гомосексуалистов.

Мал их процент у кровинцев, но лишь они, сей процент, сохраняют мужество любви, — безымянной, бесстрашной, не восхваляемой, безвозмездной, без иллюзий.

Клуб гомосексуалистов: улица Зайчика Розы, дом 2, пройти арку, первый подъезд налево, пятый этаж. Выше: лестничный

пролет, поуже, с латунными перильцами — каруселью... чердак. Там Дом Балета вывешивает белье на веревках, белье — блевье, какое-то недочеловеческое, страдальческое, обвислое вниз рукавами, — высушивается от нас, пока спим-сплюм.

Белье мы жуем, как бетель, а в клубе чердака мяук музык гомосексуалистов, и как они на пуантах спускаются по лестнице, губы гуляют, ноги не гнутся, матросские. Привлекает нас в них любая черта, но самая располагающая: мы вешаем на чердаке белье для просушки, а никто не унес мой персидский ковер, у Зоэ не пропался носовой платок с кружевцой, меч юноши Александра висит на веревке, с острия каплет кровь.

Идут утром по лестнице, спускаются, ласковые глаза, опустят предо мной приветливую голову, локоны — шаль-шелк, из-под пены шампуня, выполощенные. — Доброе утро, Иван Павлович! Спасибо за гостеприимство! — ни дать, ни взять иностранные корреспонденты в гостях у венценосца. Хоть выноси на эмалированной посуде каплуна и кофе в чашечке с острова Борнео.

Мы: Зоэ, Лидия, Анастасия, юноша-гоплит Александр и я. Мы гордимся клубом, потому что и нашим женщинам и моим геометристам-ню безопаснее ходить по этажам, где, как и на всех этажах Столицы, шурует пьяная плазма — специалисты, бичи, дворники, инструментальщицы, жандармы.

Да и все лестницы Столицы обоссаны, потому что клозетов у нас нет, лишь Саркофаг, но Саркофаг не успевает обслуживать 250 млн. кровинцев за 12 часов в сутки, вот и вертятся на лестницах, но на нашей... попробуй пописаи, нарисуй писькой фреску на штукатурке... хватят за хоботок!

Но оставим фольклор для эпоса.

Дверь в клуб — цельнометаллическая, броня бронз, Замок Времен, висячий, с ключом 16 кг, на такие замки Ганнибал (не полководец, а прадед Поэта) заключал в подвалы своих жен, а открывая, — жен истязал свинцовой плетью, или крюками, выкованными в форме большеротых птиц. Как это близко всем мыслителям о сосуществованье мужчин и женщин!

Но к женам мыслителей питают страсть педерасты, это каста кустарей, т. наз. киникотодоризм. Но далеки наши гомосексуалисты от таких притязаний. Они — любят!

Клуб — чердак над пятым этажом, над моею головой.

Надпись МОРОЖЕНИЦА.

Мать моя, смерть моя, как провожала в жизнь?

Я вошел в МОРОЖЕНИЦУ со свечой в левой руке, с циркулем в правой. Я взял стакан и отчертил циркулем на стекле три четверти. Я был в медвежьей шубе, в медвежьей шапке, босиком.

За монолитными стеклами МОРОЖЕНИЦЫ мело-мело (все ж — с крыш!).

9 часов, сухой вин можно выпить лишь с 11, как и алкоголь. За столиками сидят похмелянты с зеркальными физиономиями, не ханыги, но и не гомосексуалисты с губами, судя по их утренней стадии — диссиденты. Гомосексуалисты пируют по вечерам, утром здесь — соковарка. Наливай фруктовые соки из конусов из стекла, открывая край конуса, опрокинутого вершиной вниз — и наливай. Сифон! Но сок никто не пьет, нужно платить, а не останетса на бормотуху. За отдельным столиком — майор Милюта Скорлупко, потряхивается, с остервененьем жрет леденцы, у него здесь пост: смотреть, чтоб никто не наливался. До поры, до времени, конечно же — до 11.00.

— Красная Москва! — сказал я.

У барменши сверкнул флакон, засвистал в стакан, я сел. Я поставил свечу на столик, зажег фитиль спичкой, тут-то я и увидел хорошенько зеркалацев, — двое как один, с ненавистью смотрят на меня, затаив дыханье. Майор затрясся с большой силой, снял, нервничая, шапку, держа ее в двух руках. Барменша в белом фартуке, в золотых серьгах подседа к моему столику, смотрела с милостью на свечу, но не дула на меня.

Мне:

— Я — Катя. Я — тартарка. Я — лавочница-красномяс 1 клана!

Я выпил стакан, взял второй флакон. И закурил.

Майор взорвался:

— Ой, Иван Павлович! ой, Басманов! Еще 2 часа до 11.00, нет на тебя Несси! А ты пришел со свечой и выпил флакон. Ну, закуривай, где нельзя, песнь задуй «Четырнадцать человек на сундук мертвеца и бутылка рому!» Ой, Катя-тартарка, ордер на арест — за мной, не задержится.

Катя — майору:

— Не требухайся, Милюта! Я чиста, потому что человеку (жест на меня!) — нужно. Я не знаю, кто он, я знаю — нужно.

— А мы не люди! Нам не нужно! Записывай в права примата; в этой Столице никого не считают за людей! Ни одна нужда гражданина не удовлетворяется!

Катя:

— У него свеча в левой руке и он босиком. Деньги-то я не взяла. Где ж тут запрещенья спиртных напитков, где тут спекуляцья, Красная Москва — мой флакон, не с базы, — наливаю, кто мне мил!

Майор подсел. Губы его гремели.

— Умница, баба Катя. Не зря тартарка по документу. Морда-то у нее какая, красное мясо, как из колбасы. Она ведь еще и

терракотовые статуэтки продает из-под прилавка! И на ипподроме с махинациями! Нальешь на лошадь, Катюня?

— Нет, не нальешь на ложь, Милюта!

— Да, Катя. Мне нельзя, потому что здесь нельзя. А ябонские часики в коробочке, по тройным брюалям, — налей полной!

— Я не помню, а ябонцы не по мне.

— Хороша ты, храбра ты, а из-под халата самолетами «Боинг» торгуется для терроризма? Ну, налей, так и быть!

— Нуль тебе!

— А девиц с девизом держишь в притоне — при том?

— Не дрожи, Скорлупко, как яблочко наливное, — не нальетсяя!

— В тюрьме ей не бывать, — вот мне травма! — сказал жандарм квартала с бессильной тоской. — Все дефициты у нее, ей кланяются, как ламе и Верховные Инстанты, — у нее все есть. Вот парадокс: по приказу Тайной канцелярии я караулю ее от провокаций асоциальных элементов, а мне похмелиться не на что. Я ее избавляю от наветов «Логоса Хамерики», а она издевается. Вон! — сидят и смотрят эти, с лицами в зеркальцах, досидаются же!.. диссиденты. Эй вы, борцы за права примата, а как же вы сами алкаши?

— Да, мы борцы, но как без бормотух? Мы — для всех и мы — как все! А тебе нельзя, ты жандарм. Да не цепляйся ты, дисциплин! Ну-ка, выпей, сейчас же о тебе заговорит «Логос Хамерики», у жандарма от пьянства до растления малолетних девчушек — один шаг. С этим-то красноречьем мы справимся.

Я дал Милюте флакон.

— Милюта, — сказал я. — Им бы выпить. Смотри, я плесну им в морду флакон, они облизнутся, отблагодарят и уйдут до 11.00, их нервы будут в нирване.

— Ну-ка, плесни! — гордо вспрыгнули на ноги диссиденты. В бой, Буревестники!

Я плеснул. В морду — каждому. Их было двое, собственно-то говоря, сообразительности у них никто не отнимет: они стали лицом к лицу и стали быстренько вылизывать языками морды друг у друга. Вылизали, утихомирились, и лица у них как-то похорошели.

— Какое хамство у нас! — сказали без гнева. — В каждой МОРОЖЕНИЦЕ нет мороженого, а плещут тебе в морду черт-те что! Где гласность? С кровью бы вас критиковать! Дай нам свободу слова, ты, завербованный идолог наук!

— Вон вы сколько слов наговорили, и все — свободные! — сказала Катя. — Плесни им еще! Смягчатся.

— Не посмеет! — вскричали диссиденты. — По Кодексу — оскорбленье личности!

Я плеснул.

Они облизались, как и прежде, и, угрожая цитатами, птясь, устранились.

— Пей флакон, Милюта! — сказал я. — Ураган ушел, враг отстрелялся. Эх ты, так тик! Да ты дай им по стакану с капустой лишь проснутся, — и прощай, права примата!

— Нет, нам без них никак. Воровства у нас нет, все берется всеми по потребности, проституции у нас нет, все валяются со всеми влжку. Убийств у нас нет, режут вчистую, без ножиц. Где же гражданская греза, чай чистоты истин инстанта? Где враг в разгуле на каждом углу с утра? Где угроза урокам дактилоскопического матъморализма? Что делать струителям общества обещаний, с кем бороться в беретях с нравственностью нервов? Нет, без диссидента не обойтись. Я тебе говорю: жандарм — не шарада, а борец за братство! Это ты их спутнул. А то знаешь, как запротестовали б! Бороться бы — не разобраться! А за это — рапорты, премии, повышенья. Ты не педагог, ты педант. Здесь нужна тонкость интуита: вы нам наговорите, а мы вам нагорюем, голубчики. Тут и тюрьма! А нас? У нас же в рядах, у нас все впереди — Золотой Лозунг! Что это за лозунг, я не знаю, но как звучит! — ради этого стоит жить и бороться.

Я:

— Ты знаешь, что такое мартовские иды по календам?

— Извини, не знаю.

Я:

— Вот и иди-ка ты к идам со своей хавайней! Пей, Перикл!

Милюта отрицательно отмахнулся:

— Катя неправa, что я снял шапку, потому что Вас увидел, перед Вами кто ж не снимает шапку? Опротивела, честно признаться, мне эта шапка, новенькая она, позавчера получил по спецпропуску. А я к старой привык, сроднился с ней, своей. А эта! — и стоит-то 10 брюалей, а носить — как не своя, сваливается, сволочь! Как носить шапку, как не свою! Дрянь, а не шапка. Еще для гастролей там, для реквизита Вам понадобится — еще как! Вон Вас как мы воспитали, — гений, и никто иной!

Я дал 10 брюалей, я взял шапку. Милюта с любовью посмотрел на меня:

— Когда Вам придется продать свою медвежью, Катя, помни обо мне!

В 11.00 Милюта продал мне мундир, в 12.15 первый сапог, в 16.28 — второй. В 17.59 майор продал мне пуговицы от шинели. В 18.00 — шинель. В 21.35 майор ушел в катин кабинет и вынес трусы, то есть плавки, если правильно смотреть на вещи. Плавки с аппликацией, кармашек на цепочке. Нес

майор Милюта Skorлупко плавки, а слезы забрызгивали простое, открытое лицо его.

— 100 бряолей! 100 и ни пейки менее! (сапоги он продал за 10 бряолей, как и шапку, ремень за 10, как сапоги, пуговицы за 10, как ремень, мундир за 10, как пуговицы, шинель за 10 как мундир, и что же его так вдохновляет в плавках-то?)

— Дешевле не дам! — брызгался Skorлупко, весь плача. — Мне их субсидировал как сувенир один кровинец из прошлого, ягут, хамериканец из УЭСА. Он у них — комиссар полиции, как я здесь по должности. Я люблю историю кровинцев, а ягут сказал, что мы, жандармы, здесь, только пьем в проклятьях, а людей бить нам не приходится. У них в УЭСА — бьют людей! А мы не бьем, только сбрасываем в люки, — кровь теплеет моя здесь от гуманизма, — сказал ягут. — Не продешевлю друга, что так похвалил кровинцев! — Милюта поднял кулак для клятв.

Вывеска МОРОЖЕНИЦА закрывается, девицы с девизом, у них глаза ярко-оранжевые от кофе. Уборщица-негритянка с тросточкой моет пол тряпкой на метле. Для вечернего сеанса.

— Пей так, — сказал я.

— За твой счет не буду! У меня честь! Купи хоть цепочку, — выпью!

Я оторвал цепочку.

ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС

Первый день молнии доводится до суток.

Если уж взял флакон — бросайся в бездну. Получится вот что:

ЕЩЕ НЕ МЕРТВЕЦ, УМЕР, — СТАЛ САМ СОБОЙ, наконец.

Я пил 588 день, а вот: вспоминаю про день первый, про молнию: чердак — МОРОЖЕНИЦА — клуб гомосексуалистов над моею головой, в общем: УНИВЕРСАМ.

Барменша Катя. Катя — мой друг. Она дает мне мандарины из Марокко, сшила мне шубу в театре им. св. Йушкина, шила она мне ее шилом, а шил у нас нет.

— Сколько время, что Вы пьете? — Милюта, очнувшийся, озирающийся, как дикарь, в нижнем белье, Катя дала ему портьеру, чтоб задрапироваться. — Не понимается мне, что пьют. Не бормотуху, — майор принохивается, лисий. — Еще нет 11.00, а запах. Так не можно в МОРОЖЕНИЦЕ.

Катя:

— Сейчас четыре часа ночи, утром здесь была МОРОЖЕНИЦА, а сейчас не гастроном.

— Что же теперь? — спросил Милюта. — Я здесь был и не был. Помню, что пропился, Басманов, тебя не забыть, ты и сейчас, как живой, Катя тут же! Философема: в чем же вечность? Что здесь? Я вижу кабины.

Катя:

— Если формулировать вечерний сеанс, это — притон гомосексуалистов, полуосвященный. Белье с веревок не снимается, но веревки перетянуты так, как полагается в притоне, а за свешивающимся бельем — конструкции кабин. В кабинах гомосексуалисты, они сидят на цементе, на цементе же подсвечник, в нем свеча, чтоб виднее. Гомосексуалисты любят, сидя на цементе у свеч, губы накрашены, а ресницы без косметики. Стойки нет, как утром, есть сундук из-под музыкальных инструментов, как в капелле, на сундуке сифон с фруктовым соком, за сифоном я, Катя, в белом халате, тартарка. Так-то. Понял, Пенелоп?

— Здесь пьют вина!

— Никто не пьет вин, все упиваются любовью. Они красят губы помадой «Йодамоп» и смотрят друг на друга. Они — любят. Вот какая любовь бывает, кровинец, эх, ты! О такой любви я мечтаю, но тебе женщину не понять.

— Как — мне женщину не понять? Вот — выраженьице! Сколько у меня было баб в кабинете, а кта не хотела в тюрьму, та ложилась с любовью. Понимаю я сердце женщин, как свое.

Милюта — гомосексуалистам:

— Что ж, вы и вправду, как это говорится, не пьете, а упиваетесь?

— Да. Мы смотрим друг на друга с любовью. И с губами.

— Ночью нельзя так, всем вместе. Хоть бы уж поодиночке.

— Но у нас притон.

Милюта впал в отчаянье:

— Все любят! Меня одного никто не любит: ни в обществе, ни в семье, ни в притоне! аресту бы вас, по адресу бы вас! Но как же с Катей? Как ее укараулю тогда от клеветы «Логоса Хамерики»? Дайте хоть деньги для родильного дома, у меня там жена, у нее ребенок, там рождаются и еще дети, вот они-то меня и полюбят! Такой притон запрещается в принципе, но у вас будет нравственное оправданье, что притон работает для будущего поколения детей. В общем-то ведь вы-то делаете благородное дело: вас не интересуют женщины, значит, со временем прекратится блуд в семьях.

Этот непрекращающийся монолог Милюты Скорлупко ничего не дал, денег никто не дал. С отчаянья майор позабылся, что Кодекс действует лишь с кулаком по харе, а в притоне было

много мужчин, и мужчин в истинном смысле слова, не размахнешься.

Вышли из-за занавесей бельевых семь ню, выспанные, за стеклышками чердака светает, оранжевое кофе из глаз у них испаряется; Катя им: — Отдыхайте. Ваш мужчина очнулся. (Обо мне!) А этих с губами не трогайте, у них, как и прежде — любовь.

Девушки, ни минуты не мешкая, стали отдыхать. Принаряжаться.

Гомосексуалисты были прикованы взглядом друг к другу, любовь лишила их взгляда в сторону, даже мельком.

Катя — мне:

— Вам, — все ню, делайте с ними, ведите вниз к себе в мансарду, а хотите — здесь, это маленький презент Вам от меня, любящей Вас тартарки. Учтите, не стесняйтесь: у девиц есть гигиенические салфетки.

Что девушкам ню принарядиться! На них — трофеи, изъяты мной у Милюты Скорлупко:

ню N 1 — офицерский китель, застегнутый на все пуговицы из металла, но бедра ее — без трусов, а ноги босы;

ню N 2 — в шинели, расстегнутой лишь так, чтоб увидеть прелесть живота и сосцов, т. е. есть такая песнь: и девушка наша в расстегнутой шинели, идет, горящая, по степям, как кобылица!

ню N 3: вошла в сапогах, в сапогах и все тут, что прибавляется?

ню N 4: затянута в талию как в телятину офицерским ремнем (дом Мод, что ль, пропаганда, и у Дуни-ведуньи — ремень!), из всех — симпатичнейшая девица с девизом, вот ведь какая изобразительница костюма: черный ремень с дырочками, и никаких излишеств;

ню N 5: в шапке с эмблемой жандарма Милюты Скорлупко, посочувствуется ей, как ей одеваться на голое тело, имея — герб с эмблемой!

ню N 6: обвязала щиколотку цепочкой от трусов, цепочкой с колокольчиком от плавок майора, которые ему презентовал ягут, не девушка, а история кровинско-хамериканских связей с полицией;

ню N 7: ей ничего не перепало из гардероба, довольствуется тем, что есть у себя, ничего нет на ней, есть тело с волосами, ей-то, может быть, и предстоит наибольший успех.

— Скука, скука! — сказал бы Милюта Скорлупко, он и сказал: — Мне бы натюрморт, а ты станцуй, как-никак, а ты жилец мансарды Нижинского!

Танец не описываю, присутствуют 13 ни в чем не запятанных лиц, вне обвинений: Катя и 12 гомосексуалистов. А танец при посторонних, т. е. секс с 7 ню — не цель пера. Секс одновременной игры с 7 ню — оставляю Бобби Фишеру. Да и девицы с девизом меня занимают постольку-поскольку: здесь больше моей самодисциплины, чем секса: дала Катя их, как-то нетактично не брать, я их взял. Но если писать, то художественно, вот ввиду художественности я и опускаю этот натюр с 7 ню в одетых костюмах. Пусть читатель сам отдастся фантастическому в ситуации. Я же пишу декорацию, чтобы читатель нагляделся, в какой обстановке у меня с 7 ню:

чердак: одно окно, за ним светается, еще метет метель и звенит зима,

пол: из цемента, на полу пыль,

с потолка: опускаются светящиеся лампы на шнурах, в гроздьях тараканья,

простыни: на веревках, пахнущие, как после купанья,

мебель: балки потолка, с пауками на паутинках, — мини-матрешки,

еще:

блюда, приготовленные Катей, спасибо ей:

жареная индейка, гусь жареный, бифштекс с анчоусным соусом, телячья печенка, жареная в сметане, жареный поросенок с кашей, поросенок со сметаной и с хреном, заяц жареный, котлеты битые, с мордами, свежий коровий язык с картофельным пюре, жареные телячьи ножки, утка, фаршированная яблоками, жареные подлещики с кисло-сладким соусом, фрикандо, золотеное жаркое, бланкеты, каплун по-французски, голуби а ля Гамбетта, золотые караси в веночке, амур-братен, гамбургский бифштекс, вестфальские котлеты с хреном, котлеты Джон-Буль, шнельклопсфлейш, французское жаркое в папильотке, картофельные котлетки с грибным соусом, окуни холодные с хреном, стоффато, саксонки, матлот, сосиски с капустой, лини заливные, бульи с бельгийским соусом, турецкие бобы с соусом, маседуан из овощей, фаршированные раки, майонез из цыплят, сазан с цветной капустой, миндальные мазурки, лимонное желе, испанский ветер, клюквенно-миндальный кисель, пудинг сметанный с сабайоном, пудинг из творога с белым ванильным соусом, красное желе из вина, миндальные венчики, бланманже, компот из апельсинов и яблоков, фисташковое мороженое с грецкими орехами, мороженое из клюквы, арме-риттер, апельсиновый компот с ромом и черносливом, марципан, бабушкин повойник, невеста, репль на вине, tenerифский пик, кармелитки, молочные блинчики с вареньем, компот из каштанов, версальский торт, лимонное

желе с красным вином, царская роза, турецкий каймак, сладкий сыр, розовое яблоко, буйабез, вареники с черносливом,

перед каждым из нас лежала инструкция:

«Средства сохранять провизию во время лета и исправлять окисший суп испанский с пармезаном».

Уже утром стали спускаться по ступенькам: девицы с девизом в Саркофаг, Катя в Эллипсеевский гастроном за провизией, мы с Милютой ко мне в мансарду, поговорить, 12 гомосексуалистов связали наше невысушенное белье и унесли узлы в химчистку.

— Не дают мне деньги, — сказал Милюта, — а я-то ведь бедствую.

— К чему ты? — спросил я, разгоряченный.

Майор вывернул карманы и положил на стол, вытряхивая, что-то.

— Что это? — спросил я, охваченный сомнениями. — Пьявки?

— Губы. 12 пар губ. Ты так танцевался, гомосексуалисты так раскрыли рты, глядя друг на друга с любовью, что я, выигрывая время, отрезал им губы, ножом с Кузнечикового рынка, у Зубикомлязгика я отнял, глянь, какая чеканка!

— Я видел уже в третьей главе.

— Нужно любить людей, а не друг друга. Обойдутся и без губ, извращенцы!

— Грустные губы, Милюта.

— Плохо знаешь, дефицит. В институте косметики вот уж век висит плакат: требуются полнокровные губы для красоты. Я их продам в институт косметики. Сначала сниму только помаду «Йодамоп», — у нее цена, если так называется, а потом продам губы, как донор, за 12 пар губ — уж получится сумма, как тебе кажется?

— Что ж этим-то теперь, как же им-то?

— Не кокетничай. Это ты не имел жажду жизни, ты и любви-то по-настоящему не попробовался. О них беспокоиться — о нет! — они будут любить и без губ, а мне деньги не дают, у меня дети ведь есть.

Я-то думал во время танца, посматривая на гомосексуалистов, развращенный, циничный, раскаивающийся: не смотрят на танец, не едят деликатес, не завясят от ню, с каким целомудрьем — целуются в губы!

Ах, Милюта, мне бы жажду жизни! Но не мне.

ПРИЛОЖЕНИЕ. О ТОМ, КАК ДВА ДИССИДЕНТА ГОВОРИЛИ В МОРОЖЕНИЦЕ О ЖАН ЖАКЕ РУССО

О революционной духовности. Когда Жан Жаку Руссо минуло 13 лет, родственники отдали его учеником в мастерскую гравера Дюкомена.

— То был грубый, недобрый человек. Тяжелая рука хозяина не скупилась на подзатыльники.

— Жан Жак не смирился?

— Нет! С этим ненавистным хозяином надо бороться! — вздумался он.

— Но как?

— Лгать, хитрить, вести против него непримиримую тайную войну. Ж. Ж. открывает боевые действия: отлынивает от работы, делает вид, что выполняет заказ хозяина, а в действительности затягивает, или заведомо плохо справляется с поручением. Но и этого было мало юному революционеру! Ж. Ж., как он сам об этом рассказывает в «Исповеди», начинает воровать у хозяина.

— Так в тринадцатилетнем мальчике, в подростке-ученике пробудился дух мятежа, дух борьбы!

ИЗ ПРОГУЛОК. СТАРУХА И КНИГА

Подстриг ногти на ногах, отросли, как у орла. Швабр у нас нет. Чем подмести роговицы? Открыл холодильник. Там яйцо. Одно. Я выпил. В холодильнике же лежит «Война богов» Парни, растрепанная. Подметаю ногти «Войной богов», как шваброй, хоть и без палки (палок для швабр у нас нет!), собираю их в горсть и выбросил в мусорное ведро, и одинокими очами смотрел на это Небожитель!

В Бормотушнице у Пяти Углов очередь. Машина жандармов улиц, семицветна. Из Бормотушницы вышла старуха Роза Гарпиевна на костыле, второй потерялся, ей никак не шлось дальше Бормотушницы. Два жандарма у входа с отомкнутыми штыками вступают с ней в борьбу, — она пьяна и требуется медицинский вытрезвитель. Она пьяна, шатается от пьянства, неустойчивость в ногах при свидетелях.

— У меня одна нога, — ясно и сурово возражает хромица. — Дайте мне второй костыль, и я пойду к себе.

— Извиняйте, Роза Гарпиевна, в Столице нет костылей. Их выдают по спецпропускам. Ты не стоишь на ноге и хватит: до 12 утра нам нужна женщина для штрафа, — план, понимается ли тобой? Эх, ты, как ты не хочешь помочь плану, а еще инвалид

войн, думается? Инвалиду войн разрешается пить вне очереди, но шататься на одной ноге и пьянеть в стельку — Кодекс не позволит. Залезай в машину! Уже без 18 минут 12. Успеется в самый раз!

— Я не аист, чтобы стоять на одной ноге, не шатаюсь! — ответит старуха.

И вместо вразумительного ответа ударит жандарма костылем по козырьку. Тот упадет, как убитый. И костыль свалится. И старуха уйдет головой в землю.

Упавший от неожиданности жандарм, с тротуара:

— Вот, бабуся. Теперь ты лежишь. И имело место покушение на жизнь блюстителя Кодекса. Нас бить нельзя. Не хотела ехать со штрафом, поедешь в тюрьму... Увезли.

Я пью флакон Красная Москва вне очереди, — большие брюли его стоимость. За бормотухой — очередь людей пятьсот. Жандармы улиц возвратились и смотрят сквозь стекла с неослабеваемым интересом. Я вышел, как волк, — мне они отдали честь. Всем, кто пьет Красную Москву, отдают честь жандармы и инстанты, а диссиденты глумятся, а в медицинский вытрезвитель не увозят меня, нельзя, не то имя.

Люден Содомский линий. Там продаются книги инстантов-лауреатов, самые дешевые в мире, по цене — зарплата за месяц.

Я шагаю шагами по Содомский линий. Чем хороша ходьба? Я вижу вещи: книги.

Многоборец и писатель Георг Геккеншмидт поднимал одной рукой штангу весом 128 кг. Потом он стал ходить. Ходил повсюду и прыгал через обеденный стол. Лишь на 89 году жизни по решительному консилиуму врачей он отказался от последнего упражненья — прыжка через стол. Но ходить — ходил.

Английский биохимик Р. Харальд пишет: «Ходьба — лучший вид физической активности для лиц интеллектуального, а особенно творческого труда». Иллюстрация — я. Я хожу ж, куплю книгу.

Он же: «Разве помешало щедеушное сложенье достичь глубокой старости, например, Канту, чья система поддержания физической формы сводилась к ежедневным прогулкам в строго определенное время».

Это мне не проиллюстрировать. Я хожу в строго определенное время: от 11.00, когда на Несском проспекте всплывает чудовище Несси, и до 19.00, когда под дулами минометов закрываются бормотушницы и ТЭЖЭ. Сложенье у меня не щедеушное, но до глубокой старости мне доживать не хочется, я боюсь Нобелевской премии, ее дают, как надгробный крест за утрату семенников, а мы еще повоюем с ню, и полицейское платье за

права примата в Нобелевском комитете нам не примеривается, — пусть их наряжают те сидельцы за социальную сложность!

Школа перипатетиков предавалась размышлениям исключительно на ходу. К ней принадлежал Арестотель. Нетрудно понять, почему кровинец любит Арестотеля. И покупает его книги. С ним не арестуют, он все хорошо рассказал, предаваясь размышлениям на ходу — ход истории, ход к нам, кровинцам, к дактилоскопическому материализму.

Ничего нет в Столице и не предвидится, вот и покупают Арестотеля — капитал и себе и детям, когда повзрослеют. Книга — духовный багаж. Лауреаты-арестотелевцы пишут лишь правду. Да и деньги во время оно понадобятся — те ж магазины на Содомском линии возьмут книги по неуцененной таблице. Можно продать и на Черном Рынке, но там цены немножко больше — раз в 20. Как-то недобросовестно продаваться за такие брюали, да и жандармы ходят по рынку, упрекают. — За правду не жалко никакой цены! — возражают книголюбые. — Да, — говорят жандармы рынков, — дело не в деньгах, если повсюду у нас правда и о ней от всего сердца пишут Лауреаты-арестотелевцы. Но вот Черного Рынка-то у нас нет в Кодексе. — Черного Рынка у нас нет, — оживляются книголюбые. — Но вот 10 брюалей у нас есть. Возьми, кровинец-жандарм для борьбы за идеологию. — Для борьбы — с охотой! — радуется жандарм. — Борьба — священна в обществе обещаний. Себе в карман не возьму, клянусь. Давай 10 брюалей, а я пойду посмотрю, как пьют бормотуху у Дома Искусств, а то там диссиденты разбор-мотаются.

Книги теперь в перламутровой переплете с иллюстрацией из триобита. На них смотрят в собственной комнате, от них умственная атмосфера. Лишь не знают кровинцы: дефицитные книги, подписные издания будут продавать повсюду и их можно продать так же, но... до дня смерти Лауреата, до того скорбного дня, когда вся Столица погружается в заслуженный траур и идет в деменстрации за гробом Лауреата с черной повязкой на глазах, чтобы не видеть в последний раз его хорошую харю, чтоб не заплакать навзрыд от венков с ванилью — от инстанций.

А потом, потомок мой:

газета «Вечерняя Столица» опубликует некролог в титулах лет, медалей и Геворгиевских лент, это вечером; а утром: ни один магазин книжных товаров, ни Черный Рынок — не купят книгу, ни за пейку. Лауреат жив, струит нужные надежды, ему — тиражи — миллионы, помер номер — инстанция не интересуется: мертвым хоронить своих мертвецов!

Уже давненько ожидает очереди еще не Лауреат, помладше, с актуальнейшей на сей раз проблемой про плюмбум, вот ему — Лауреата, и книга его — цельность-ценность на сей день, во

всех смыслах. А те книги, кровинец, которые ты купил пупея в очередях, на последнюю пейку, их тоже используют: сдавай в спец-киоск для макулатур и за — получай в обмен чашку с нарисованной на ней эмблемой Столицы, ведь чашек у нас нет.

Ночью, не очень-то опасаясь, потому что дождичек лил ливня, но с ножами за щекой, диссиденты прокрадываются в Летейский сад и режут ножами 27 статуй идальянского происхождения, утверждая, что статуи, теперешние, кровинские из ангара авангарда — и есть наши произведения искусства, а в Летейском саду — иностранщина, мишура, нет в тех статуях борьбы за права примата. На месте мрамора оголенных мерзостей божественных телес они ставят свои поп-арт вертушки от полицейских машин и сталевара с башмаком на башке и с хлуем между ног, — не до академизма, — символ силы Кодекса и символ секса тех, кто в труде с героизмом. Бунт!

Той же ночью, не очень-то опасаясь, хоть луна уж и ухнулась в дождик, диссиденты карабкаются на стену Пропадловской крепости и пишут несмываемой краской такую фразу:

— Столица — тюрьма для диссидента!

Утром, осматривая стену Пропадловской крепости, Милюта Скорлупко обнаруживает фразу и телефонирует в инстанции: смывать несмываемую фразу или же искать тех, чей текст.

— Смывать нечестно, — отвечают. — Диссиденты живописи сами храбро и правдиво написали: тюрьма. Взять их.

Вечером у Пропадловской крепости состоится деменстрация протеста. Протестуют двое: диссидент Этья со своим символом, живым черным лебедем из Пруда и Милюта Скорлупко, инстант от жандармерии — с белым лебедем. Они стоят друг у друга, обменяются диаметрально противоположной идеологией, посвистят с сигареткой и пойдут пить бормотуху к Центральному Штабу Инстантов, — на суд подсудимых.

Суд состоится по Кодексу: издеваются над спец-мрамором в целях подрыва международного авторитета Столицы и распространяют клеветнические лозунги в целях дискредитации обществ обещаний — ЗОЛОТОГО ЛОЗУНГА.

Диссиденты признаются, что виноваты не они, они — лишь слепые орудья дьявольской цели Этьи — Председателя цирка борьбы за права примата. Это он адресировал черного лебеда, и тот разрезал ножами статуи идальянцев и написал клювом о тюрьме.

— Что ж Вы, Этья, признавайтесь! Вы ж уж сидели в тюрьме энность лет, тогда Вы дрессировали детей и юношей, чтоб в своих мыслях они лелеяли месть, что мы им не даем мармеладку. Мармеладок у нас нет, мы им даем кекс с хреном, успокаиваемся, и вот Вам сейчас — исполняют служб инстанта. Что ж Вы, Этья,

опять дрессируете — птицу? Хотится опять туда же, в трюм? Где списки приматов, охваченных завистью к идаальянским скульптурам?

Этья испугается, тут же напишет списки в 500 людей, кровинцев, преступно вставших на путь дрессировки черного лебедя. Он выступит по телевизору для всей Столицы и, естественно же, для «Логоса Хамерики», где во всеуслышанье будет повествовать, что дрессировка черных лебедей с любой целью — преступление в мире экологии и что он заблуждается, думая, что это — борьба. Нет, бороться нужно с диссидентами, такими, как он и те, кто с ним, в списке.

Этья публично забудет черного лебедя на телеэкране, съест с инстантами, и его простят, а списки, выданные для секрета — их посадят в трюмы, для дальнейшей борьбы. Председателем цирка борьбы за права примата выберут майора Милюту Скорлупко, ведь он пил с Этьей. А Этью отпустят с пожизненной песней про пенсию — за правду вместо лжи, за то, что Блудный Сын стал обоюдным сыном общества обещаний. А белого лебедя посадят на телеэкране с ветвью оливы и будут рукоплескать ему, мироносу.

О Суда Суда!

300

О Сад Сад!

Тайнопись, почему не я написал «Зверинец»?
Тысячелетья не те.

А Вас, Велемир, за давностью, не издадут.

Я процитирую, что Велемир о Зверинце. Я не цитировал бы, но кому Вас читать, Велемир, как не мне?

«Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку».

Т. е. железо решеток Зверинца защищает зверей от людей, а людей от зверей. Все мы братья.

Мой ответ, рифма в рифму:

«Где же лезут с патроном? О суй непонимающий блятве, она и вправду не понимает, что блятвь, — осатаневающие карабинеры свастик!»

Что ей поделать? Кровь проливать? Как легко бы клыком, львица последняя, у тела тебя и цвет и талант негритосы, вот и лежит в клетке, задницей к зрителю, каждая кожица дышит для жизни, вот и суют: кто патрон от карабина Б-3, кто кочерыжку

капуст, кто кактус-тустеп, кто циркуль, кто винт от сверхскоростного бомбардировщика.

В царстве цепей не спасет льва ни клетка, ни телка.

Был в клетке Лев Маймун. К нему впускают львицу для ласк, негритянского цвета. Лев ее и любил. Почему не любить льву — львицу? И вот льва для семьи, для негритосы — нет. Был, да был убит.

Лев, как помнится, в книге «Летучий Голландец» питался лишь малосольными огурцами. Но малосольных огурцов в Столице нет.

Взял Маймун в зубы свой клык колыбельный, взял в кисть-пять прутья тюрьмы, клетку порвал и ушел. Искать малосольный огурец.

Что ему есть? — кровинцы ему не по вкусу.

Он далеко не ушел, хоть имел далеко идущий опыт: сесть на корабль «Летучий Голландец» и убраться морями в пески, в скалы. Лев — пустынный!

Умный зверь, но не знал. Читали «Летучий Голландец», для кровинцев съя — запрещенная книга. Как мог знать, что поймают таинственный корабль, отведут под уздцы в гнусную гавань, для ресторана. Взяли, отвели, переименовали. Теперь это ресторан «Кровинг». На воде. В пятнадцати метрах от ЗОО, напротив дворца Верховного Инстанта, он им любитесь. А на палубе, да и в трюмах, на корме, в каютах — ни перышка от парусов, переоборудован под ресторан, повторяю, — пьют инстанты свой соус и жрут жеребятину!

Сколько жандармов на льва, — сколько цепей? Цепи в Столице найдутся, повсюду в гастрономах галантерей. Лев зарезал жандармов. Есть их, признаться, не съел, но съел их ремни, башмаки и уши, — из кожи хрящи.

За то, что зарезал — был оправдан: зверь людей режет по призванью. А у нас очень относятся к призванью, — режь, лишь бы не из лжи, а по правде. Но... ремни, башмаки, уши — убыток. За этот убыток и был убит.

Есть Площадь Расстрелов. Перестали цепляться цепями, сделали сзади спецкол медицины, уснул и расстреляли в ухо во сне у Колонны. А в дацзыбао нам объяснили: все же сей Лев Маймун — из запрещеннейшей книги, опаснейший диссидент. Но тебе объясню я, автор: диссидентом лев не был, он хотел лишь в пустыню, а пустынь у нас нет, всюду у нас — цветущий ЗООСАД!

Львица осталась у очага.

Клыки у нее, как нули — кость кусает. Лежит задницей к зрителю, хоть бы фиговый листик, — вот и суют. Персонал озабочен: м. б. предвидятся у нея родовые схватки?

Песнь парусам, юность на мачтах, лучше полегче с «Летучим Голландцем»! Ты в ЗООСАДЕ, пей флакон, думай о формул фигур! Чтой тебе юность, ты, умность? Нет нас, матросов и геометров. За четырнадцать лет кто на каторге, кто и в когортах алкоголя, кто в залах иллюзий, кто уехал туда не знаю куда, кто, как сибарит — в самоубийство!

Я процитирую:

«Где орлы подобны вечности, оконченной сегодняшним, ещe лишенным вечера днем... Где орлы падают с высоких насестов, как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий».

Я отвечу.

О вечности.

Блок был болен. В припадке панмонголизма он ведь тоже ответил, попирая глаголом всех, кто не МЫ:

— Для Вас — века, для нас — единый час!

Что он подразумевал? Дух? Да нам бы хоть воз — дух! Деянье? Да нам бы даянье!

Это МЫ — вечны в абсцессах абсурда, те же, кто не мы — часовщики: тикают жизнью, жужжат, шалят, целуют, пляшут и не пишут... а мы пишем и пьем флакон! Чей лучик, чем лучше? Об орлах.

В ЗОО есть Орел. Один. «Птицы слетаются в стаи, Орел живет один» (Книга Царств!)

Орел живет в клетке для попугая, который издох, потому что с ним никто не разговаривал из опасений: жандарм-медицин ходит с ухом по ЗОО, приверженец клятв Гиппократa, попросит кровинца:

— Покажите язык!

Тот, кто... высунет, как сумасшедший, язык, а язык — розов, здоров!

— Ты не пьешь бормотуху! — воскликнет мой медицин. — Если б ты пил, ты б не трепался, как диссидент, с попугаем, ты бормотал бы, кровинец, тексты инстанта для деменстраций...

Машина с красным крестиком на лбу, вервье на выю и — в псих-больницу!

Где уж попугаяю понять машинизацию с красным крестиком на лбу? Если б он понял, простил бы и жил. Но вот: от неразговорчивости подох.

А Орла переместили: он падал оттуда, со скалы, как кумир, от голодания, а метеорологи протестовали: дезориентир, землетрясений у нас нет, а орел падает. Ишь ты, кумир лженауки о земной коре!

В клетке для попугая Орел остервенел: смотрит на людство

насмерть, у Орла есть глаза, он всевидящ, Космонавт сверхскоростей — в клетке для попугая!

Вселенский медиум, с ним показывают фокус:

над клеткой повесили часы НТР; смотрит Орел на часы — часы идут и указывают межпланетное время с точностью абсолюта. Орел отвернется — часы останавливаются. Посмотрит — пойдут!

Сья деменстрауация уникама — Орла, не имела успеха. У клетки никто не стоит, все боятся: лютость орльего глаза на людство, клюв, как у Феникс: утром ударит, вздрогнет Столица, реки, как вздумается, выйдут из туннелей гранита, а Ковчег еще не построен!

Всё строят и строят Ковчег струители наших надежд, а Ноя все ищут и ищут: как бы его возвратить в Столицу с первых страниц библейского текста? Злословят: могли б возвратить диссиденты! Чушь! Диссидентам самим нет возврата, да и религии у нас нет, ни для нас, ни для Ноя.

Вот ведь как: религии у нас нет, а Ной — нам насущен. Как бы мы с ветерком поплыли вперед, — пой, кровинец, брат бурь!

«Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и открываю в нем спрятавшегося монгола».

Это открытье — обнадеживающее.

Взрезали ножницами для ногтей брюхо медведю Малайи — эффект превзошел все ожидания! Ожидается: взрежут брюхо, выйдут монголы опять для ига, выйдут, а ведь они идентичны кидайцам в Энциклопедьи, их всех расстреляют и сожгут напалом, вот и войны с Кидаем не будет!

Есть цель, есть цепь: привезли медведя на площадь Расстрелов, положили связанного у Колонны, поставили танки, артиллерию, огнеметы. Взрезали брюхо, наконец-то!

Что в брюхе? Искали, как в лихорадке, и доискались: в брюхе что ни на есть дактилоскопический матьморализм, а кратче: анатомия медведя. Монгола не было. Ни одного.

Изданье пророчеств Велемира отставили еще на тысячелетье. Какой же Поэт, если в контексте он — лжец? Может быть, взять и продать за валют его запрещенные книги радиостанции «Логос Хамерики»? Там ложь любят.

Но призадумаемся: ведь Велемир имел титул «Председатель Земного Шара», может быть, сей случай с медведем Малайским — описка, может быть, Вы, Велемир, в другой строчке откроете всю тайну про войну с Кидаем? Да и как продавать на валют «Логосу Хамерики» «Председателя Земного Шара»? Они живо присвоят себе этот титул, потом и в ООН не расхлебаются!

С продажей повременим. «Эй, — поторапливайся!» — нас не украшает. Ум у многих — вот что нас украшает!

Медведя из Малайи в ЗОО нет, пал у Колонны. Есть медведь Камчатский. Сидит на цементе, за прутьями из стали, в сакра-ментах, в луже мочи, заблеванный, мечтатель, — как все мы. Медведь Камчатский, посвященный поэту Арине. Я не цитирую стихотворенье «Тоска по Родине», — прочитайте, Арина повесилась здесь. Могилу ее никто не искал, потому что никто не нашел.

Полюбилось инстантам ее стихотворенье, написанное в эми-грации, во Вральции. Как тосковала Арина по Столице! Увидит куст, помрачится ум. Интересно отметить: не чей-то ничейный куст, не дай Бог куст Моисея, горящий от яурейства, нет, у нее развивалась, обостряясь, тоска по единственному — кусту рябины! Нашей, кровинской! Был тогда такой куст в ЗОО... И еще сравнивала себя Арина с Камчатским медведем без льдины. Естественно, сойдешь с ума с тоски — где ж во Вральции льдина? Ни куста рябины, ни льдины, ни Камчатского медведя вокруг, — такая тоска была у нее!

Тоска прошла сразу же, как только Арина возвратилась на Родину. Как только Арина повесилась у нас, — тоску как рукой сняло!

Но мы: люби книгу, будь книголюбом!

Но мы реабилитировали Арину, издавать не издается, но строки ее зафиксировали: посадили в клетку любимца ее медведя с Камчатки, а льдину ему и не дали, исполняются последние просьбы Поэта: без льдины — так без льдины. А куст рябины — пожалуйста, вот он стоит, чудесный, у клетки! Тот, о котором Арина писала, да и получше, поразвесистей, с кистями! Сами посадили, дети стараются в ботанике.

Медведя же и вспарывать не стали: на его развернутых ступнях, как у балерины, ясно, с пунктуацией прорисовывается дактилоскопический матъморализм. Над клеткой табличка: «Зверя не кормить. На диете». Рыбы нет в Столице, а медведь без льдины питается лишь рыбой. Но дети, ботаники, самые великодушные существа, подкармливают любимца: бросают ему булавки, гайки, бутылочки из-под чернил, стальные перья, рейсфедеры, — и все это обливается рыбьим жиром, чтоб медведь полакомился. А медведь? — загребает лапой, съедает, кивая! Кивая с благодарностью, а м. б. потому что его рвет — от перекорма вку-сностями с рыбьим жиром! Даже ненаблюдающему заметно, как после порций развернутые ступни медведя очеловечиваются, принимают форму большого умного кровинца, судорожно сжимаясь и разжимаясь, если вот-вот рвота, как после двух-трех бутылей бормотух!

Больше я не цитирую Вас, Велемир.

Новая эра, — страница моя — к новой зверя стремится.
Скажем, Сокола нет в ЗОО.

Сокола у нас вообще-то нет, подразумевается, что и не был.
Я не птицелов.

О смелый сокол, в борьбе с руками любителей охраны Красной Книги — истек ты кровью. Но в наше время капли крови твоей горячей как искры вспыхнут в мороке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жадной свободой, света!

В Столице свободы-света — хоть отбавляй. Но есть еще такие у нас летающие сами по себе системы, которые дают свободу всем и освещают вся. В самой мирной борьбе за мир во всем мире, мы, как Сокол, пожертвуем собой, но дадим такую свободу и столько света, что даже незрячие народы и государства ослепнут от нашего освещения!

А те, кто останутся в живых, поблагодарят.

Сейчас нет еще нормализации человечества. Существуют, к примеру, страны, где рост людей 37,5 м и люди — ходят, как ни в чем не бывало, как будто так и бывает.

Варварство: несоответствие роста человека и окружающей его среды животных и растений. Эти люди так несчастны из-за роста, что ходят, шатаясь от гравитации, а не от бормотухи. «Шатаюсь от гравитации» — это клевета лже-наук Запада. Мы знаем правду: они шатаются от голода. Как им съесть куриное яйцо? Да это моё одно яйцо для них, из холодильника, — меньше, чем муравьиное, им бы 3500 яиц, чтоб заменить моё ненормальное, одно. На обед им нужна не куриная ножка, обглоданная до меня в Эллипсеевском Гастрономе — им не меньше 350 настоящих кур, с потрохами. Теленок для них — тараканчик. Пшеничная мука — как с моего подоконника пять планет.

Мы стремимся к соответствию во всем, для всех. И мы ответственно введем повсюду свои освещающие системы свободы-света. Для нормализации. Рост кровинца — вот рост кормильца! Мера Мира!

ТЕЗА О ЛЮБВИ. СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ НОВЕЛЛА

Моя ирония ранима, а эта песнь — печаль... Уж лучше б плач!

Несский проспект, Дворец N 17, где во дворе Фонтан и два сфинкса, был бы мой, но не мой, там живут молодожены по пропускам: инстант-идолог Столицы Мидерей Димоградович Прядвинцев и Наталья Зидоровна Сыроежкина. Он не юн, она юна.

Фонтан спустили в реку Фанданго для освеживания вод для раба-рыбаря, сфинксов поставили в Галерею Дворца Расстрелов, чтобы все их видели; всем для воспитания.

Поженившись, как все мы, пожизненной свадьбой, новый инстант-идолог Столицы с любовью занимался нами, кровинцами, жертвуя нам свой актив Антиквария: вот — выпустил антиквариатную воду из фонтана, вот — мы полюбуемся, какие есть на свете сфинксы. О себе, нет у нас эгоизма, мы украшаем жизнь жен. Мидерей Димоградович Прядвинцев был прям, он так и сказал: там (?) — угрешают жизнь жен, у нас (?) — украшают. Кому возразится? Правдив он был, инстант-идолог, — донельзя.

Нетерпеливец — он: кто ни получит чин вверху, тут же полигамия, подхалимаж, вешает звезду на пуп, чтоб прославиться, а Мидерей Димоградович Прядвинцев тут же взял лишь одну жену, да и то помладше, и плевать-то не в кого, оказывается, а вместо звезды он повесил над крыльцом из колонн Золотой Лозунг. Начиная письма съей рукописи, я и не заметил, что у кровинцев такая цель, не запомнится мне, что у них есть в судьбе мишень и они стреляют в нее, пока без попаданья, но тренируются с храбростью: Золотой Лозунг! Почему бы это? Куда ни глянь в глаз — повсюду лозунг и лозунг, художники уж никак не скупят: на всех веревках для белья висят лозунги, и пишут на них тот, кто хочет и кто о чем. Но и куда ни встань: хоть в очередь к Саркофагу, хоть в кассу за боеголовкой для ракет межконтинентального действия, — всюду шепчутся: ничего, у нас временные трудности с художественными красками, вот придет инстант-идолог Мидерей Димоградович Прядвинцев, он повесит на своем дворце настоящий Золотой Лозунг, к нему-то мы и стремимся для себя, для детей, для внуков и для всего людства, которое еще спит в Земном Шаре, в недрах невежеств.

Я стеснялся: как спросить, что это за Золотой Лозунг. Если уж не отвечают, кто это на реанимацьи, в велосипедной кепочке, уж не Цой-Дан-Балл ли? — а отворачиваются, как будто их никто не спрашивает, то как спросить о Золотом Лозунге, о котором с такой надеждой шепчутся на лестницах с фонариком, то включая, то выключая. Все шепчутся! Вот придет новый инстант-идолог Столицы, он-то и...

Вот: пришел. Повесил над крыльцом из колонн на Несском проспекте Дворец №17. Никто не пошел посмотреть, боялись, что сразу же — стресс! Я шагаю шагами по предписаньям физиологии, если пьешь флакон Красная Москва, я зашагнул и во двор Дворца №17. Конный конвой пропустит меня в любой скворешник, без спец-пропуска, как-то мне становится не по себе: лишь увидят меня, тут же бросаются к кнопке электропульты: пропустить, не глядя!

Вот вращаются ворота, открываются, я вхожу: фонтан не работает, сфинксов нет и не вспоминаются, это я и так в курсе. Над крыльцом из колонн висит красный медицинский бинт, а на нем белилами-блевилами: «Да здравствует Иван Павлович Басманов, — ум, честь и совесть нашей эпохи!»

Конвоир, генерал с лампасом, стоит с конями, держась за стремя, подмигивая мне, как полагается. Я осмотрелся и с горестью сплюнул. В пустой фонтан.

— Это и есть Золотой Лозунг? — спросил я с гадливостью. — Снимайте, семиты, эту хавайню, или же я застрелю вас поодиночке!

Генерал Костик Глямов, мой сокурсник по факультету математики, приставил палец к губе:

— Это прототип, Иван Павлович, это, т. ск. — предвестье того, Золотого.

— А что на нем будет написано, — спросил я в лоб, не стесняясь, еще бы мне генерала Костика Глямова стесняться! — Чья фамилия будет на Золотом?

Никто не знал.

Я так и знал, что никто не знает. На кой хлуй я зашагнул во Дворец?

Но я ушел, а бинт все-таки сняли. Вместо бинта украсили фасад Дворца инструментами из арсенала символизма: зубила, плоскогубцы, молотки, экскаваторы, сенокосилки, лопаты тех, кто хлебает хлябь, их орала, а также «Боинги» с вертящимися винтами для вентиляцы.

Оставим отступление. Пройдет чудный час, перелистается знось страниц из календ, в воздухе запахнет ландыш волшебств, — все на месте, все невесте, а уж и жене: тебе, Наталья Зидоровна Сыроежкина! Ведь эта песнь печальней, чем плач!

Наталья Зидоровна Сыроежкина была любима: на лбу ее цвел венец девственности, а попроче — прыщ. Волосы с нее свисали, как нарубленное сало, соленое. Анкета: шедевр графики. Таких принимают в Университет им. св. Иу. Жамбова без всяких спец-списков из инстантов, по проценту: из провинцы.

Она эмигрировала из провинцы в Столицу. В провинцы вот как: голод и водка, в такой ситуацы все друг к другу тянутся: по-ул-ыбаться бы! Молчалница, не зацелованная в местах общего пользования, она училась на философском факультете, снимая комнату-кроватьку для сна. У старушки-погремушки.

За недопустимость к себе в студенческой семье дразнят, ее — тоже, так:

— Ну-ка, съешь-ка Сыроежку!

- Ну-ка, срежь-ка Сыроежку!
- Ну-ка — на-ка! Ну-ка — на кол!

Подразнят — позабудут. Ни кольца у нее, ни дворца.

Но, как говорится, не смейся, сокурсник, отплачься от слез и свисти к нам на свадьбу!

— Уж не со старушкой ли, погремушкой?

— Ах, стерва, ишь как! Какую красотку накаркал?

— Я заболел! Я заблевал! Язва, болван!

— Придите — пройдет! — сказал Мидерей Димоградович Прядвинцев, тогда еще инстант-идолог факультета философии.

Пришли. И прошло.

Ведь прошло пять лет. Студенты-философы пили пив-бар, курили фильтр из коры диамата, гладили юбки под стойкой у девиц с девизом, — как утюгами! А тем не менее, Сыроежка изменяется, метаморфозы у девственниц — не новость. Дактилоскопический матъморализм пошел ей на пользу: где уж тут сирота! Лицо, правда, как и было, в кувалдах, грудь — уж в изумрудах, а на двух ногах — два башмака!

Свадебный стол внес ясность. Студенты ели студень из вермишелей, манжеты, провернутые на мясорубке старушкой-погремушкой, которая стала уже кухаркой и управляла этим государством стола, манжеты — Боже мой! — блюманже, вот-вот оторванные у иностранцев в Эллипсеевском Гастрономе. Их подают на блюде с йодоформом!

Уходя, студенты со смертельной завистью глядят: во дворе машина под зонтом, броня черна, а пуленепроницаемые стекла — быстры!

Урок тебе, урод: женитьба на девственнице с философского факультета дает инстанту факультета чистый чин: инстант-идолог Столицы, Дворец N 17, фонтан во дворе, двух сфинксов на крыльце и машину для мужчин, а не для сопляков, ничего не дающих обществу обещаний, кроме шпаргалок, пив-бар и утюга под стойкой. Уж лучше учиться на продавца дынь. Дынь у нас нет, но продавцы есть.

Скоро сказка сказывается, еще быстрее с каской скатывается.

Муж Мидерей надел каску инстанта-идолога, стал ездить от Съезда к Съезду. Медовый месяц был мил, но наступают и месяца отсутствий. Ребенок — не рыбка в биосфере, а итог атомномолекулярной теории. Они хотели дитя, но дитя не хотело выпрыгивать из чрева в обществе обещаний, слишком мало времени посвящается у инстанта деторождению, его страсть струится для наших надежд.

Медовый месяц снял с Натальни венец девственности, волосы

восстановили свой шелк первородства, жена расцвела от рас-
тленья по Кодексу, как все жены у мужей из инстантов.

Жили они так, что жаль: почему я, со своим пронизательным
умом и пером, не увиделся с Натальней Сыроежкиной в Уни-
верситете? Теперь я видел ее на пляже у Пропадовской кре-
пости: купались они, и как! — в пляжных костюмах! — как
супер-стар космонавт средних лет и стюардесса ЮНЕСКО! Мы
знаем, в какой час молодожены ходят в море им. св. Бельта и
вся Столица ходит посмотреть: как ходят! Мы стоим и смотрим,
как египтяне, в профиль, стыдимся своих тусклых тел, а кто эти,
милые, из мифологий? — термин к их телам неприменим! За-
висть? — но зависть к молодоженам — не новость, а факт
преходящий.

Ему 44, ей 22. Цитирую цифры, но не в них знак зла.
Машинка машет клавишей: в перьях — вперед! Наталья — на-
тельна, дай ей дитя, она умна: пока дитя вырастает, Наталья
состарится. Не к тому я, не из маньи измен, не смеюсь: двое
любят с молодостью, третий пишет, трепещется ему: как бы не
промахнуться. Не промахнутся на сей раз: люди не меняются,
если уж любят. Измен у нас нет из метода правд. Никто не
изменит из женщин, никто не солжет мужчине, если уж жена
и муж. Изменить — значит предать, а мы не предатели правд.
Предать правду — значит солгать, а ложь хуже, чем правда. Кто
ж ищет себе там, где хуже. Лучше уж — лучше. Так что пара
моя — вне пера о блуде. Где двое любят, там будет и люлька.
Но вот пока что: все было у Мидерея и Натальни, лишь дитя
не было. Даже колыбель для кошки была!

Ничего нам, не отчаиваемся. Купим собаку с рек Бабилонских,
повесим свои арфы на вербы и грустить не надо: ветерек за-
вертится — потом и потомок даст отдых отцовству! Любить —
лепить эмбрионы себя, как это нам любимо! А уж там-то сни-
маются арфы с ветвей, выпускается в небо Столицы держабль
для святого союза, — не денется! А пока насаждайте друг другу
любовь без конца, наслаждайте свой жизненный путь!

Купили собаку!

Немецкая овчарка, Дунг, редчайшей красоты, цвет золота, что
ни волосок — чистый, золотой!

Хозяин отсутствует в Съездах, диво-Наталья ходит с диво-
Дунгом по Эллипсеевскому Гастроному, не смотря на юнош и
мужчин. Всякого возраста у нас есть юноши и мужчины, при-
глядываются с остервененьем ко всякой, а Натальне — хоть бы
хны. У нее муж инстант-идолог Столицы, она — жена со псом-
златоцветом для охраны! Что ей посторонняя похоть!

И на пляж — со псом. Подойдя-ка познакомиться — тут же
отказ, откусит! С Дунгом не шутят, отрепетирован для ролей —

как хватают за горло, если приласкаются с лаской к Хозяйке. Никто и не прикасался. На ее счет не было недоуменья: если уж существует Дворец № 17, где живет инстант-идолог с женой из юниц, то существует конвой во Дворце, и спец-конвой в пляжных костюмах. Никто не наврет, у нас-то все наоборот, потому-то мы и гордимся, что в Столице есть хоть эти двое: любят, несмотря на мораль!

Нам похвастаться мерой морали — никак: наши семьи были большими, мы пересчитывали брюали, хоть и жизнь-то у нас в сущности бесплатная, как у Платона в Академии, лишь ходи туда-сюда, как я, к примеру, хожу; так же и наши жены ходят к морю им. св. Бельта, в сосны, тайком, чтоб повращаться без нас в кругу наших друзей, пока мы холим холодильник, в котором яйцо, одно; а у них — молнии в майках, штормы в шортах, сосны свистят от бессонниц! Ревность ревет, кровь кидается в лоб, нет-нет — взрывается корабль наших надежд на свой дом, свой сад, желанную жену!

Пройдет три года наших трагедий. Жизнь оживляется: обменяемся семьями, дом на дом, сад на сад, даем ей, новой, дитя, животворящие, а потихоньку молимся в уголке с угольком, с револьвером: хоть бы еще три года до следующего обмена, стареется ведь, а никто не старается видеть наш уголок, наш уголок и серебряную пульку в револьвере, последнюю, оставленную себе в семье.

Я был на суде.

Да и не суд, кто не придет на такой ошеломляющий процесс? Все придут. Все там будут. Пришли, были.

Инстант-идолог Столицы Мидерей Димоградович Прядвинцев, ему слезу, ему же и слово, мужу:

— Я езжу со Съезда на Съезд из месяца в месяц. Я приезжаю, и Наталья Зидоровна остается неудовлетворенной. Так она говорит, жена. Мне сказали: посоветуйтесь, есть инстанция медицины. Посоветовался: если я месяц за месяцем не имею женщин, что же естественней, чем у меня: неделями после Съездов любой муж отличается быстротой страсти, но не длительностью ж ее. Муж доводит жену до испуга своей быстротой, но помочь ей почувствовать силу — не в силах. Нужно сократить сроки от Съезда к Съезду, — ночь нормализуется. Вы с жалобой, а вы пожалейте ее: она испугана, а вы уже спите, как спринтер. Благодарите судьбу за жену, нам докладывают, как и про всех: нет пятна на ней. Извиняйтесь же и изменяйтесь. — Я не извинюсь и не изменюсь.

— Почему же?

— Не в моей компетенции сократить сроки от Съезда к Съезду. Они отменяются не мной. Я не карьерист, но нас 250 млн. Дать всем Золотой Лозунг — вот мой долг. Общество обе-

щаний — вот что воочью, а дитя — деталь, я же — для идеологий, а идеология — прогресс для всех пресс.

— По поводу последнего афоризма вся пресса, поверьте, даст вам телеграмму приветствия. Но не отговариваетесь ли вы от любви? У вас есть другая? Одумайтесь: второй любви не встречается.

— У меня нет ни другой, ни второй. Я требую развода по антагонизму темперамента. Я слишком люблю служенье, а ее претензии — лишь процент хлюя.

— Не ругайтесь, пожалуйста, вы не в Хамерике. Вам сказал медицины: явление временное. От Съезда к Съезду пойдут вам навстречу, срок вам сократится, а семья сомкнется.

— Если срок мой сократится, мне придется уйти из инстанта в Эллипсеевский Гастроном, брэнчать бараниной. Я объяснял вам объяснимо: раз я тут — развод. Теперь я понимаю, что кто-то меня подменяет уже за моей спиной, подсаживается ко Дворцу № 17. Но клянусь: он не станет пуленепроницаемым. Я говорил по существу, теперь отвечаю аргумент. Пусть скажет свидетель. Вот он, но вы в ответе, те, кто инстант поменьше, я ему язык преуменьшу. Пусть скажет свидетель, говоряй, не скрывайся, скромница, моя милая старушка-погремушка, ты — как-никак — кухарка из государства!

Старушка-погремушка!

— В последний раз он пришел со Съезда на несколько дней прежде. Он пришвартовал машину в Адмиралтействе. А сюда пришел как инкогнито — на ногах! Он протелефонировал мне, а я ждала за воротами, на мосту Двух Драконов, на реке Морге. Он приказал: иди за мной, как свидетель и смотри. Был октябрь, слякоть, нет луны, хозяин вырвал из набережной фонарь, чтоб виднее. У дворцовой решетки Дворца № 17 он фонарь погасил и выбросил в лужу. Он вынул флакончик мази, и мы намазали морды, чтоб пес не учуял, лай спугнул бы замысел. Я растерялась: как же мы войдем, там конвой. Он сказал, что в железной ограде кто не сумеет высверлить вход для людей, инструмент с собой. Он высверлил вход, как предписывается инструкцией для использования инструмента, без шума. Замок в дверях во Дворце № 17 — не тайна. Мы вошли в спальню и увидели: спальня со вкусом, вкус у нас есть. На полу ковер из Восточных провинций, с узором из роз. На окне портьера из перламутра. В правом углу спальни бар, в нем ключа нет, но и бутылка там нет, у нас никто не пьет. Посреди спальни — большущая кровать под балдахином. Ножки кровати мы ставим в большие чаши с водой. От клопа. Клоп прыгает с потолка на балдахин, скатывается, срывается на пол. Клоп считает: успех, спортивный азартом клоп со смелостью ползет к ножкам кровати, а ножки-то в чашах! Клоп ползет по чаше, а в ней — вода! Хорошо клопу: напьется

воды, взбодрится и ползет по краю чаши, чтобы найти переход к ножке кровати. Плавать клоп не умеет, в воду бросаться не идиот, вот и ползает, как дефективный, по чаше, вкруговую, всю ночь, а с зарей уходит в голоде и яростный. Это — древнейший метод борьбы с клопом, но он был доступен лишь Папе Римскому и Императрицам, сейчас же, в силу всеобщей грамотности, потому, что все больше и больше столяров-краснодеревщиков по изготовленью кровати, такой метод доступен и инстантам-идологам, но со временем он станет насущен и для нас...

— Подумай, подлюга: ты свидетельствуешь о преступлень, оно плачевное. Так, кажется, начинается наша новелла. О клопах же мы и так читаем, не начитаемся. Свистай по существу!

— По существу. Ни о каком преступлень новелл — нет. Кровать была расстелена мной, никем не оспаривается?.. Простыни отличаются дороговизной — мной покупаются. И белизной, — кем же стирается, как не мной? На простынях лежит юность, на теле ее никаких примет, лишь юность, мне-то многократно было присматриваться к ней, красавица, никаких примет, никаких одежд, чья же Хозяйка, не моя ль — Наталья Зидоровна Сыроежкина! Да я ее обсмотрела еще в той комнатке-кроватьке!

— И все? Идай-ка ты, старица, в идейку! Суд — сыт, сука!

— Сука, на ней лежал пес!

Судья встал, как сталь. Еще миг — и он убил бы старушку-погремушку пресс-папье для пресс-конференций. Занимательный механизм: с часовой пружиной. Во время боя в конференц-зале такое пресс-папье с успехом заменяет танк.

— Я тебе сказал, сука, потому что ты язвкательная сука и есть, но я на тебе, суке, не лежал, я — пес, ишь отпарировала! — взгремел Судья.

Поди ж в падеж, поди ж ты в падеж, — не подействует. Старушка продолжается:

— На ней лежал пес Дунг. С золотой шерстью. На Натальне Зидоровне Сыроежкиной-Прядвинцевой. Он вылизывал ей сосцы красным языком, с языка у Дунга капала слюна.

Судья снял сталь, взялся за стул:

— Пес Дунг лишь лежал и лизал, или ...еще?

— Да. Делал. Делал хлуем. Уж лучше б делал муж, Мидерей Димоградович Прядвинцев! Но лучше он не умеет, как видится.

— А она? Что она? Боролась?

— Боролась. Как любая баба, если объята, а в жилах желанья! На ее месте мне бы уже не побороться, страсть не та — климакс! — старушка сокрушается.

— Вы свободны! Сводня! Все!

— Я не сводня и не все. Да, я посоветовала ей пса, но Дунг

дал ей долг, совесть моя чиста. Не все: я подтверждаю невиновность инстанта-идолога Столицы, Мидерея Димоградовича Прядвинцева, — пусть разведется. Так не поступают с псами.

— Еще что-то?

— Мидерей Димоградович стоял, как на смотринах. Да. Стоит и смотрит на жену и на Дунга и на часы.

— Щекотливая щука ты. Еще?

— Еще это продолжалось 42 минуты. Могло бы быть и дольше.

— Что ж — помехой?

— Насмотрелся. Сказал Дунгу: выйди вон! Дунг вышел. Мне сказал: выйди вон, во второй этаж, пиши расписку с печатью для суда. Если Мидерей Димоградович выйдет через 42 минуты, эта сцена забывается и расписка сжигается в камине. Но идолог вышел через 4 минуты, выбежал, как вихрь, на копытах, как вепрь. Он выл, как вол!

— Что он кричал?

— Он воплял на международном языке, я не в курсе, у меня свой, кровинский. Я поняла лишь, что он не сократит сроки от Съезда к Съезду. Что у этой женщины нет чуткости к человеку, а есть предпочтенье к псу. У нее ненормальная психика. Добавлю от себя: у нее психика нормальная, у него хлуй холодный. Кто же кидается на юную жену Натальню Зидоровну с холодным хлуем!

— Вы увели Дунга в общество охраны животных? Все ж у кровинца Прядвинцева был стресс, мало ли что могло бы?

— Не могло бы, а вот что. Пес ушел к фонтану и уснул в саду. Мидерей прокрался в сад к фонтану, с фонариком, с рюмкой ртути.

— Лжепоказанья! Говорите правду! Ртути у нас нет!

— Он разбил семь термометров, вылил из них ртуть и прокрался. Дунг спит, отдыхая. На шаг он не залаял, все ж хозяин идет. Повел ухом, приветствуя, и почему бы не спать, устает и собака, если у нее страсть. Инстант-идолог Столицы Мидерей Димоградович Прядвинцев завернул ухо Дунгу и влил в ухо ртуть. Я видела со второго этажа, при луне-то как не видеть! Дунг подергался и издох. Утром Мидерей огорчился, разбивая ложечкой яйцо всмятку: бедный Дунг, жаль собачку, сдохла от неестественной ямбли, паралич сердца от излишеств. Стой, сударь-судья! Не свети мне в глаз грусть. Это сейчас у меня глаз старушечий, а ведь когда родился ваш род, мне было 17. Я играла Офелию, ты, фалл Кодекса! Я помню эту сцену в саду, когда Клавдий прокрадывается к фонтану, где спит его брат Гамлет-старший и отворачивает ему ухо и вливает в ухо ртуть. Гамлет дергается, и смерть. Я сказала тогда: о нет! так нельзя! Мы свой, с миногой мир построим, без Клавдия, без ртути. Воз пряников — в рот людской! И пошло по-новому:

ртуть мы не применяем, действуя удавкой. И что ж! Что ж мы повторяемся, что ж у беса нет ошибок? Отставленный король от кроватей нео-Клавдий пробирается к законному псу и вливает ему в ухо ртуть, чтобы занять его место на троне! Где тренаж телес?!

— Судить погремуху! Казнь кухарке! — вскричал инстант-идолог. — Я хотел, чтоб она сказала о гнусном поведении жены для развода, а она морализует в духе «Логоса Хамерики», она — агент моралите!

— Я не погремуха и не кухарка. Я Омелия Болоньевна Жерементьева, актриса рода до знака 17. Тебе развод не позволяется, сквозняк Съездов. Развод для инстанта-идолога — исход из номенклатуры, в лучшем случае ушлиют консулом в Кидай. Суд распускается, кровинцы! Я все наговорила в состоянье аффекта! Мне 80 лет, потеря памяти, галлюцинация о прежней роли. Стала рюшка в погребке мушка! Я же кухарка, я же — как харкну! О ивушка-ива!

Старушку-погремушку не увезли в псих-больницу, из-за гуманизма к возрасту, но то, что она — вот как — зафиксирована.

Натальне Зидоровне Сыроежкиной не дали визу в Москву, а больше заграниц у нас нет. Не дали из-за младости, о ней позаботятся люди Столицы: конвой со шприцем и иглой.

Мидерей Димоградович Прядвинцев остался инстантом-идологом Столицы, пост ведь пожизненный, а Прядвинцев так приучился говорить правду от Съезда к Съезду, что ему уж не отучиться.

Живут во Дворце вместе. Дитя уже есть. Вскорости появится другое дитя, а потом, надеемся, третье. Теперь Прядвинцеву разрешается отпуск ценой в два месяца — для перевоспитанья детей.

Сыроежкина пригласит крупного скульптора Столицы, скульптор сделает по фотографиям памятник Дунгу: красивая копия из бронз — Дунг, пес-златоцвет. Натальня похоронит пса в Фонтане, в саду, а на Фонтане поставит памятник Дунгу. На постаменте (из бронз же!) надпись. Это эпитафия:

«Любовь — вне судебной компетенции. За что же убивать собак? Нужно убивать женщин, если уж ты такой мужчина. Убил бы меня, а не лез бы с часами проверять свои свойства. У меня нет близких людей, а Дунг был близкий. Я сижу в сейфе, и меня выводят к воротам, чтоб улыбаться для Юбилея. А Дунг любил без улыбок, как любят жену, и жаждал меня, как женщину. До свиданья, Дунг, до свадьбы — там! Слюнтяйка».

Что ни утро Натальня поливает могилу из лейки, скульптура псу-златоцвету Дунгу стоит и сверкает!

Что ни день Наталья сидит у скульптуры в шезлонге и вяжет Дунгу свитер с узором — к зиме. Свитер вяжется с трудом, в слезах... Пусть ей плачется, песнь тебе — от меня, сам ты, Ментор, сантимент!

ОСТОРОЖНО, ГОРШКИ С ЦВЕТАМИ!

Как стать синеглазым?

Чтобы все девушки Столицы, — останавливаются, как верблюдцы у колодца и восклицают:

— Стойте! Нам по пути!

А по пути вопросы;

— Вы не смутитесь, а я Вам открою душу, девичью: такие, как у Вас, глаза теперь не попадают. У мужчин глаз вообще-то и нет, мерцает кой-какой студень. У Вас глаза (такие!) от рожденья или Вы шприцем вводите в зрачок инъекцию синильной кислоты? Моя мечта — синие глаза. Объяснитесь же!

— Если нам по пути, я объяснюсь: сейчас не практикуется такт, нельзя снимать джинсы и ложиться вдвоем у Эллипсеевского Гастронома. Кровинцы встанут вокруг, будут бить в бубен, песнь петь, — я не люблю эксгибиционизм.

— О чем речь? Как вы спите? На подоконнике, под столом, в коридоре, в ванной?

— У меня тахта с персидским ковром!

— Так-так! Далек наш путь?

— От Эллипсеевского Гастронома — 116 шагов и 72 ступеньки.

— Что в холодильнике?

— Яйцо. Одно.

— Что мы пьем?

— Одеколон Красная Москва.

— О!

О, не спрашивай ее имени, позабудется, лучше наутро спроси, как полагается, под ковром. Ты сделаешь ей приятный сюрприз и скажешь, что она ведь вчера не представилась, так торопилась.

А ты не торопись, пусть одевается, возьмет сумочку. Пусть вспомнит: я обещал ей синие глаза.

— Вы обещали мне синие глаза!

Вот: вспомнила.

Теперь возьми ее за ладошку, она же молоденькая, девочка у аиста в клюве, ручка у нее отлакированная, как у тросточки, уведи ее во вторую половину своей комнаты, за шкаф. Укажи ей пальцем на этажерку, на три горшка с цветами.

Она расхохочется тебе в глаза:

— На цветах — цветов нет! Ну и что? Почему четвертый горшок закрыт крышкой от кастрюли?

Ответь:

— Посмотри.

Ляля откроет крышку, а крышка выпадает из ладошки, зазвенит об пол зеркальный, — дззззззыннннн! — как будильник.

Ляля закроется лапкой, — ишь, как зацокала каблучками по 72 ступенькам!

Ты не позабыл? Ты посмотрел? — глаза у нее синие.

Синие-синие, — заглядеться!

Кто раскаивается?

Ты, мученик бессонниц, лежал с телом юницы. Плохо тебе? Нет.

Она, мечтательница, теперь имеет синие глаза. Единственные в своем роде. Плохо ей? Да, плохо. У нее стресс.

Но у какой девушки 17 лет нет стресса — что ни день? Таких девушек и нет.

Завтра же она позвонит по телефону, захлебывается, извиняется, что убежала, как бешеная, а имя ей — Ляля!

— Что Ляля?

— У меня глаза — синие! Мама признается, что я — обольстительна.

— Что мама?

— А маму зовут Елизавета Елизаровна...

— Что мама?

.....?!

Елизавете Елизаровне 35 лет, хорошенькая, черноволосая блондинка.

Песнь поется звук в звук, коврик колышется жест в жест, крышка от кастрюли, — дзззззыннннн! — звенит!

— Лиз-Лиз, у тебя синие глаза!

— Нам бы обвенчаться, Ив-Пав!

— Обвенчаться нам некстати, жандарм брака выдаст нам ордер ареста: за безнравственность.

— За то, что ты спал с нами, с дочерью и с матерью, т. ск. — попеременно?

— С вами я не спал. С вами поспишь, — барахтаетесь всю ночь, как боровицы! Вот за что арестуют: у тебя и у меня синие глаза, таких больше нет.

— Но у Ляли?

— Ляле 17 лет, несовершеннолетняя, у нее могут быть любые глаза. Тебе же 35, мне 44, откуда мы вдруг имеем одинаковые глаза. Никто их — нас не видел, да и в паспорте у меня желтые, у тебя зеленые.

Жандармы возьмут мой горшок с крышкой от кастрюли, как вещественное доказательство. В зале суда крышка откроется и все увидят. У всех кровинцев! — глаза превратятся в синий цвет! Мы затеряемся в поголовном посиненье. Мне бы затеряться, — эх, избавиться бы от сых уксусных слив слав. А вам-то как, двум женщинам-синеглазкам, ведь с такими глазами вам — без всяких уст — всемирный успех! Вот как!

— Нас лишь трое в Столице — ты, я и Ляля — с синими глазами?

— Нас лишь трое.

— Клянешься?

— Вступай в клан клятв, клюй клевету. Я — сказал!

— Что ты хочешь?

— Я хочу спать.

— Встретимся?

— В аду.

— Как мне быть, если с глазами что-то случится, ну, цвет изменится?

Я сказал:

— Я взял глиняный горшок, я принес в горстях землю со двора, просеял землю в сите и высыпал в горшок. Я поливал землю два раза в день: в 6 утра — 1 стакан воды, в 6 вечера — 1 стакан воды; и так 4 года. Вот и выросла в горшке эта штука, глаза у меня посинели! Я тороплюсь, это запоминается: горшок, просеянная земля, в 6 — 1, в 6 — 1, и так поливай 4 года. Попробуй, Лиз-Лиз!

— Не торопись ходить со своими глазами, увидят, схватят, пьяного, девицы с девизом, а сейчас в Столице свирепствует сифилис!

Я взял вуаль и вышел под вуалью.

АНТИТЕЗА О ЛЮБВИ. ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕ НОВЕЛЛА

Не все же свободное от судьбы время ню-герлс Алена Кулыбина лежит в луже с двумя зелеными огоньками на ягодицах.

Она пишет мне письмо. Текст я не редактирую, ни к чему, но цитирую. Читай, что есть.

Он был Поэт.

Чтя светлую память Поэзии, простится ему имя, а назовем Поэт Х.

Нет жизни в Северной Провинции, — кто не знает? Все. Знают. Никакой там жизни нет. Там и хлябь-то хлебать некому,

если уж редкая птица долетит до центра Северной Провинции, увидит хлябь, хлопнет крылом себя по лбу и улетит южнее.

Но Поэт Х. родился там и пропел про нее, свою Северную, 77. 000 строк, кой-как, по-кровински зарифмованных парами или крест накрест. Результат: при семиричном вдохновенье Северная Провинция возникла, зарифмованная и желанная для жизни в ней.

В центр, над которым в кой-то век вилась птица, привезли на вертолете избу-музей и опустили на землю. На избе-музее табличка-мрамор: «В этом Дворце родился и жил величайший Поэт-кровинец под фамилией Х. Здесь же и умер, прославляя на все века Северную Провинцию». Сейчас к избе-музею привлекают экскурсанта. Спускаться не всякий сумеет, лестница веревочная, турист не труслив, смотрят на избу-музей с вертолета, удовлетворяются. За посещение мемориала им дают два дня к отпускам.

Родился ль Поэт Х. в Северной Провинции, а как же, кто же у нас не рождается? Жил ли он у себя? Кто не живет, живут. Умер ли там же, умирают и у нас, увы.

Что ж сомневаться? Это место рожденья Гомера оспаривают 7 городов Эллады. У нас нет спорщиков. Родился, жил, умер — никем не оспаривается. В пляс, плюс!

Поэт Х. был, как и все мы — самородок. Первенец природы. Поэтому он любил кровинскую природу, любил людей и утверждал, что кровинцы живут в лучшей из Столиц, непридуманной. Подтверждал также, что у нас есть мама и долг, а в Хамерике — мафия и доллар. Возьмй объектив фотоаппарата, напечатай снимок в газете, и так увидишь, что у нас, что у них. Но превращенье правды в Поэзию — для этого требуется смелость мысли и взмах лирика. А вот смелости и взмаха Поэт Х. ни у кого не позаимствует, сам догадается до ритуала рифмы и линии лирики. Что повторяться, — самородок!

В 11 лет Поэт Х. уже пил бормотуху, и о нем писали крупнокалиберные журналы, как о феномене. В 14 лет ему был вручен диплом Литературного Института. Учился ль он там, у нас все учатся, какой вопрос? Его литература уж была в идеале идологии, в блеске бормотух. В 19 лет ему дали Дворец в Столице и пригласили в инстанты. Инстантом он стал и заструился в надеждах, а вот Дворец пропил. В пепел. И поселился в подъезде N 11. Это не очень-то понравилось инстантам, но шквал писем, не поддающийся нумерации, от тех, кто жует железо и хлебает хлябь, воочью показал инстантам искреннюю сущность кровинцев: скромность Поэта Х. украшает его Поэзию больше, чем Дворец. Что есть Дворец — в нем рассматриваются сиюминутные истины инстантов, и это, конечно же, ой как насытно!

Но Поэзия кровинцев — вечна, долой Дворцы для нас, да здравствует скромная бормотуха! Так кой-кто из инстантов сверху оценил: пропивал Дворец — будешь национальный герой! Кой-кто из тех инстантов, сверху, хотел тут же пропить свой Дворец, но призадумался: ведь Дворец-то ведь есть, а Поэзии-то ведь нет, герой не получится. Так у них во всем: как хотят и так не получается!

Иллюстрирую и эту судьбу: как хотели дать Поэту Х. Лауреата за Поэзию, но Лауреата дают лишь в Юбилей 50 лет, Лауреата не дали, хотели — не получилось. 50 лет, и ни дня меньше, — так предусматривается Кодексом. Хотели дать Лауреата по бормотухе, здесь 50 лет ни к чему, если Поэт Х. пьет без отпуска, не зная сна. Не получилось: он пьет в подъезде N 11 из бутылки, из горла, а у Лауреатов бутылка давненько вышла из употребления, пьют из цистерн. Хотели присвоить ему хотя б гения, ведь возраст 37, подходящий. Не получилось, гению полагается Дворец, а он возьмет и пропьет второй — не давать же ему третий к 100-летию. «Логос Хамерики» заропщет — вон как разбрасываются Дворцами для пропиванья, а все хамериканцы ютятся в Харлеме.

В сущности, не получив ничего в 37 лет, когда уж гений-то уж подразумевается сам собой, а присуждение по телевизору — лишь инсценировка, ввиду такой общественной обиды Поэт Х. стал искать смерти.

Он женился.

Его жена, Алена Кулыбина, тогда еще не ню-герлс, без двух зеленых огоньков на ягодицах, — тоже набарматовала для судьбы поэтические стихотворенья. Никто не искал у Алены Кулыбиной внешний вид ни в лице, ни в жесте, ни в телосложении. Но за дверью двух — дул Дух! Они жили с желаньями, а писали без одышки — то он, то она, сменяя друг друга у пишущего аппарата. Вместе они лишь, кажется, спали и вместе (тут же свидетели!) пили бормотуху. Ходит слух, что с похмелья они обменивались поцелуем, почему бы и нет? Гаденький слух.

В Концертном Зале Столицы молодожены вызывают живой отклик: их декламация вне рамок речитатива, они держат на столе графин, чокаясь бокалом в ритм рифм; чокаясь, конечно же, выпивают бокал. Кто удержится от оваций, если на сцене пьют, а в зрительном зале мучаются два часа, слушают стих, восхищаются, но не так умно, как нужно бы, а так нервно. В Концертный Зал стали приносить бутылку. В руке — нельзя, оскорбит билетерша, но книголюбы и стихолюбы изобретательны. Бутылку: ставится в портфель, горлышком вверх, а пробка в горлышке заранее просверливается, в отверстие вставляется хлорвиниловая трубочка, как для коктейля, но подлиннее и под цвет

пиджака. На своем пронумерованном сиденье зритель вытягивает трубочку из портфеля, продевает ее в рукав пиджака, подмышку, под галстук; а уж из-под узла галстука, скорбно склоняя голову в знак эмоций из стихосложения, — сосет, сосет из трубочки бормотуху! Конец концерту, никому не встать с пронумерованного сиденья, ураган оваций, но все ошеломлены, — не встать, не выйти. Газеты отмечают с оценкой; так действует настоящая Поэзия на настоящего стихолоуба-кровинца. Ошеломляюще действует. Концертный Зал охраняется спецотрядом конной жандармерии культуры — до зари. Лишь на заре стихолоубы просыпаются, встают и идут пить пиво, — 250 млн. стихолоубов. Выпив пива, они не успокаиваются, обсуждая поэтический эффект семейной пары, возбужденные, что рифмы запоминаются для людей, и бегут через железные заборы Фабрик, Заводов и Канцелярий — за бормотухой. Но в этой исторической не новелле нас не интересует рабочий день читателя.

Алена Кулыбина, ню-герлс с двумя зелеными огоньками на ягодицах, писала в рифму с детства, но у нее не было стажа. В 17 лет она оформляется на завод и по спецпропуску становится той, кто жует железо. Газета-многотиражка для юной поэтессы выпускает аншлаг: «Поэтом может быть Ли Бо, но искренняя Поэзия лишь у Алены Кулыбиной, у той, кто жует железо». В 19 лет Алена уже имеет множество мозолей, но ею понимается: искренней Поэзии у нее нет. Она открывает Энциклопедию, читает ее страницу, и вот вывод: те, кто жует железо или же хлебает хлябь, у них есть писатели первый сорт, но гения у них нет. Искренний гений лишь тот, кто рисует рифму с риском быть пойманым за руку без мозолей, но у него в правом кармане пальто неиссякаемый запас бутыль-бормотух. У нее бутыль-бормотух и не предвидится, тот берлог, но не тот брюаль. Она становится искательницей, ищет и находит искреннего гения.

Алена Кулыбина выходит как-то из Саркофага, а на ступени подъезда N 11 сидит Поэт X. и без видимой причины красит свою морду в синий или в зеленый цвет, опохмеляется как будто б. Между колен у него бутыль, а правой рукой записывает на ступени рифмы, ненужные ему, а так, инерция гения, в духе закуски, что ль? Алена читает из-за плеча Поэта X.: ничего себе ненужные, закусовые, да они настолько же новы в Поэзии, насколько сейчас же нужно увести Поэта X. в подъезд N 11, вглубь, переписать рифму за рифмой в записную книжку для стихосложения, как новаторство. Да и лечь тут же на ступени, не ожидая от Поэта X. ухаживаний, встреч при луне, признаний на скамейке и т. д. и т. п.

Вечером они легли, утром поженились. Мы уже описали совместный слав семьи в Концертном Зале. Но и тут Алене

Кулыбиной в уме никто не отказывает. Муж со щедростью любви дарил ей любые рифмы, но Алена понимает, что пишет как бы вторично, не как она, а как жена еще непризнанного гения. И тут ее осеняет: она знает, что нужно сделать, чтоб гения признали по телевизору, чтоб к нему пришла всекровинская слава бессмертья. Она идет к майору Милоте Скорлупко. Она признается:

— Позавчера мы пришли с концерта в подъезд N 11. У нас портфель бормотух. Я кладу на ступень закуску из спец-магазина: кильку в томате, лук и вилку. Помню — пьем. Поэт Х. падает со ступеньки на цементный пол. Я ложусь тут же с ним, я делаю ему ласк. Ни одна из ласк им не чувствуется. Но сознание просветляется. Отвечая на мой секс, он закуривает сигарету, тушит ее в мою грудь для чувств, в сосок; я лежу обнаженной. Он вдохновляется, бормочет чудесные рифмы, я записываю, как могу, во тьме подъезда, на полу, а он берет в рот пять сигарет, зажигает их спичкой, затягивается, сигареты вспыхивают, и он гасит их, пять, в мою грудь, в мой живот, в пупок. Потом начинается взлет: он курит и курит, бормочая без умолку рой рифм, и гасит сигареты в меня повсюду. Одной сигаретой, к примеру, он прожег мне ухо насквозь, другой спалил брюшной пресс. Он вдохновлялся, как одержимый: рифмы уже на меня наводят ужас своей чистотой чувств. Из моих ключиц делаются пельницы!

Я бы стерпела и не такую страсть от него, но жалость берет свое: ведь по Кодексу я теперь инвалид и до конца дней Поэту Х. придется мне платить пенсию по инвалидности. Что мне заплатится — пейки! Я сняла трусы и, простите, села голой жомбой на лицо гения, у меня вес, а жомба нечисловая. Он задохнулся. Да он и так уже задыхался от интуицы.

Я понимаю свою вину: я виновата, что не задушила его прежде, по-молодости не очень-то соображается. Именно задушить его нужно было и как можно раньше, чтобы он сделался признанным гением, посмертно. Ведь лишь посмертно есть неуядаемая слава в Энциклопедьи. Я — его вдова и мое имя останется при нем, в веках. Несмотря ни на что, ни на то, что мои стихи плохи. Пусть их, плохих, не печатают, я-то — уже историческая личность Алена Кулыбина. Никакой суд не сумеет стереть мое имя из печати в его паспорте и из памяти благодарного потомства. Я сделала для него, что могла. И мое имя не позабудется.

Тут Алена Кулыбина вдруг улыбнулась, с сердечностью:

— Майор, а Поэт Х. не был интеллектуал, прикидывался. Когда я села голой жомбой на его хвастливую харю, вот он что успел, мой сильный, мой крепкий, морг синий, морд в кепке!

И Алена снимает трусы. Майор Скорлупко взглядом снайпера оценивает ситуацию и лезет лапой туда, где трусы только что

висели на резинке. Алена поворачивается жомбой. И это майору мило. Он трепыхается, снимая свое, гасит настольную лампу, суется во тьму и — вдруг отскакивает: у Алены Кулыбиной на оголенных донельзя ягодицах — два зеленых огонька!

— Такси! — кричит Милюта, по испугу. — У меня талон!

— Зажигай лампу, жомбник! Бабы от тебя не уйдут. Пока Поэт Х. давился без воздуха, он ухитрился прожечь мне и ягодицы, какая мне теплая память на всю судьбу: два зеленых огонька на ягодицах! Не у всякой ведь.

Никто не судил. Избу-музей спустили на вертолете, и стоит. Алену Кулыбину реабилитировать не стали, не дай Бог «Логос Хамерики» впадет в истерию от вымышленных зверств. Но и в историю Алена не попадает, ведь посмертный гений Поэта Х. издан; лишь портрет под стеклом — истинн. Их, гениев, с бормотухой, мы со слезой записываем на заборе, но в историю им как-то ни к чему. Им и без Истории-то не живется в избе-музее с табличкой и экскурсантом. Как говорится — умер в уйму.

А хранительница избы-музея Алена Кулыбина, ню-герлс с двумя зелеными огоньками на ягодицах, получает за хранение так мало пеек, что ей приходится лежать в луже у Саркофага, чтоб зарабатывать брюали. Никуда ей теперь не войти: в Историю не войти, потому что ее муж — муйтак, а не Поэт Х., а в Саркофаге — лесбиянки, они пугаются зеленых огоньков — чуть что — инспекция!

ХРИСТИАНСТВО. БАДЬЯ ЖУЖЖОМЕЦ И РОЗА ГАРПИЕВНА

Ни с того, ни с сего на нашем борту бьется винт христианства. А христианки у нас — блятви по Кодексу, а христиане — сутенеры. Увидишь крестик на грудях нагой — знай, с кем имеешь связь. Истинных верующих единицы, но им не ходить в храм по утрам, там исповедуют. Бунтарь-исповедник священник Иеремия Туточкин описывает исповедь в спец-протоколе для Тайной канцелярии. Как уж он старался во Христе, но все ж был взят. В Суд.

Пишут: его пытаются, а мы возмущаемся. Не пытаются его, Иеремию. Его исповедуют — он повествует о тех, кто ему что там наляпал в Слове. — В чем же истина? — спрашивают. — Нельзя отказаться, — истина во Христе, — отвечает Туточкин. — Пусть так, — соглашаются, — но это в небе, а небо нас не касается, еще не знаем, как справится Христос с Ведущим инженером по

космической аппаратуре. А вот здесь, на земле — в чем? Иеремия — молчальник! — Имеющий уши да слышит, что Дух говорит церквам, или вам хочется укол в ухо, и вам услышится всякий вопрос! — Ой, как не хочется мне укол в ухо, — отвечает Иеремия Туточкин, бунтарь-священник, бунтующий против атеизма. — Я лучше процитирую для газет афоризм апостола Павла, как писал Иоанн Грозный Андрею Курбскому, упрекал Андрея, что тот не хочет быть убит им, Иоанном, при том и Басманов был, не даст соврать. Вот тот текст: «Всякая душа да повинуется владыке, власть имеющему; нет власти, кроме как от Бога, тот, кто противится власти, противится Божьему повеленью». — В чем же истина здесь, сей час, в сей Столице, где истина у нас, у инстантов? — мягко подсказывают, нацеливая из милосердия шприц с уколом игл — в ухо. Слух у священника проясняется. Он выходит сам, без костыля в шею, на телеэкран и с мужеством говорит, цитатель, а глас имеет трубный: «Есть Бог, но он в небе, а истина здесь — в инстантах!» Нельзя же заниматься лишь божественной силой, думай и о шприце с иглой, — вот равенство религий! Иди, священник, святы алтарь, околыцованный брак жандарма железной дороги с выпускницей Дома Балета, бинтуй мертвеца, он отслужил от лжи, чего уж тут стесняться, но бунтуй с бантиком на лбу и с крестиком о трех перстах и оценится медалью к Юбилею твой бег к Богу. Ведь ты во всю и во вся возгласил как труба, что власть инстанта — от Бога. У нас артистизм атеизма, но если церковь приписывает нам божественное происхождение, что ж — это дело церкви, она ведь вне статута Столицы. Так Главарь-Священник Иеремия Туточкин отстоял храм Христа: и отделили и отелили, а лавров и лилий им не дадим.

Так, в нашем Храме, отремонтированном специально для иностранцев, крестят с охотой, по спискам и спецпропускам. Это поощряется, не тот, но тост, права примата у Милюты Скорлупко, рамки равенства кует Зубикомлязгик (где он и кто он — я вспомню), а реалии — хоть брызгал брюалью в пользу позолоты архитектурного памятника с куполами — Иеремия Туточкин священник с овощем из спец-Эллипсеевского Гастронома, уста с трубой. И стой за инстантов, они от Бога, и стой за ними в спец-гастрономе, там дают баночку жести с этикеткой «Завтрак туриста». Нет у нас в Храме крема, скромны в Храме с хреном! — завтракаем как туры, играмся.

Увы, не художник Бадья Жужжомец, живой еще, почувствовал тягу к хваленому Христу. Нельзя отрицать, художник был худ костью, но ведь живой. Скитался, как тать, по чердакам, которые называются художественной мастерской, имел немногочисленный, но летний бассейн — мылся в миске для моськи у

Розы Гарпиевны, 80-летней, последней яурейки в Столице, той, с одной ногой, инвалида войн, оштрафованной один раз в 80 лет за пьянство у Бормотушницы, потому что хватанула жандарма как столбом о лоб, а ведь жандарм по-вральцузски — это гражданская армия, или же вральцузы все врут, не зря же они называют себя вральцузы — вдали, да еще и цузы. Роза Гарпиевна не любила жандармов за вральцузский титул. А Бадья Жужжомец у нее подкармливался для сил искусств, она же была и натурщицей, других натурщиц не было, одна появилась было у Саркофага, Генриетта Многотиражка с почтамта, с фамильей, будто ей не будни, а юбилей на юбилее — Геня Любяхина! Вышла замуж, замарашка, за киника Тодора (женятся, как жнут ятра в век XX!). Могла б и она, от горя говоря, стать натурщицей, посвежее Розы Гарпиевны, хотя бы по годам как-то виднее была бы Бадье Жужжомцу, но... — негде им по-ул-ыбаться! И получается: мойся из миски, рисуй Розу Гарпиевну, а что в ней для увы не художника за ценность, она — лишь экспонат, последняя яурейка в Столице. Уж лучше б он взял натурщика — наш последний трамвай N 1606, но тут уж режиссеры (они всех опережают!), теперь трамвай снимается в роли трамвая в кинофильмах фирмы «Столицфильм». А Бадья Жужжомец использует, вздыхая, как вол с Деянирой в качестве натурщицы Розу Гарпиевну, все бы ничего, тело старухи тоже имеет свои преимуществва в виде ню, кисть имеет свой код — замаскирует любой шифр морщин и обвислостей. Но как быть с ногой? Приходится быть так: холст с подрамника, бросал на пол это хозяйство, ложился и в качестве второй ноги обводил углом контуры своей. Это уж новая живопись: ню с одной ногой возраста 80 лет, а вторая нога у ню — мужская, возраст ноги 40 лет, нога автора, Бадьи Жужжомца. У нас-то, мы, кровинцы, понимаем что есть свинство и что есть хитрость. А вот «Логос Хамерики» захлебывается в инсинуациях, что Бадья Жужжомец — гений и яростный сиянист. Что Бадья Жужжомец гений — какой протест, говорят, а он — в слух. Но что сиянист — нет. Возьмите яурейку Розу Гарпиевну, дайте натурщицу Иванну Ивановну, и с ней нарисуеться, если у нее грудь еще не имеет форму воронки вулкана, как это бывает у Ивановны после аборта в 12 лет. Иначе обвиненьями в гениальности не отделаешься, «Логос Хамерики» возвестит, что Бадья Жужжомец открыл в живописи эру вулканического эротизма, а мы увидим: растлил девицу Иванну Ивановну до состоянья ню и аборт в 12 лет отметится тебе, растлитель: или дочеряй, или уточняй!.. Так можно договориться до граммофониста!.. Деградант — я. Нет во мне человека — силуэт словес. Напишу «овечка-червячка» и разыгрываю аллитерацию, как философему, и пью, восхищенный, сам себе собака,

флакон Красная Москва, — тост тупиц! А сам-то из тупиц — первый перл!

Обвиненья в сиянизме почему-то подействовали на кровинца Бадью Жужжомца. Приходится повторяться, когда заговариваемся: увы, не художник Бадья Жужжомец оформляет в издательстве книжку с рисункой, ходит в штанишке от «Логоса Хамерики», у него хватает силы духа продавать вне Кодекса картинки с ню Розой Гарпиевной, несмотря на разницу в возрасте одной ноги и второй ноги, а вот чувствуется: Духа Святого у него нет.

Да и как уехать бы в Хамерику, если никто не знает, что у тебя — Дух Святой? Нужно уехать с ухваткой.

Поэтому он превысил наши три заповеди: права примата, рамки равенства, реалии религий. Он крестился.

Вот именно: как?

Не в тишь-тишине лабораторий алтаря, а так: призывает на свое крещенье, на обращенье в истинную веру — кого бы? — корреспондента из «Логоса Хамерики» и газетную прессу — не нашу! Те фотографируют вспышкой аттилу с крестом, диктуют на мир Земной Шар о нео-диссиденте: Этья-Председатель повесился, да здравствует нео-последний диссидент Бадья Жужжомец, увы не художник!

Он хотел уехать и уехал: на спец-машине в Тайную канцелярию. Там люди понимают. Это Этью, Председателя за права примата, — ВЫ пьете, Этья? — так спрашивают. — Я пью! — почему бы мне не пить? — так Этья отказывается от показаний. — Не пейте, — просят Этью, ВЫ дискредитируете диссидентство, диссидент у нас чист, как чай. Это у нас недостатки, мы ведь на то и инстанты, чтобы у нас — недостатки. У ВАС недостатков нет, ни на йоту. Не пейте хоть во время процесса, просим ВАС, иначе ВЫ будете выглядеть без галстука, без следа бритвы по лицу, неприглядная внешность для инакомыслящего. Пройдет процесс — пейте в усмерть, но не позорьте высокое званье на телеэкране. Вы — враг, будьте ж достойны врага. А то и нас спросят: с кем же Вы связываетесь, друзья? Где у него иные мысли, кроме алкоголизма? Смеетесь, что ли, над обществом обещаний, где у всех — мысль в мысль. Но Этья-Председатель обвиняет Тайную канцелярию в пытках: все кровинцы пьют грамм в грамм, а ему, диссиденту, не дают в камеру и рюмку!

Волны возмущений захлестывают окна и океаны: издеваются, со времен иезуитства еще не было и попытки такой изуверской пытки: Этья пьет и это — права примата, Этье не дают пить — нужно созвать Херсинскую конференцию, пусть Президенты поспорят: пить Этье или не пить?

Но тем временем Этья уже сам знал, выпить ему рюмку или же выйти из камеры, оставляя в трюме друзей-диссидентов: не в тюрьму, а к уму. И мы с некоей растерянностью слышим речь Этьи-Председателя на телеэкране. Это эхо, — кой-кто призадумался. Нет, это не эхо, — у нас глаз, у нас ухо. Ухом мы слышим, как Этья читает список тех, кто провинился в мыслях про общество обещаний, глазом мы видим: 500 виноватцев бросают в ссылки и тюрьмы, и глаз второй видит у нас: Этья забивает вилкой насмерть символ инакомыслия — Черного Лебеда, тут же поджаривает лебединое тело на электросковородке, да не откажется ему в искусстве кулинара по птице, и садится за круглый стол с инстантами, и они едят Черного Лебеда с пеной у рта, а Этья еще и обсасывает ошпаренные в животном жиру перышки, чмокая. Слух слеп: Этья не повесится; этот метод не в моде у нас по весьям. — Почему? Ведь Иуда — предатель 1 единицы из богочеловеческой массы, а Этья сдал в стол — 500? Ответ: Иуда предал Христа, как тут не уйти в себя за шею на память потомству? Этья — подумая, описал мало-мальски мысль о 500 гамнюках! Жаждай жизнью, — составляй списку!

Я осатанею от отступлений. В них нет лирики, а какая-то липика. А я — лирик, несмотря на то, что никто на меня не смотрит. Я сам посмотрю на себя, я увижу: лирик я, лиру мне, подавайте мне этот струнный инструмент, я так заиграю, что любовь людей польется кровью красной, ливнем лимфы!

Бадья Жужжомец позицию взял тут же: «Логос Хамерики» объявляет его сиянистом, потому что у него натурщица яурейка. Но Бадья Жужжомец — настоящий кровинец и по паспорту, и потому-то крестился, — обычный обычай предков, чтоб доказать свою преданность инстантам. Хочется ли уехать в Хамерику, к примеру, а, если хочется, не изворачивайся, — то почему и с какой целью? — Да. Хочется. Не лгу. Я хочу рисовать краской. — Вы увы не художник, но и так рисуете краской. — Пусть я увы не художник. Но красок у нас нет. Краски есть лишь у Кати, у нее и не краски есть. Но те краски делают диссиденты втихомолку: они маскируют цвета: белый под черный, красный под желтый, что ни цвет — выдают за не тот! — Правильно говорите! Продолжайте! Готовы ли вы к борьбе с диссидентами там, в Хамерике? — С теми? Да я не знаю по-хамериканскому языку ни гласной, ни шипящей, я и флексии-то у них отрицаю. Я хочу писать знаменитейшие картины и пить в Висконсине виски, а не у яурейки Розы Гарпиевны, как я пью помои из миски от моськи! — Все это у вас будет в избытке, но и нас поймите: нам нужны шампиньоны. — Как шампиньоны? Где взять? Я их и не

ел, это — что-то шоколадное, кажется? — Это гриб. Гриб шампиньон. Если вам нужны энциклопедические науки, то по-вральцуски шампиньон — гриб. Здесь вральцузы не врут. Уж поверьте нам, у нас все проверяется.

— Вам нужен гриб?

— Нам нужен шпион. Условный код: шампиньон.

— Я должен стать шпионом в Хамерике? Излагайте инструкции.

— Правильно понимаете! Мысль ваша ясна, вы — настоящий хамериканский ястреб! Инструкции же — из рук вон пунктуальные. Вы приезжаете с женой в Хамерику, выхватываете у них из-под рук паспорт с печатью и не медля минут, баллотируетесь в Президенты УЭСА. Вот вы — Президент, потом посмотрим.

— А деньги? У них же долларовая лихорадка, как это я буду баллотироваться без бюллетеней?

— Бюллетени вам дадим, деньги не дадим, у нас их нет. Вы полны планов — и выполняйте.

— Вы что-то сказали про жену. Вы также сказали, что денег у вас нет. Так и я вам скажу: жены у меня нет.

— Ах, да. Жена у вас есть, Бадья-Президент УЭСА! Ваша зарегистрированная во Дворце Бракосочетаний жена — Роза Гарпиевна Мойра, это ее фамилия элинская — Мойра! Надо же — яуреи! Даже фамилии ухитряются воровать в Элладе!

— Но у нее одна нога!

— Пустяк! Яуреи дадут ей вторую. Есть сведения, что с этой целью яуреи воруют ноги у баллестинцев! Баллестинцы, бедняги, ходят без ног. Мы им посылаем протезы в бочках от пива для конспирацыи: катится бочка через народы и государства, кто поймет, что в ней протезы? Вот как нам работается, — не хвастаемся, все ресурсы — для индерцианизма.

— Зачем на ней жениться? Она — старуха без страха и упрека. Она и меня костылем как стукнет!

— Она спит усыпленная. Отъезд ваш — завтра, на закате, конспирация соблюдается и здесь. И вам небо покажется в овчинку, и мы избавим вас от изгнания: после Этья вас обызывают последним диссидентом. Нет, последний все ж Этья, нельзя с ним так, он с честью считается у нас последним. Но все же пусть никто не обзывается: мы избавляемся таким путем, убивая одной пулей двух зайцев: вас, последнего диссидента, увы не художника, и Розу Гарпиевну Мойру, последнюю яуреику, инвалида войн с медальями. Вот и поезжайте, в воздухе Столицы останется больше кислорода, а то уже кой-кто задыхается. Вон отсюда! Но Бадья: давайте депеши из Хамерики в микропленках!

— Я не заяц!

— Простите, Президент УЭСА. Вы уже так вошли в роль, что не трудно и позабыться. Убить двух зайцев — это поговорочка у кровинцев. Не забывайте о ней в случае автомобильной катастрофы: свои люди — сочтемся!

Теперь — терпеть мне: Бадья Жужжомец и Роза Гарпиевна Мойра уже уехали. Не хочется мне им петь в путь, но почему бы не заплакать с заплаткой на одной ноге: куда вы со страниц, ты, страница — какую страну кукуете? Попадете ведь — пропадете! Но я-то на месте и слить слезу мне и неуместно.

Дама с собачкой Наталья Сыроежкина тоже крестилась. Крестилась Дуня-ведунья. Крестился манометрист Антип Инфантьев. Крестились 12 гомосексуалистов, хоть и без губ, но крестились, и Милюта Скорлупко не ошибается: так же продолжают они любить друг друга, в том же духе. Крестились: Ляля, Лиз-Лиз, 12 геометристок-учениц, 7 девиц с девизом, тартарка Катя... Господи Боже Святой! — крестился отважный герой М. Н. Водольянов! Этот-то в каком смысле крестился? Эту загвоздку не простят, может, после смерти расхлебается! Или же у отважного героя какие-то сверх-засекреченные права примата?

Как же я не крестился? — думаю, недомогая. Ведь это мне — как аукнется, так откликнется. Ведь я упустил такой протест против инстантов, а ведь я не инстант, нет у меня ненависти к ним. Что подумают о моей подлости диссиденты в трюмах? Ведь если диссидент не крестится — прощай, диссидентство, а в их среде есть куда более умные и неумные люди, людовики, борцы за честь и чистоту кровинца! Горе мне, горе! Не хочу бояться, а хоть в чушь бороться!

ИТАК, ИСТОРИЯ ОТВАЖНОГО ГЕРОЯ М. Н. ВОДОЛЬЯНОВА, ПИЛОТА-КОСМОНАВТА

Окрестившись в Храме, отважный герой М. Н. Водольянов привесил на грудь 877 орденов и медалей, а на шею — крест с Христом. Так он и двинулся по улицам, с тростью, лыс, как лейкоцит. Ему сегодня 77 лет!

Вся Столица праздновала юбилей героя. Все космолеты Столицы летают над нами и кувыркаются в экстазе высшего пилотажа. Улица, на которой живет пилот (переулок, в общем-то, каменец-захудалец!), переименовывается так: проспект им. св. пилота-космонавта отважного героя М. Н. Водольянова.

Мы сидим с М. Н. Водольяновым на пр. им. св... М. Н. Водольянова, в квартире, где живет еще 422 кровинца, все как есть из рода, в субботу каждый от чувства сердца бьет морду

соседу. Сосед соседу бьет морду, — что ж лучше? Помаются — помирятся.

— Ты кто? — спросил М. Н., ритор.

— Я властитель дум. Я геометр-Академик, мировой класс.

— Ты где живешь?

— Я живу в Доме Балета, под чердаком, в мансарде. А ты?

— Я здесь. Но наши титулы равноценны. У меня тоже 18 кв. м. Но у тебя на полу зеркало от излишеств, а у меня матрас для мужества. Ты — властитель дум, я — отважный герой, мировой класс. Что жрать будем? Юбилей ведь.

Я и знать не знаю: жрать так жрать.

Жрать было нечего.

Я пил 611 день.

Я бы принес ему яйцо подмышкой, из холодильника, но это — лишь мной предполагается, ведь не принес же, потеря памяти.

М. Н. Водольянов с отвагой смотрит на меня и идет к подоконнику. Он распахивает окно и вынимает из-за пазухи булку. Распотрошил булку, рассеял крошки на подоконнике. Манипуляцы у него, как видим. Садимся на матрас. М. Н. — палец к губе. Лыс, волнуется.

Прилетают голуби.

Как они клюют растрепанную булку, рокотая!

М. Н. Водольянов, отважный герой, пилот-космонавт 18-ти межпланетных войн, кавалер 877 орденов и медалей, — выхватил револьвер и... мне и не вздрогнуть: 18 голубей валяются на полу, простреленные в сердце, навывлет, жирные.

— Я сделал свое мужское дело. Ты делай свое, ты, стряпуха. Мы отметим 77 коньяком и дичью.

Я пошел на кухню.

Кухня — царская, как в запаянном Кубе Верховных Инстантов. 422 плиты, в них углекислый газ, а над — 422 таблички с инициалом владельца. Я отыскал плиту с табличкой М. Н. В. Я тушил дичь, выпаривая перья у голубей. А дверь нараспашку: стоит почтальон, на лестнице другой, третий у подъезда, по всему проспекту им. св.... М. Н. Водольянова стоят почтальоны в черном сюртуке, с белой бабочкой, кто им отрепетировал эту эстафету, потому что в любую секунду приходят поздравительные телеграммы. Почтальон лишь выкрикивает, швыряя в кухню:

— Поздравляет Самый Верховный Инстант ЭН, поздравляет планета Грустиния, королева Елкиболтании, компресс Бадмингтона, империя людей Магнолия, премьер-министр спец-страны Будтопешка, папа Райский, воздушные войска Химдии, камикадзе Ябонии и т. д. и т. п.

Голуби оказываются чудом из чудес: я их так потушил в кастрюле из-под аминокислот, что мы сидим, оцепенелые, пальчики облизываются. Но прикасаться к моей кулинарности мы

все ж побаиваемся: аминокислота нет-нет, а приносит кой-кому известия из иных миров. Не всем же поздравительные телеграммы. Коньяк — тоже как-никак, как ни кукуй — нет коньяку! Я взял флакон Красная Москва. Он хоть прихлебывается.

— Как у тебя с психикой? — спросил Водольянов.

— Белая горячка, но в юности.

— Какая это психика! — М. Н. сердится. — Это печень плохо используется. Димедрол употреблял, думаю. А галлюцинации? — слух, осязание, зрение.

— Слух. Голос в водопроводной трубе!

— Что ж глаголет Голос?

— Надо убить!

— Что ж ты в ответ?

— Надо любить!

Он, ошарашенный, всмотрелся в меня:

— Ты в ответ: надо любить? У тебя в роду были идиоты?

Я смутился:

— Да это и не я-то в ответ, это — Голос в шкафу, это он: «Надо любить!»

— Не оправдывайся. Подумай про печень. — Он обнадежил: — Еще все впереди. И уточняя: — Мне б застрелиться в сей день! Эх, мечты, мечты мои, нет на вас пули. В такой бы день в самый раз — в «десятку»... Если захочется пулю, — приходи, я дам. У меня оружие именное, не отнимут.

М. Н. ВОДОЛЬЯНОВ РАССКАЗЫВАЕТ:

«Я родился в какой-никакой нищете в Лесах. Я пас в семье свинью и ел ерша. В Лес приехали грустины с планеты Грустиния, все разговаривают по-грустински, лакированные сапоги со шпорами, а в космотарантасах — апельсин! Не описать! Не яблоко, не картошка, не хобот хряка, а — фруктовина тебе! Ни потрогай, ни попробуй. И понюхать — не дается. Не продается даже, это их витамин в космических странствиях. Но запах — запоминается. Запомнил.

Потом в Лесах все друг друга поубивали, уж и не помню, почему бы? Я ушел в Столицу. Выучился на космонавта. Хожу в брезентовых тапочках, ем хляб с селедкой, а запах — не выветривается, надежды — струятся. Испытываю самолеты, летаю на Северный Полюс, а там шоколад. Апельсина у нас нет. Сгущенное молоко облакомил, — гадость! Что с него взять — ни ряженки, ни сливок.

В этот-то момент грустины и нападают на Землю. Вторгаются! Сами-то, сволочи, сидят на своей планете Грустиния, а в наш

эфир запускают запах. Никто не знает, что это за такой запах. Паника! Я иду в Куб к Верховным Инстантам, открываю пресс-конференцию. Я говорю: я знаю этот запах. Это — апельсины. Спрашивают, встревоженные: — Что за апельсин? Мегатонная бомба? Бактериологическая эпидемия? — Я говорю: Хуже. Апельсин — это безумье. Кто запомнит запах, тот сойдет с ума, пока не попробует фрукт. Я предлагаю на свой риск попробовать, иначе Земле — не бывать, а планета у нас не так уж плоха. Замахали флагом: — Какой там плоха! Да где уж лучше-то найдется! Спасай Землю, отважный герой М. Н. Водольянов, — летяй, попробуй!

Я взял эскадрилью самолетов, полетели.

Воевал — вовсю! — летаю туда-сюда, бомбы как-никак побросаю, с грустинским звездолетом в воздухе огнем постреляюсь. Расстреляемся с грустинцем, выйдет весь огонь, кружимся, из револьвера друг в друга хлопаем. В огнебаки лишь трусы стреляют, в лоб нужно б попасть. Отважные асы-грустинцы на лбу пластинку стальную носят. Тут уж: кружи, присматривайся и жди — вот-вот откроет рот ас, чтобы заматериться. Откроет рот и — пли! — высшей категории такой выстрел засчитывается — в рот асу-грустинцу! Тотчас же медаль дают, медную, флаг из Столицы присылается на луноходе, чтоб водрузить флаг над звездолетом, для кодекса чести.

Флаги-то меня и зафлажили: столько их воткнули в мою машину, что и не предполагал, сколько! И случается: кружусь я в межпланетном пространстве, огонь ушел в боях, развернулся я, а звездолет не разворачивается: флаги трепещутся, координаты нет. Вынужденная посадка. Пригрустинился я, что ль, не скажу же, что приземлился, не та почва. Так вот и попал пилот в апельсиновую рощу. Без мук, как в мечте.

Первый апельсин очищаю — руки трясутся, вся анкета вспоминается, человечество-то ведь спасаю! Съел дольку за долькой и пожалел, что Самого Верховного Инстанта ЭН рядом нет, — вот вытарачился бы! Но жалость к ЭН была мимолетной: рощу прочесывают из огнемета. Это у грустинцев хобби: прочесывать по всей Вселенной апельсиновые рощи, ведь запах апельсина — их самое тайное, секретное и грозное оружие!

Так я дегустирую дольку за долькой. 57 апельсинов съел к Закату.

Чернеет небо Грустинии, восходит чистокровная человеческая Луна, стелю я апельсиновые шкурки на почву, политую апельсиновым соком, и уснул, как в сене, на соломе.

На следующий день полежал в стальных струйках ручейца, лег на пресный песочек, завтракаю апельсином. Сплю еще чуточку, так вкусно в мозгу проясняется, а в глазах вижу вверх: звездолеты не наши вибрируют, грустинцы огнем шьют, а в рупор

мне: — Кровинец, не ешь апельсин, сдавайся, а то с ума сойдешь от вкуса, а потом и от запаха! Тебе же ведь жизнь требуется, убирайся к себе в Столицу, глупый ты оборот!

А я лежу, ботинок за ботинок забрасываю, апельсин ем. Вкусно мне и сок сочится!

На третий день что-то не хочется мне есть: как-то мешает кожица языку, не разжевывается. Сок все же высасываю. Да и рацию нужно бы приводить в порядок, все же я вроде бы в тылу противника, почти в плену.

День пятый провозился я с рацией, поклевал галету, про апельсин как не вспоминаю, звездолет ремонтируется худо — флаги вытаскиваются с трудом, сколько их воткнули, за доблесть, добрецы, — плетью б их плоть, йод твою март!

На седьмой день возьму апельсин, не глядя, хоть их витамин, грустинцев, а пища, другой нет.

На десятый: открою ножом кожуру, а от запаха — ужас! — в рвоту желудок бросается! Пью из ручья, разыскиваю травы, на щавель смахивают, гриб оказался в роще, жарить его научился, — сквозь лупу.

Дождь ударил, ветер, апельсин падает на меня, сижу в кабине, закрыв на замок, видеть сей фрукт нельзя, ниспадает в кабину, чмокнет чмоком, как жаба с жалом, скользкий, круглый, красный, — слюни стеклянные льются, — о мерзость! Я закрываю кабину прозрачным колпаком, а глаза забинтовываю, чтобы не видеть апельсин. К ручью ползаю наощупь.

Так и нашли меня наши в кабине, сплю, дрожа, забинтованный. В госпитале, на Земле уж профессор — мировое светило! — разбинтовал мои глаза серебряным пинцетом (ведь в бинтах межпланетный микроб попадает!), разбинтовал кровинец-медик меня, как ценную мумию, и стоит, как каменный: нет под бинтами ран боя, нет и царапинки.

Откормили меня бульоном, селедкой, приносят яблоко, я открываю глаз, вижу яблоко, а оно скользкое, круглое, красное — апельсин! — обморок! тело в пятнах сразу ж и чешется. Оставили меня в Столице с неизвестным нервным заболеванием».

— Это притча! — засмеялся М. Н. — Что ты за вырод нечеловеческий? Смотри на людей, нюхай ню, дружи с мужчиной по делу. НО не снимай с них кожуру, — отравись, как я, у тебя и так нежный нерв!

— Этот апельсин искалечил мне жизнь. Все человеческие отношения я стал мерить меркой отношения к апельсину. А как же быть? С Космической Войны мы привезли миллиарды апельсинов — трофеи побед. Все их ели, а я не мог. Профессор сказал, что всю аллергию апельсина я как будто взял на себя,

я был первый, кто не только пробовал фрукт, но и съел. Вот мне и мука за всех, а всем — новый плод искушения. Нельзя жаловаться, но мне не мстили: я стал Героем Планеты Земля, мои портреты висят в каждой кровинской семье, ты-то уж и сам их видел. Мне дали пенсию Фельдмаршала, дали трость и именную револьвер. Невест после Космической Войны — миллионы. Все невесты Столицы знают меня в лицо и со спины, а свадьба не состоится. Я специально вожу претендентку в ресторан «Астролябья» и после дефицитного обеда с соусом из заплеванной моллюски заказываю ультра-дефицит: апельсин! Ты бы видел, как лижут, как сосут эту слизь, экзотик! Удивляюсь, что я еще живу. Приглашают на всякие там Конфронтации Мира, но это значит, что нужно ехать в заграницу, в Москву то есть, а там без оранжада не обойдется. Сажу у телефона и пью — 30 лет! Заняты зла: гимнастки ищут Ветерана, однополчане ищут меня для воспоминаний, учителя преподают в Университете мой подвиг для Истории, да и грустинцы пишут фолиант обо мне, как о Наполеоне... А я? Куда девался я, я тебя спрашиваю?

— Мечь мечте! — вскричал Водольянов. Он распахнул шкаф: на всех полках, в одеждах, лежала апельсиновая кожура, иссохшая. — 30 лет, Басманов, я покупаю апельсины, сдираю с них шкуру живьем и, высушенную, кладу в шкаф, — к трупам, к тряпкам! Это — мечь! Высушенная, мертвецкая мечта о жажде желаний, о жизни во имя другого друга — людства т. ск.! — в тряпках! — Дух апельсиновой кожуры, между прочим, убивает моль. А моль у нас есть! Советую, если в тебе есть хоть капля крови благородного убийцы: возьми апельсин полакомиться, а тут же сдирай с него кожуру и в шкаф! Моли не будет, гарантирую, дух апельсина убьет ее!

А твой Голос из шкафа, оправдалец, уже не ответит:

— Надо любить!

ПАМЯТНИК ТАРТАРКЕ КАТЕ

Кто меня принял, кто полюбил, не зная, кто я?

Кто мне дал сладчайший напиток, рискуя арестом и репутацией лавочницы-красномяса клана N 1, — флакон Красная Москва?

А было лишь 9 часов, еще 2 часа до 11. 00, когда на Несском проспекте всплывает чудовище Несси, но что ей, тартарке Кате, до чудовища? Мы, кровинцы, боимся Зверя, преклоняя пред ним коленки, наши ноги сами несут наши тела в жертву чудовищу. Но Кате сверх сорока лет, ее коленки — еще как склянки для поцелуя матроса, да и после сорока тартарки не боятся.

Над нею — небо ясное!

Царюют в Столице лавочники-красномясы. Вся власть у них.

Инстанты — струители надежд, гладиаторы общества обещаний — диссиденты, борцы за права примата, и те, кто жует железо, и рабы-рыбари, и те, кто хлебает хлябь, мы, делатели наук, искусств, ледописей, — мы все десантники дефицита, дефицит же — всё.

Достать лучину для песни, постричь ятра в парикмахерской, выпить наперсток корвалола, взять живого ерша для уха, покусать капуст, купить кольцо для свадьбы двух, перчатки для вскрытья сейфа, крем-брюле для ботфортов, цепь на лапку лягуха, катапульту для хлуя, саксофон для улитки, челюсть для генералиссимуса, крючок для форточки, сшить штаны из крепдешина, дать эскимо ню, чтоб сосала на твоих двух ляжках, и т. д. и т. п. — не взлетишь же на звездолете «Боинг» в Ябонию! — все мы в умных, неунывающих руках красномясов. Люби их и они полюбят тебя. И тогда ты будешь иметь бумагу для рукописи из Фигляндии, ленту для пишущей машинки из Щипцарии, копировальную пергаментку из Дайлянда. И ты будешь иметь циркуль из Идальгии, свечу из Какнады, зеркало из Антикварья из Абсцисс-аб-Бабы. И ты будешь иметь яйцо, одно, из Гимнландии! Я вот — имею.

Все это имеется и в запаянном Кубе Верховных Инстантов, но во-первых, возвести себя в Куб можно лишь один раз и то — каким путем! Это мы помним. Они коллекционируют автографы, я был там. Но не у всякого кровинца есть автограф. Во-вторых: вот у меня есть, а дальше кухни и я не впустился. И в третьих все у них — тоже от Кати, это еще и Титана Себастьяновна Юбзальцева отмечала в своем интервью со мной на кухне. Бронированные машины с пуленепроницаемыми стеклами стоят у МОРОЖЕНИЦЫ с их номерами. Въедут на ул. Зайчика Розы, д. 2, под арку, первый подъезд налево, по 72 ступеням на пятый этаж, выше, по карусельным перильцам, где замок 16 кг и днем вывеска «МОРОЖЕНИЦА». Тут уж у этой бронированной двери входа на чердак, над моею головой, не скамандуешь: «ВПЕРЕД, ПОЙДЕМ ПОБЕД, ГОРНИСТЫ!» Тут — Катя! Машины стоят стоймя, нервничая, вынимая клыки из радиаторов, с клыков каплет слюна, желчь и кровь.

А Катя — А, Катя!

Кровь крови кровинцев, тартарка, чего ей бояться, красномяс над красномясами, у нее все есть. Все у нее и она всем: помощь в поле войн-вайн, спасительница нашей спеси. Ей интересно посмотреть, как молятся на кровяную колбасу, — Верховные Инстанты, с утра, живьем, у ее прилавка. И она дает им — вот вам кус колбас из Авессалома, вот вам ватман из Ватикана для

нового Кодекса, вот вам чаша чести из Чехии, кабриолет для дочурки из Дагестана, севрюга для супруги из Ягипта! А я — и без обеда, обойдется! Закроется МОРОЖЕНИЦА, отдежурится Клуб гомосексуалистов, я возьму сеть и обойду Эллипсеевский Гастроном, и «Боинг» Самого Верховного Инстанта ЭН доставит меня вмиг в мой загородный Дворец, уж получше Дворец-то у меня, чем у Самого ЭН!

— Самый ЭН — наш сев доходный, Катя — наш вес духовный!

И я поставил ей памятник в центре Столицы:

На Несском проспекте, между Эллипсеевским Гастрономом, Личной Белибердекой, Дворцом Юниоров им. св. Джоуля-Ленца и Театром им. св. Ююшкина. Тут ей, Кате, место. Прижизненный памятник — и это у нас не новость.

Ни инстанты, ни диссиденты не пришли на торжественное открытие памятника Кате. Черного Лебедя съели с Этьей, с песней, а Белый Лебедь не реял ни над чьею головой. 12 учениц-геометристок снимали чехол, отважный герой М. Н. Водольянов перерезал ленточку, перекрестясь, а я сказал тронную речь на русском языке (прикинулся иностранцем из Москвы!). Я знаю, что я делаю: инстанты помалкивают, потому что не имеют сведений из Тайной канцелярии, как Катя относится к памятнику Кате? Она была у памятника, но ничего никому не отнесла, — ни чтецу от числа, ни гребцу от весла. (Понимай, пуритан, меня, ну-ка поунимай сей сленг!) Инстанты не имеют сведений из Тайной канцелярии, вообще-то в Тайной канцелярии свой метод, им не до тем, не жалуют они инстантов, если те тупеют не по дням, а по часам — с 11.00.

А я открыл памятник Кате в 11.00. Всплывает на Несском проспекте чудовище Несси, все встают на колени, накаленные... а я тут же, на Несском, под носом у Несси — открываю! И говорю речь по-русски, как иностранец, из Москвы. Как отнесутся кровинцы-нессипоклонники, а иностранцы в частности, т. е. — я? Идет международный шахматный турнир, я открываю памятник Кате в центре Столицы, там, где садик, специально возвращенный в незапамятную эпоху для шахматистов. Что Тайной канцелярии до шахматистов? Уедут они в Израббиль, — обрадуются в Тайной канцелярии, все ж в садике — меньше будет жулья. А вот Верховные Инстанты раскладывают пасьянсы из кольтов: кто — шахматист, вернется, а кто — как дурак! — останется в Израббиле? Пусть яуреи уезжают в Израиль, восвояси, туда им и суть, но шахматист — соль соли земли!

Еще: балетная труппа гастролирует в Беглии. Танцовщики и танцовщицы тоже переняли у яуреев этот свинский маньеризм — оставаться. Если уж в Беглии, — бегём. Театр Балета Столицы —

лучший, билета ведь не достать в Театр Балета, как и в тир! Сцена ходит ходунами! — из спец-центра искателей Искусств они ж!

Третье: не нужно быть математиком, мать твою матик, чтобы рассчитать арифметику: инстанты не боятся мегатонной бомбы, не боятся Оси Враждебных Держав, они боятся лишь числа 4 в своей Столице: Катю, потому что пошатнется их мысль без мяс, Шахматиста, потому что пошатнется ход их фигур престижа, Танцовщика, потому что пошатнется их шаг на сцене с ценой вальса и валют, и Меня: я ведь, что хочу, то и делаю. Захочется, посажу их всех в пианолу, как Пилипп, король Избанский, сжал котят, вмонтирую в клавиши стальные гвозди и буду играть до-минорный двадцатый прелюд Жоупена, — пусть помяукают, пусть помурлыкают. Я это не сделаю, я не Пилипп Избанский, тот был юморист, а я хочу ставить памятник Кате и ставлю!

Для кого же Ментор сконструировал центр Столицы?

Для Кати.

Вот: ей — памятник!

Почему в Столице 77 прижизненных памятников Джоулю-Ленцу, а Кате — нет памятника? За что им, сдвоенным со сдвигом — честь? За то, что у них борода и ус? Понимается, но не до конца. Борода — и в баре у дам, ус — у всех. А Катя — вот Катя! Пройдите по вышеописанному маршруту до вывески МОРОЖЕНИЦА, у прилавка с фруктовой водой, у сифона — Катя в белом халате, лавочница-красномяс клана 1, ей за 40.

В День Первый, когда Бог бросил в меня молнией и я поднялся по ступенькам к Кате, со свечой, с циркулем, босой, в медвежьей шубе и шапке, а выюга выюжила, зима заимствовала Седьмую Песнь Ада из Данте Алигьери, и Катя, не зная меня по имени, дала мне флакон Красная Москва! К лику Святых ее не припишут, на Страшном Суде не оправдывается ни один людь. Но на Земном Шаре, таком маленьком, таком миленьком, Я — ставлю ЕЙ — памятник. Мой долг!

Я сделал памятник своими руками, своей кистью правой, пястью левой. Я сам отрихтовал постамент из чаши чугуна, а постамент поставил фигуру Кати в венце, м. б. царицы Самской, а вокруг нее посадил на стулья самых выдающихся кровинцев нашего века чайный и чтений: сидя на стульях:

отважный герой М. Н. Водольянов, Антип Инфантьев, Бадья Жужжомец, Гай Рузин, А. Б. Пупеза, юноша-гоплит Александр, человек в рыбьей чешуе, Оскар Блять и Муз Икалин!

Милоту Скорлупко я посадил бы, на стул, но его посадят повыше, он, пожалуй, добьется и верхушки дуба, если повесят как-нибудь, при благоприятных обстоятельствах. Я дал бы стул и Йюбздальцевой, хоть она и не пустила меня дальше кухни, ну

как не дать стул на постаменте женщине в жемчугах, имеющей мой автограф? Но у Йюбздальцевой нет юбки, я не знаю, где достать ей, а Катя не даст, ей Йюбздальцева — экземпляра нет! Пусть скромность остается с криминалистом, я посадил бы на постамент и себя, но Верховные Инстанты уже сделали мне такую рекламу, так размалевали меня на портретах и лозунгах, что я не посадил себя из принципа: я еще не проявился в Космической Вечности, а меня уже малюет всяческая мелюзга, марает мое истинное имя, туманит мое святое сердце!

Из женщин я поместил на стул лишь Дуню-ведунью, я ведь взял ее из вертепа лесбиянства, теперь она уже не убивает цветы, вылизывая их по наитью языком, а теперь Дуня-ведунья — Грозный Гость всех оранжерей Столицы, она рубит бутон гильотиной, потому что цветку место не в теплице, а под солнцем!

О Зубикомлязгике. Его заслути не переоценить, казалось бы, ему первому — стул! Но я не дал ему места у Кати. Он выучился в Тайной канцелярии, опозорился в операцях сам, а ведь это бросает тень и на меня. Он курсирует в электропоездах по пригородам, без дуба, конечно же, с галштухом, провоцируя кровинцев, если увидит несоциальное лицо. Увидит, вынимает флакон Красная Москва (эх, эпигон!) и говорит, обращаясь: — Прежде у нас была правда как праздник, а сейчас — гадость гадючья! Виноваты инстанты: это они выдумали превратность судьбы, неприятно и сказать кому-либо-нибудь-кое, что ты — житель общества обнищаний! — Все кивают и пьют.

На какой-то из станций, когда от речей Зубикомлязгика закивают уж, как дятлы, Зубикомлязгик жестом Ромео снимает пломбу с кран-стоп, останавливает вагон, сует водителю тайную книжечку и выводит весь людь вагона на перрон.

Сколько раз жандармы станций били ему в нос: нельзя выводить весь вагон с людьми. Генеральный Прокурор Столицы не подпишет 70 ордеров на арест без минимума мотива, а тут получается, что на электрической дороге с рельсами — революция! Нужно выводить по одному, со всеми предосторожностями, под руку, будто бы обнимая, будто бы кровинцу плохо от плача и ты ведешь в медицинский пункт с целью укола от алкоголя... Тогда-то и поощряют: премия в брюляях и бесплатное купе с путевкой в санаторий «Братья Grimm» или «Сестры Бронте». А — вагон?! Тут уж извиняйся, ефрейтор Зубикомлязгик, бить тебя, не перебивая нос! Бьют! Что ни день! А он так предан профессии неопита: что ни день повторяется то же: вопросы, кивки, — выводит вагон на перрон и требует 70 ордеров на арест, — что с ним, как быть?

На пьедестале у Кати ему не место, — мамлюк! Еще не замучил ни женщины и не понял, что кивают на его репризу не потому, что соглашаются с алогизмом, — потому, что электро-

поезд шатается на колесах, потому что у всех в глазах — слезах от бормотух. Какой же кровинец согласится с провокацией? Имперфект, — сейчас есть гадость (где нет?), но жизнь не гадючья! Правды в речитативе Зубикомлязгика ни на пейку: живем, как живьем, плюй в поцелуй, не хочу плевать, слюну припряду для калорий!

Я сам чертил чертеж памятника, мастерил макет, сам отливал из чистого чугуна на заводе витаминных препаратов. Стоит Катя, сидят на пьедестале мои механизмы, в париках, в мундирах, в чулках, в башмаках с пряжкой. У Кати — венец, скипетр и держава, у остальных: кто чем отличился. У М. Н. Водольянова, к примеру, на лысине звездолетик «Восторг — 111»... Кто ни увидит памятник — zalюбуется! В Катин садик пойти — и врач-окулист исцелится от оккультизма.

Расхвастался я. Но прежде приезжайте, посмотрите, а уж критикуйте. Но не с критикой, скульпторов у нас нет, а мой памятник — лишь дань Дню, благодарю времена венеризма, когда еще ставится памятник Кате, а не плаха Хунте.

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ

Я не коллекционирую сувенир Времени и Любви, — я сам сувенир. Когда я ушел от Майи, исчез, не найти, я не взял из-за нашей дворцовой дверцы ни перышко, ни прядь волос в медальон. Я не взял фотографию, где Майя и я, два юных зверя, окольцованные в жизнь. Где Майя, любимая, волнуется, на ней венец белой розы, слезы дрожат, как дождик, а губы, как мы любим, юница моя губ, — заневеститься!

Мир губам твоим, гибель нашей ноши!

Где я — профиль юноши-волка, свиреп и щеняч, в полуфранцузской шоколадной тройке, вместо галстука — фамильная брошь с вензелями, запонки — горный хрусталь в злате, с какими кудрями, желтоглаз и пух ресниц? Потом я их вырвал, помнится, — вырвал ресницы.

Помнится — полнится — поминается. После басней бесслезных дай мне просьбу поплакать в час Верховного Часа!

Я взял лишь свой письменный стол. Взял, но не усидеться за ним, память шею метит, не петлей, так спазмой. Я отдал стол Тимофею Трифоновичу Тиволгину, коменданту Дома Балета на ул. Зайчика Розы, где я поселился в мансарде, под чердаком с Клубом гомосексуалистов над моею головой.

Кто был Тимофей Трифонович Тиволгин, Т-3, как мы именовали коменданта, аббревиатурой?

Т-3, как все коменданты, служил в Тайной канцелярии, потому что из него не получился хореограф. У кого-то что-то не ладится в таланте, всех туда берут, чтоб они не сошли с Земли, а вели вразумительный вид жизни.

Вот и ведут, — дневник на тех сослуживцев, кьи стали знаменитостями, не изучая и аза дактилоскопического матьморализма. Поскольку же со знаменитостями они теперь не общаются плечом к плечу, а видят их лишь на концерте, на сцене, во всем блеске баса или котурна, а у Дома искусств их видят в коньячных, злобных от зелья, с тусклой зеницей, орущих об оружие с пулей в лоб себе, то и в них, комендантах от хореографии, просыпается творческий импульс: они пишут в дневник гоголевской прозой, гневной и предусмотрительной, что знаменитость блещет на сцене искусственным блеском, а в обществе прожигает жизнь, которая посвящается кровинцам, что их талант потускнел в глазу, а разговор меж ними — как бы перестрелять в лоб не себя, а инстанта. Дневник читается в Тайной канцелярии, с яурями уже не борются, их нет, диссиденты сами просятся в тюрьмы и получают камеру-одиночку с синей лампой для сна и с мировым мнением, бороться не с кем, а мы — для борьбы, вот и выдумывают тот иль иной дневник — документ для борьбы со знаменитостями.

Основной состав Тайной канцелярии — филолог, философ, юрисконсульт, с Искусством их знакомят в университете до тонкостей, а вот с личностью знаменитости Искусств их не знакомят, вот и пригодился комендант, — тот знает каждую квартиру.

Иногда я ввожу и в себя доз яда: ведь я — то впадаю в идиотизм, пишу пишу пером о том, что взвесил всякий. Но раз человеческое мне чуждо, я и резюмирую чушь-то!

Вспомним: еще 374 года тому, я, Петр Басманов, — друг царя-самозванца, так же стоял за идиом идиотизма: единственный у дверей Друга лже-Дмитрия, и, не думая о судьбе Брата, Андрея Басманова, который был убит из-за меня, а я — один — против 250 млн. — сражался и пал с мечом в руке. Сейчас я, Иван Басманов, хожу у дверей хижин, там жужжат все те же 250 млн., от кого мне и кого защищать, с кем и чем мне сражаться, я — сам себе самозванец, я сам себе — самородок, ничей друг, ничей брат.

Итак, Т-3 не пьет, не курит, не хватает за хоботок мальчиков-милчииков танцовщиков и не беретса рукой за ногу девицы с девизом. Т-3 слушается, служит. Ходит по квартирам и смотрит

на нас, а мы смотрим на него. Мы знаем, какую Хронику пишет комендант, наливаем ему рюмку, даем сигарету, а также те книги, которые так любят кровинцы. Но книги — дефицит, а бормотухи — хоть опивайся, вот и не читают, а пьют, — быют в 11.00 нервный поклон чудовищу Несси, низкий поклон, чтоб не свалиться в канализационный люк без Милоты Скорлупко, и сваливаются.

Т-3 сливает рюмки в термос, разливает сей напиток по бутылкам с наклейкой «Дейбл-Уйопкер», а сигареты расфасовывает в пачки «Джьебель».

В 24.00, в тот час, когда мы, обескураженные нехваткой алкогольной цыкуты, бросаемся по всем этажам, комендант выходит в наш дворик для детей, в шляпе, с чистокровным лицом, и продает нам бутылки и сигареты по ценам валют.

Обыск: обнаруживается бутылка с наклейкой НАДО, сигара, которую курит диверсант идологий из УЭСА, нас еще не сажают, но предупреждаем: НАДО антикровинский блок и пить их бутылки не надо, УЭСА — держава держиморд, у них не курят, а лишь мутят мозги сигаретой, в ней марихлуяна! Тайная канцелярия получает плюс за предусмотрительность, а комендант остается комендантом, а мог бы и не остаться, если б так не служил: он имеет пенсионный возраст, нет столицы, где бы так заботились о безопасности пенсионеров, как у нас, — им запрещается работать. А пером — пиши дневник, поспешай, всюду враг: шахматист, балетоман и я. (Здесь поправка: шахматист и балетоман — два действительных, неукротимых врага кровинцев. Я — не враг, а ворог, кто-то приписал в мою рукопись для красного словца. Но и к моему заявлению поправка: я — не считаю, что я враг, но где-то выясняется. Кем-то.)

Как-то, веселый, сочувствующий вся, я разговорился с Т-3 о болезнях медицины. Я сказал, сказитель:

— Ты как в труде, комендант ведь не какой-то тост, а ответственный пост! Да и дневник для них — труд не в труд! Выпил бы, повеселился бы, а повеселел бы и повесился бы! Выпьем, Т-3, с выей на вервье!

Т-3 сказал, сокрушающийся:

— И выпил бы и с выей бы, но нельзя: у меня желчь в желудке и недуги!

Тогда я взял флакон и сказал, торжественный:

— Тимофей Трифионович Тиволгин, вот что писал апостол Павел в 1 посланье тебе, Тимофею:

«Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых недугов твоих!»

Тимофей Т-3 сказал, что отрицает и вид вин. Т-3 воскликнул:

— ДА, НО МИЛ ЛИМОНАД!

— Так-то! — не так-то уж изумился я. Последняя рукопись

моя коменданту известна. Ведь он цитирует палиндром из главы, где я бегаю в аптеку с лютым лбом, с коматозным состоянием. Нужно любить Т-3, ведь он любознательный, рукопись я запрятал в помойное ведро, а помойное ведро висит в тайнике у Кати, в МОРОЖЕНИЦЕ, на чердаке, в Клубе гомосексуалистов, висит и звенит, как бубенец, и Катя-то не знает, что в ведре — рукопись, или музыка. А Т-3 знает.

Таким проницательным людям как Т-3 дарят не пост коменданта, какая же это плата за дар провидца? Таким комендантам нужно дарить что-либо мемориальное, вечное, чтобы он остался в Энциклопедьи на букву Т.

Тимофею Трифоновичу Тиволгину я подарил свой письменный стол.

И что ж?

Тимофею Трифоновичу Тиволгину я подарил свой письменный стол, я написал за моим столом 20.000 трактатов о постулатах, не считая чертежей и рукописей. 14 лет мы жили с Майей, 14 лет я писал за этим столом. Такой стол — пиши и да пишется! Для коменданта — сюрприз, для моей мансарды — плюс на память!

И что ж!

Т-3 преобразился. Так преобразился Т-3, что Тайная канцелярия из зависти дала Т-3 в добровольцы Зубикомлязгика, чтобы он присматривался к коменданту. Зубикомлязгик! — нам уже известен рекорд его дисциплин. Теперь он присматривается: куда бы ни двинулся комендант, Зубикомлязгик — за ним, ступая всей ступней, чтоб не шелестел шаг, и смотря в сорократный бинокль в фас коменданту, то в темя, то в профиль — как подвернется.

Бью себя с грустью в грудь: было на что посмотреть.

Ничто так не действует на инстанта, как письменный стол. Каков стол — таков и кровинец. Если стол-сталь, инстант — Маршал Вооруженных Сил, если стол не из роз, а из родных берез, — верь, это Верховный Инстант, если стол ни из чего не происходит, а висит в сейфе, как сельдь с хвостом, или секрет с Христом, — кто же это? Не догадывайся, ни к чему, это инстант Тайной канцелярии. Если у инстанта нет стола, инстант уже отнюдь не инстант, а яурей. О чем писать за столом яурею? О том, что вокруг одни яуреи? Это нам известно. О том, что не дает жизни «Логос Хамерики»? И это мы знаем. О чем же еще вообще-то в мире можно писать за письменным столом?

А ну их на икс, яуреев, их нет уже, и нам не до них!

Инстант-комендант Тимофей Трифонович Тиволгин идет, пре-
ображенный; есть на что посмотреть!

Он не бреется, курит трубку мегрэ, пьет простоквашу из
ликера, приводит в кабинет девиц с девизом и мальчика-мильчика.
О девицах с девизом, скажу: не из МОРОЖЕНИЦЫ, где Катя,
у Кати морду не бьют, Т-3 водит девиц с вокзала им. св. Витта,
Гай Рузин девиц не любит, у него все девицы, как лошади в
яблоках — все в синяках! Мальчик-мильчик, я вижу: не из Клуба
гомосексуалистов, там мужчины и любят и без губ, а этот —
чей-нибудь сын, Йюбздальцевой, м. б., ходит с сеткой, а в сетке
сосиски; сосисок у нас нет, они лишь в Москве и у Йюбздаль-
цевой, — из Москвы ей привозятся, визой. (Ведь и виз-то у нас
нет, и уточнять не надо: сын Йюбздальцевой от кого-нибудь, м.
б. уж и от Зубикомлязгика, ведь до той памятной ночи, когда я
вылетел из Куба на «Боинге» и позвонил Зубикомлязгику, — не
было никакого сына у Йюбздальцевой, а вот — уже учится в
Доме Балета, мальчик-мильчик с какой-нибудь фамилией из аб-
бревиатур.)

Все бы ничего бы, но Т-3 спрятал дневник, не пишет. Как не
забеспокоиться? Как не дать ему в добровольцы Зубикомлязгика
с биноклем, если ко всему тому Зубикомлязгик — отец фаворита
Тимофея Трифоновича Тиволгина?

Что же все же произошло? Почему Т-3 так изменился, на
180°?

Мой стол я не описываю. Стол, как стол, из материала мореный
дуб с ящичками, на четырех столбах. Что же сделал со столом
Т-3? Он поставил стол на четыре колеса из материала миндаля,
со спицами; он просверлил стол и вставил в ящики весла, как
в ячейки; в туловище стола он вмонтировал мотор от звездолета,
в 100.000.000 лошадиных сил. Получился уже не мой письмен-
ный стол, подаренный для Энциклопедьи, а корабль аргонавта
Язона, многовесельный на колесах!

В буйную бурю, в мраз и в метель, если нам наводнение,
если за сим землетрясения, но и в дни солнца, — Тимофей
Трифонович Тиволгин, вот тебе и Т-3! — выезжает на столе-
корабле во двор Дома Балета, а весла не убирает, вращаются,
с быстротой мясорубки!

Шахматист из Катиного садика ходит к нам (пить сифон
фруктовый у Кати), войдет во двор, увидит Т-3 на корабле,
стоит, смеется!

Танцовщик выйдет во двор с гантелью для тренировки мышц,
с тимпаном, в тапочках, увидит Т-3 на корабле, говорит:

— Это сумасшедший!

А я говорю:

1. Блаженны плачущие, ибо они утешатся, но смеющимся — нет места на земле.

2. Не зря предостерегал праотцов евангелист Матфей: «А кто скажет брату "Это — сумасшедший", подлежит геенне огненной».

Сбылось и 1 и 2, По пунктам. И шахматист, смеявшийся, и танцовщик, сказавший «Это — сумасшедший», — попали в мясорубку. И тот, и другой.

А мне не до смеха, а я скажу:

— Я виноват. Я подарил коменданту письменный стол, а мог бы — кухонный; вот в чем я раскаиваюсь. Я писал за этим столом и думал не о себе, а про себя, думал, подчеркиваю, а вслух не говорил. Вот в чем вина моя неискупаемая: я думал и о Язоне с веслами для мифа моря, чтоб от лая психпсов Столицы — в Элладу; я думал и о мясорубке, если не удастся миф моря, то хоть похитить кой-что из Эллипсеевского Гастронома, из фальши, для фарша. Потеря памяти: я позабылся, что письменный стол, как всякий стол, усваивает помыслы, идеи и идеалы Хозяина. Вот вам, — иллюстрация!

Мне бы подарить коменданту кухонный стол, поварской. Как бы мы стали питаться, какой компот пить! А дерзкие сны о чревоугодье, сервировке. Во дворе Дома Балета стоял бы стол со скатертью, а на нем: свинина в колосьях пшениц, десяток-другой оловянных тарелок, тисненых, с эмблемой Столицы, у каждой тарелки справа нож, а слева вилка, еще на столе блюдо, а на нем балык из кильки! А у стола: Тимофей Трифонович Тиволгин, в белой шляпе, в шоколадной тройке, с фамильной брошью вместо галстука, с поварешкой для борща!

Знаменитец, Исцелитель, Академик, Герой, Лауреат Наук, Гений Эпох, — где был мой ум, когда я дарил свой письменный стол?

Еще бы: в кратчайший срок стол внушил мои сокровенные формулы и фигуры, и кому? — коменданту! Непредвиденное предательство. Теперь комендант ездит на столе, как на собственном (а как же ему еще ездить — его теперь стол! если уж подаренный!), вырубая веслами встречных-поперечных — шахматиста и танцовщика. Если уж начистоту о мясорубке, и я бы прокатился, вырубая. Но не их. Но как я мог предположить, что у коменданта иные симпатии и антипатии, не как у меня?

И уж совсем дурь дурацкая: внушенный геометрической прогрессией стола, Тимофей Трифонович Тиволгин теперь уже и геометр, вот-вот баллотируем Т-3 в Академью.

Об этом горевать не стоит.
Но себе я сказал:
— ДУМАЙ, ЧТО ДАРИШЬ, ДУРАК!

ТЕЛЕФОН И ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Телефонная трель — как трюк: как стук в лоб: кто, тут?

Трель, трубка, в ней плеск. Кто? В ней телефонам плещется в ванной, как вертоносец.

Трубка — мне:

— Кто на проводе?

Я — ей, быстр:

— А кто на веревке?

Трубка:

— А кого Вам хочется?

Я:

— Вас!

Трубка:

— Меня? Хочется? Я сейчас! Помоюсь уж потом!

Я:

— Мне вас хочется, — на веревке! Не мойтесь, правда, обмывают спец-сестры. В морге.

Трубка:

— Вы — змей, а я-то уж вся взмыленная!

Я:

— Как бы в мыле ни корчиться, а кобыле кончиться. Чего тебе нужно?

Трубка:

— Ты ко мне с битвой, а я к тебе с бритвой. С веной я в ванной. Кто я? Вы меня не знаете. Но мы ведь не экзаменцы. Кто с кем-то, — кому анкета? Чего мне нужно? Явь, близость! Я люблю Вас! Скажите ж мне: как жить мне, — ночью! в ничью?!

Я:

— Я не учу!

Всхлип. Трубка захлебывается. Морзе-гудки. Я смотрю на свою, — вислая кляча, копыта болтаются. Тебе-то до трюка, ты — трубка.

Смерть — как-то! — не цель. Но той, с бритвой, — коней ей. Я-то уйду, в ухо «ту-ту!», в иглах, как сталь... Рад, ежик?

Этот стиль называется: РАЕШНИК.

Веной ничей молодой в ванной ночной медуз.

Моцартом церемоний — мой туз!

У мембран свой маразм: кто-то в баталиях с «я» на проводе, кто-то болтается на веревке. Кто-то с битвой, кто-то с бритвой. Ну их в нулик! Хоть бы платили сестерций за рифму сентенций.

Зубы б мои на замок, но вот: звонок!

Трубка:

— Дайте справку! Я у колонн!

Я:

— Я не спрашиваю, где ты. И справок у меня нет.

Трубка:

— Вы — Зайчика Розы? Что же у Вас есть?

Я:

— Холодильник. В нем яйцо. Одно.

Трубка:

— О голодный! Я приду оголенной.

Я:

— Я ню не ем.

Трубка:

— Я из Венегрии, но прежде, чем быть Вам, я обязалась себе знать генеалогью Вашего Дома. Сейчас же мне справку, а то я стою на ветру у колонн, знаете, я ж замерзаю. Листья клена ловлю, но они не из меха. Сейчас же мне справку, теперь-темп!

— Прежде и теперь. Теперь на ул. Зайчика Розы горят электрофонари, ноябрь не радует ню с кленовым листом, оголенную, — ох! — или же так назовем ее: иностранку. Теперь улица Зайчика Розы, как музыкальный Музей: выйду ль я утром из-под арки Дома Балета, а у Дома 20 колонн. Стоя, бросаю свечу и циркуль в люк театральный, лишь остаюсь босой, но в шубе шабаша, но вижу: у каждой колонны стоят 20 кровинцев, я их и знать-то не знаю, стоят, ждут, что я выйду и исцелю. Морды у них, признаться, хуже метафор. Что исцелять их? Из цсли их кожи цыплячьей? Метель, но и я не у мартена. Я говорю им: сдвигайте колонны, чтоб все они были не расставлены в Доме, как демиурги, сдвигайте их сюда, ко мне, чтобы они стояли пред мной, как трубы органа. Очень они, т. е. кровинцы, огорчаются такому труду, но сдвигают. Колонны стоят. Я говорю им, кровинцам: колонны стоят пред мной, что ж вы — стоите? — Что же нам делать? Наш долг — стоять, это стойка у нас. Я говорю им; ложитесь! Ложатся. 20 кровинцев ложатся друг на друга, получается табурет из тел, я взлезаю, садяюсь, сижу на табурете из 20 людей с кровью, а своей кистью правой, пястью левой я играю им на органе колонн нео-поп-музик, но и из

древности — к примеру, пеаны Пунических войн, — да мало ль мелодий! У колонн много клавиш.

— А потом?

— А потом бьется в колокол Адмиралтейского шила 11.00, все бегут к нашей Несси, чтоб доисцелиться. Вечером иду под арку Дома, в общем-то возвращаясь, те же 20 кровинцев стоят у колонн. — Вечером-то что стоите? Вы ж исцелились, не так ли? — Мы исцелились, — отвечают. — И морды у нас порозовели, как у паразитов. Но мы хотим исцелиться до последней капли крови, чтоб каждый мог сунуть нам в морду кулак и сказать напрямик: — Вот идет, имя ему — долгожитель!.. Ну, исцеляй уж нас до конца, Иван Павлович Басманов! — Раздвигайте колонны! — я говорю. — Это так трудно! — говорят они с 20 восклицательными знаками. — Вы же утром сдвигали, ничего, исцелились. Как же мой Дом Балета на месте, а фасад — исковерканный, колонны не на месте! Раздвигайте колонны по архитектуре! — Почему бы и нет? Раздвигают. — Дальше что? — спрашивают. Я говорю: снимайте свой шляп, шалопайцы, и бейтесь о колонны голой головой. 20 снимают шляпы и бьются. Звон от колонн! — Бейтесь до утра, — говорю я, — я люблю спать под звук звона. — Они бьются до утра, я сплю до утра. И им польза, и мне спится.

— У меня уж от хлада зубы стучатся друг в друга. Но теперь уж Венегрия будет знать о моем интервью про ул. Зайчика Розы. Вы — известный импровизатор. Но я дрожу и трубка держится в пальцах почему-то как приклеенная. Вот-вот упадет. Передрожится мне с кленовым листом от таких передрыг!

— Трубка не упадет. Вы ведь пальцы лизали, у вас ведь в Венегрии нету соли. Нигде ее нет. Соль лишь у нас. Мы ведь и улицы солью забрасываем, чтоб на улицах слякоть. Мы — соль соли земли.

— Но слякоть-то к чему?

— А как же? Без слякоти нам ничего не случится.

— Что же может случиться со слякотью? Да и зачем?

— Как что? А кто падет оземь и сломается руками, нога отломается ноголо, башка набьется набор? С такой-то статистикой мы можем померяться и с «Логосом Хамерики». В пасть им кляп: у вас индивидуальность, как вы хвастаетесь, а у нас что, инвалидности, что ли, нет?

А пальчики у тебя, дитя, не прилипли к трубке, отнюдь, — примерзли они, не отдирайте, кожа ведь снимается при этом, нерв обнажается, а вы и так нервничаете, ведь у колонны не только лист кленовый, но и ледок.

Теперь я расскажу, что здесь прежде, в Доме Балета, — было!

Интересней!

Вацлав Нижинский нашей ночью (каждой!) поджигал Дом Балета, спичкой.

— Для чего?

— Дурацкий вопрос! Идет путник из Венегии в Столицу по морю им. св. Бельта. И уже видит издалека-издалёка, из Гавани: ага! огонек! в Доме Балета кто-то есть! еще живой! Значит, можно зайти. Где путник, тут и пудинг.

— Ах, а потом?

— Дом горит, они пируют и едят. А там и танк.

— При том, что потом. Где танц, там и танк!

— Танцуют?

— Но Вацлав — танцовщик. Хоть вы из Венегии, а ни хевра не знаете. Так танцуют, там суют. Он сует. А танк — для тактики. Для тактических учений, чтоб танцевали такт в такт.

— Ну и жизнь в Вас, Вацлав! Ну и жизнь, Нижинский!

— Не все. Пока путник ел, Дом Балета сгорел. Дотла.

— Ужас. А утром?

— А утром, когда я бился в колокол на Адмиралтейском шиле в 11.00, 250 млн. кровинцев отстраивали Дом Балета заново. У них же был билет на дневной балет, а как билет — без балета?

— Какой Вы интересный! Но пока Вы с такой подробностью мне говорите, я от нехватки солей обливалась вся, вот и примерзла к телефонной будке, мне мнится, что навек.

— Иностранцы комплексуют. Мне так не мнится.

— Клянусь, я примерзла даже ребром. Спасите ж! Я так люблю жизнь и познакомиться б с Вами поближе!

— Вы-то зубрите Библию, как зебра, Вы, бездельница из Венегии, знаете страницу за страницей. Ребро, которое примерзло, это ж мое ребро, вы ж, как мы смеемся — происходите из ребра Адама. Вот и познакомьтесь поближе с моим ребром, примерзшим, как вы выражаетесь. Отмерзнет же оно, а спасать — спасибо, у нас нет спасательных поясов, а вы — иностранка, у вас — инициатива!

Звонят же, извините, ночью, а на что?

Если бы из-за вина, или поесть, а зачем еще звонить — из-за акцента? Справки требуются; я не Авиценна, я не врачеватель со справкой, а вот выговорился до последней слюнки слова и еще говорю:

— Не пропадет, пропадла. Найдут и надуют, как надо!

Телефонная трубка — как радиорубка: ты сбился с курса и тебя теребят, как ус сивый у кобылицы Блед, то ты сгинул и тут же сигнал СОС, как будто ты поздний Иоганн Себастиан Бах и лишился вдруг слуха, как Людвиг Бетховен, а 'то треп

о том, что нет троп у гармонических групп элементов, всюду цирк, орицикл, ветер Витрувия, что сиська у тебя для меда и млека, — о телефонная тема с будкой, с последней буквой, — я нем, меня нету!

Тут и... трубка вьется, как тряпка:

— Иван Павлович! Последняя просьба: Ляля захлебывается!

Я:

— Ах, Лиз-Лиз! Так отхлебывай ея!

Трубка:

— Ох, отхлебывай! Да теперь всем именам и племенам не расхлебаться!

Я:

— Перестань, не паясничай! Что еще?

Трубка:

— Рада б и я в рыдания, а Ляля всплакнула, что называется, навзрыд. У нас две девочки!

— Я рад, Лиз-Лиз!

— Но они родились. От тебя. Им уже по 12.

Я:

— Поздравляю. Расцветут, присылайте. Сделаю синие глаза.

Лиз-Лиз:

— Придется дать двум.

Я:

— Дать тать?

Лиз-Лиз:

— Двум твоим дочерям придется дать синие глаза. Сейчас же. Им по 12, имя не потеряется. Ты, прародитель новых племен и имен, близится Страшный Суд, спустится Тот, чье имя не называется; кровинцы — как рванцы, им всем дадут «да» на Ад и, кумекай, — на муки, да что там Ад и муки, устроится нео-потоп, но нет Ноя, волнами-войнами захлестнутся и захлебнутся, — кровинцы, но не мы. Но так что-то не так. И у меня есть план. Слушай:

СПУСТИТСЯ ТОТ И НАЙДЕТ НОВЫЙ НАРОД: девочек-синезабок! Тот обольстится, Суд обойдется, каравеллы кровинцев дадут нам приз за спасенье утопающих: **КОРОНЫ ОТ КРОВИ!** И кровинцы с той стати будут служить нам, слушаться нас, мам. Ты станешь **ИМ ИМПЕРАТОР**, я — **ЦАРИЦЕЙ СТОЛИЦЫ**, богиней с бегонией, Ляля — принцессой с пинцетом! Я говорю: тем, кому сейчас по 12, двум твоим дочерям, рожденным от меня, Лиз-Лиз, и от моей дочери Ляли — тобой, сейчас же к тебе приедут, уразумей же, отче, они станут с тобой стараться и обе родят от тебя по двойне. А от нас: Я и Ляля и после — все мы родим по 8, получится 84. Только через 50 лет нас будет 64 в 64 степени. Считай, считай, отщепенец! До 94 тебе-то

дожить, как плюнуть! Доченьки едут, готовы им кровать и ковер и горшок с крышкой от кастрюли! Новый народ-синеглазец! Вот это выдумка! Новый мир, построенный не на уме, а на глазах! Ведь мы-то построены на уме и умрем в Страшный Суд, если ты не согласишься!

Уж на моих глазах был построен новый мир и новый народ, — себе на уме. Зачем нам до тех, кто до нас любопытствовал, есть ли любовь? А после нас, о умелец ума, ну, — зачем замечтался ты, лык-велик? Ты-то в титрах любил, или был? А зачем?

А зачем вам зачет за чей-то там счет? Ни за чем. Бой отбай-бакал, — бей в балалайку!

Странный суп — Страшный Суд. Я родил от Лиз-Лиз — дочь-синеглазку, от Ляли — дочь-синеглазку. Хочется им — и т. д. Новый народ. Девочки-синеглазки. Армия амазонок. Самый лучший палиндром: МУЖЧИНА-ЖЕНЩИНА. Мужчина читается с головы, женщина с ног. Ну и народец! Как не обольститься Тому? А в суетном супе буду вариться и я, — кровосмеситель! К заслугам за плугом титулов этих мне прибавятся те. Хватит с меня и кровинцев, хватит с них кары. Я — уже не ЗАЧЕМ-ТО, ничья не защита!

Не спится, не снится. Уши шумят — у меня!

Сад, аллея, пещера, лист в листве, степь, в ней анемон, ул. Зайчика Розы, двор, комната, люстра, — сидят, цепляются, клюют, проносятся в форточку и пропадают на Заре, — летучие мыши!

Птицы летают лишь по ветру, боятся бурь. Птица-певица летает на любые расстоянья. Полет ее — цель, как шаг пешехода. У птиц внутри костей воздухоносные камеры. Птицу ранят в крыло, оправляется, травку покусывая, заврачует крыло и летает себе — кто куда. А не заврачует, ходит и так по Земле, в доме у людства поет, в 300 ей терпится. У птицы — перья, защита от воздуха и посягательств врага. Клюв ее — меч. Слепленная, птица летит кое-как, но запутывается за первый кустик, падает при дождях, не понимая, где воздух, где вид вод. Оглушенная, птица теряет ориентир, полет ее как невроз и отнюдь не плавен. Птица — летательный механизм, дистанционный пилот, стайер.

Птица вьет гнезда и вьется, ищет семя, червя, ест и падаль, кость кусает, всеядна. Все для «дай», для гнезда. Птиц любят. Скворцу скворешня, утка для утра, аист — символ отчизн, журавль — пой-перо живописца, павлин — тронный перс, буреветник — спецреализм, орел — т. ск. ореол, соловей — Сольвейг и т. д. и т. п. Все приручаются. Птица с сумой не пойдет, обворует.

У летучей мыши внутри костей воздухоносных камер — нет. Череп: тонкая черепная коробка, и нежная лицевая часть, нос ведет вверх, напоминая копые, пасть оскалена, глаз голубизн светится, как у скелета! — карикатура на лица нас, людь, — гримаса! Летучая мышь — кровопийца, вампир. Дифилл и де-смед — Диоскуры!

Летучая мышь — рукокрыл. Руки с крылами — лай летания, тело же как-то малюсенькое, как ни к чему. Пять пальцев, меж тремя летательная перепонка, пятый же — на нем коготь, замещающий при подвешивании кисть-пять.

Летучая мышь не боится бурь и ненастий. Что ей жар, что ей холод. Но не любит гром, ведь он ударяет вдруг! — ужас, валится с воздуха, купающаяся в струях водопада, прицепляется как-то к чему-то, что ей скала, человек, зверь, — схватится и карабкается, — лишь бы отдышаться от вдруг. Гром утих, — расправляются крыла, улетает купаться (в воздухах, — уточняю).

Летучая мышь летает не более получаса. Ведь ее летательная перепонка без перьев, а двуслойна: верхний слой — продолжение кожи спины, нижний — кожи от живота. Нету перьев, на обнаженной коже нить нервов, сверхчувствительные волоски, — антеннка, громоотводик, звукоулавливатель, — радиолокация, медиум.

Ослепленная, летучая мышь чувствует себя так же, как будто глаз ее всевидящ. Оглушенная — так же. С вырванными ноздрями — обойдется. Был такой беллетрист Спалланцани. Опыт: он ловит 12 летучих мышей, ослепляет их, оглушает, вырывает ноздри. В небольшой комнате он вбивает без умысла — гвозди, на гвозди натягивает нити — как придется; выпускает летучих мышей. Ослепленные, оглушенные, лишены обонянья, — мыши летают по комнатенке, не задевая друг друга! Ювелирный полет!

Летучие мыши любят летать. Их полет быстр, блестящ, уж куда до них бабочке, ласточке, стрекозе, Воздушный акробат-эквилибрист, им полет — акт артистизма, импровизация высших фигур пилотажа, — в считанные секунды! Композиции этих фигур и не снились и не приснятся конструктору-косм. Ведь у него ум и чертеж, а у них — сцена и танец, где солнце — лишь театральный оператор-осветитель, или же им луна. Полет летучей мыши — судьба, крылатый гений!

Крылат-то крылат, а уши — ужасны, срстаются над головой и шумят. Люди ненавидят летучих мышей, им (людям) они (летучие) непонятны. Не вписываются в службу с лишь бы. Днем спит. Ночью пирует. Губы собраны в массу морщин. Цивилизация столиц для них — кри-кри-кри! — это ее гнусный голос, голос-губель, винт вампира, нет, не приятный, не из поэз.

Летучая мышь — товарищ. Посади в узкогорлый сосуд единицу, на Заре в стеклянном кувшине увидишь: бьются 366 ру-

кокрылых! Единица (та ж!) кричала помощь, на крик прилетели 365, в ту тюрьму, туда, где та, но чтоб с ней. Не бросят у бед.

Летучая мышь часто летает к воде и помногу пьет (воздух в ней задыхается!). Нет у нее любви, спаривается раз в год, чтобы род шел в народ и — ау! сама по себе!

Пища: плод смоковниц, плод манго, финик, банан, фи́га, яйцо птиц. Пьет мед из цветка, нападает на рыб и змей. Кровью же этой прославленной человечины — брезгует. Спи, человечина, в лодке-люльке двухместной, мышь — не съест, крови в тебе не убавится до убиенья нашим ножом! Курсируй, кровинец, на поиск пещер, мышь не клюнет твой кровяной шарик, лишь в Хамерике (вот ведь везет этой дрянной лжедержаве УЭСА!) есть летучая мышь-листонос, она-то вот, гангстер-губаст, и пьет кровь. К сожаленью, не у хамериканцев. Что ей любой людь, если она — нелюдь. Листонос пьет кровь у коров. Хамериканских. Но что нам хамериканские коровы, у нас и своих-то хоть отбавляй, вон в Летейском саду — карусель из коров! Для аттракциона!

Но треть жизни летучая мышь может вообще не есть. И нисколько не сводятся скулы. Не есть — так не есть, подвешивается на чердаке над моею головой, спит — вниз головой. Так и спим-сплюм голова к голове, какая уж тут тавтология.

В неволе же летучей мыши — не жизнь. Как ни питай, с какой нежностью ни смотри на нея, — чем заменить им полет, им балет лунатизма, ты, солнцеед? Как ни люби ее в клетке, — но крыло рукокрыла не протянет пять пальцев, как товарищ, кисть-пясть твою не пожмет. На крылах остановится кровь, загноится, на нервах появится что ни нарыв, крылья свесятся, как оборванцы, и — умрет рукокрыл. Подохнет.

Но... да запомнится:

во время утробной жизни летучая мышь — точь в точь эмбрион младенца людины. Или еще пишут: живо напоминает человеческий зародыш. На то, что перед нами другое животное, а не человек, указывает только удлиненная морда. «Удлиненная морда» — веское доказательство бесчеловечья.

Да вытягиваются, да удлинняются лица у всякого, кто увидит меня у Эллипсеевского Гастронома. Кто не закричит, бросив дуб, кто не побежит, как бешенец, прочь, а ведь я из кровинцев кровинец, кто не уйдет, улетит, уползет, хоть с оторванной ятрой, хоть с пулей в пупе, хоть в Хамерику, хоть в Израббиль, хоть в Ябонию, хоть в Кидай, хоть к эскимонцам, хоть — к инопланетянам, да и на что ни на есть губительнейшие сферы Галактик, — увидев меня, ум, честь и совесть, чтоб избавиться от любви с первого взгляда — на меня?

Вот что я хочу т. ск. про удлиненную морду.

ЧЕРНЫЙ ЦЫГАН

На форточке висит свитер, зеленый. Как труп. Кто-то вчера стирал.

Я ходил по коридору, как по Аллее Любви.

За дверью кто-то:

— Ао, Ау, оу, Уэ, эуа!

Я открыл дверь: стоит. Черный цыган, в соломенной шляпе, в резиновых ботфортах, куртка свиной кожи. Протягивает записку.

Я взял. В записке: «г. Столица, ул. Зайчика Розы, д. 2, кв. 126». В записке:

— ТОТ. (По-ненецки: мертв, смерть, умереть.)

Я:

— Это мне — ТОТ?

— Я не знаю, тебе или не мне, — сказал цыган по-ненецки.

— Говори по-кровински!

— Я говорю: купи куртку!

— У меня есть куртка!

— Купи еще. Не пожалеешь.

Я купил.

Цыган:

— У тебя белая лошадь. Я куплю ее.

— У меня нет белой лошади.

— Есть. Вон пасется на твоей улице. Конь.

— Это не моя улица.

— Твоя. ТОТ, кто послал меня, сказал: здесь все твое, в г. Столице. Хочешь — ходишь по морю им. св. Бельга, хочешь — пасешь на Несском проспекте белую лошадь. Сейчас на твоей улице конь, белый. Я видел: он скакает как лошадь, он бьет копытом колонны. Продай коня!

— Иди, цыган, иди и думай. Иль у тебя в мозгу разгорелся огонь сумасшествия, или ты с горя?

— Или ты, я не знаю твоего имени, — думаешь, что не продашь мне белого коня? О знаменитый незнакомец! Я тебе скажу, что сказал мне ТОТ, кто послал меня. Слушай:

— На третий день был брак в г. Столица, и киник Тодор, и Арфа Чепчикова, Зоэ, которая теперь на пенсии и разводит розы в ветрах, Лидия, Анастасия, которая связала все свитера для твоих геометристок и умерла со спицей в руке, юноша-гоплит Александр с мечом, Гай Рузин с лимузиной, медицинки с красным крестиком на крестце, балерунки и балерунамки, Титана Себастьяновна Йюбздальцева, Викториан Бублик, прибыл из Эльсинора с эполетой «адмирал», 14 докторов и докторесс НТР, их замороженные тела разморозили по этому поводу, Мцыря, уже без термометра, теперь он в мочевом канале носит компас, чтоб

ориентироваться в любви, и гомосексуалисты без губ, но с прежней любовью на лбу, и твои ученики, — все были там. Был брак у Дуни-ведуньи.

— Я изгнал ее из своего государства!

— У тебя потеря памяти. У нее был брак.

Был зван и ты, и ученики твои на брак.

Но не хватало вина, и Дуня-ведунья сказала тебе: вина нет у них.

Ты сказал ей: что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой.

Дуня-ведунья сказала к лакеям: что скажет он вам, то и сделайте.

А брак был на вокзале им. св. Витта в ресторане.

Было же здесь шесть каменных сосудов для воды, вмещавших по 200 или по 300 литров.

Ты сказал к лакеям: наполните сосуды водой. И наполнили их до мениска.

И ты сказал им: теперь возьмите ковш, почерпните и несите к распорядителю пира. Распорядителем пира был отважный герой М. Н. Водольянов. И понесли.

Когда же М. Н. Водольянов отведал воды, сделавшейся вином, — а он ведь не знал, откуда это вино, знали только лакеи, почерпавшие воду, — тогда М. Н. Водольянов зовет жениха. Женихом же был Самый Верховный Инстант Зубикомлязгик.

— Но был ведь Самый Верховный Инстант ЭН. И так был навек.

— Был ЭН, НО... его нет. Теперь Зубикомлязгик.

— М. б. ты скажешь, что Дуня-ведунья теперь Министр-Цветолоб?

— Да. Дуня-ведунья теперь Министр-Цветолоб.

— Я рад. И за того и за эту.

— И говорит отважный герой М. Н. Водольянов, виночерпий, Самому Верховному Инстанту Зубикомлязгику, жениху: любой человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее из худших; а ты хорошее вино приберег до сейчас.

Так положил ты начало чудесам в г. Столице и явил славу свою. И уверовали в тебя ученики твои.

Цыган — мечтатель от евангелиста Иоанна. Я с грустью слушал сказку о том, что превращай воду в вино — поверят в тебя. Я не смотрел в лицо явленца, я тупо и тихо твердил:

— Опасная ошибка. Опаснейшая, ошибочнейшая концепция. Мне жаль тебя разочаровывать, но ты разочаруешься: нет у меня учеников. У меня ученицы.

— Девки? — возмутился цыган.

— На языке кровинцев — да, девки.

— Это не ты! — вскрикнул цыган.

— Это я, — сказал я с грустью. — Только ТОТ, кто посылал тебя, перепутал адрес. И тысячелетья.

— Я пойду, — сказал цыган.

Грусть охватила меня, сжала мое сердце.

— Стой, — сказал я с грустью. — Я могу превращать воду в вино. Какое ты пьешь? — спросил я, свесив голову и волосы.

— Я пью, что дают, — оживился цыган.

— А какое хотел бы? О каком мечтал всю жизнь?

— Бормотуху из Бормотушницы у Пяти Углов, одеколон Красная Москва!

— Открути кран в кухне, открути кран в ванной. Возьми на кухне кастрюлю, возьми в ванной тазик. Первый кран — бормотуха из Бормотушницы у Пяти Углов, второй — одеколон Красная Москва. Иди и пей.

И он открутил краны и пил. Без кастрюли, без тазика, — из-под крана. Он бегал, как черная молния, из кухни в ванную.

— Теперь иди, — сказал я, когда он запел цыганщину. — Иди и скажи пославшему тебя, чтобы он больше тебя не посылал. Ни тебя, ни кого. Скажи ему: я грущу. И нет мне помощи в грусти моей. Топай, тип!

И он потопал, в соломенной шляпе, в ботфортах, без свиной куртки.

У крыльца его ждала тройка. С бубенцами.

СРИНИВАСА АЙЯНГАР РАМАНУЖАН АЙЯНГАР. ОЧЕРК, ЧТО ЛИ? С КАКОЙ СТАТИ — СТАТЬЯ?

Сриниваса Айянгар Раманужан Айянгар, брамин, родился в г. Эроде округа Танжор провинции Мадрас. Его отец и дед были «гумаства» — счетоводы у торговцев одеждой, второй дед был «амин» — судья. Амин молил богиню Намагири даровать его бездетной дочери сына.

В 9 день месяца Маргасирша года Самват Сарвайит от счетоводов и судей родился гениальный математик. Это отмечается 1887 г., 22 декабря, — самой короткой ночью индуса.

Мальчик Раманужан был тих и незамысловат. Ему запрещали уходить из дома, чтоб не заблудился, но его посещали товарищи по школе и он беседовал с ними через окно в сад, рассказывая им, что есть между звездами расстоянья в чистых числах.

В 12 лет, не прочитав ни одной книги по математике, он спросил учителя, что есть Высшая Правда Чисел, и тот ответил, что это теорема Пифагора и задача о распределении запасов меж населением провинции. Учитель объяснил также ученику, что такое число, если его разделить на самое себя, равняется 1.

Раманужан призадумался и спросил: — Учитель, будет ли равняться единице ноль, деленный на ноль? — Но учитель ему не ответил. Раманужану было 13 лет.

В 14 лет ему попадает на глаза вторая часть Тригонометрии Лони, он читает эту книгу как свою и решает все ее задачи. До этого он даже не знал такого слова Тригонометрия. В 15 лет Раманужан выводит формулу Эйлера о синусах и косинусах, а когда ему много позже говорят, что формула не его, а Эйлера, юный счетовод и чертежник прячет формулу под крышу, в тайник, в своем доме.

В 16 лет Раманужану кто-то, шутник, берет в библиотеке местного колледжа «Синописис чистой математики», автор Карр. Сосуд с Джинном, запаянный в г. Эроде, взрывается, и Джинн восходит в воздух. Богиня Намагири, породившая Джинна, говорит ему, являясь и въявь и во сне: — Ты есть!

Еще она ему говорит: — Ты брамин, сын высшей касты нашего народа.

Синописис Карра стал знаменит лишь потому, что его держал в руках 16-летний Раманужан. Что есть Синописис? — 6155 теорем! классического преподавателя-энтузиаста. Достаточно твердое и полноценное изложение формальной стороны интегрального исчисления, формула Парсеваля, интеграл Фурье, много формул обращения и теорем, которые имеют для специалиста понятную схему. В Синописисе излагаются преобразования степенных рядов в непрерывные дроби. Но в этой книге ничего нет о существующих методах суммирования расходящихся рядов, о теории квадратичных вычетов, о распределении простых чисел. В книге сей нет ни слова о формальной стороне теории эллиптических и аналитических функций.

Но Джинн уже воплотился. Синописис Карра был той глиной, которую держит в руках юноша-гений под ясным взглядом Намагири. Начинается лепка.

Всякая лепка, даже вдохновенная, требует системы. Для начала Творец изобретает несколько методов для построения магических квадратов. Потом прямо переходит к квадратуре круга, не найденной никем, и получает результат: его выражение для длины Земного Экватора найдено и отличается от истинного на несколько футов. Раманужан ставит точку: в Геометрии он сделал для себя все. Начинается Алгебра. Раманужан находит несколько новых рядов.

В этот период воплощения Раманужан много спит. Он говорил потом: я много спал тогда, потому что богиня Намагири внушала мне новые формулы во сне. Просыпаясь, я бросался к столу, записывал формулы и фигуры, проверяя их сейчас же, и почти всегда мог тут же дать строгое доказательство их.

В 1903 г. Раманужан принят в младший класс Искусств го-

сударственного колледжа в Кумбаконаме и получает стипендию Субрасаньям «за английский язык и математику». «За английский» — слишком сильно. В колледже изучаются: английский, история, физиология и т. д., но Раманужан к ним безучастен. Его интересует лишь математика. За неуспех по остальным предметам его лишают стипендии. Не переводят в старший класс. Он пытается сдать экзамены экстерном, но проваливается. Государственное ученье, — конец. Ему уж никогда не иметь диплома.

Каста браминов не терпит жизнь за чей-то счет. Математика в Индии — занятие для любителей и гениев, не оплачивается. Даже Рамасвами Айяром — основатель Индийского математического общества, работает помощником сборщика налогов в городишке Турикойлур, округа Южный Аркот. Он пытается устроить Раманужана клерком в муниципалитете, клерком в налоговое управление. Не получается. Такой талант как Раманужан, не может жить без пищи, Рамасвами Айяр пишет рекомендательное письмо в Мадрас к П. В. Сешу Айяру, который и так знает этот талант, потому что преподавал математику ему же в колледже Кубаконама. Все, что может сделать учитель: несколько месяцев работы в счетном управлении, там же, где колледж. Затем мыслитель зарабатывает уроками для подготовишек. Потом в жизни математика начинается многосерийный фильм с переводами из одного городка в другой, с рекомендательным письмом, к примеру, Дивана Бахадура Р. Рамачандра Рао, который очень любит математику и имеет дипломы и имеет работу: сборщик податей в Неллоре, в 80 милях к северу от Мадраса, который писал: «Он (Раманужан) тогда снизошел к моему невежеству и счел возможным показать мне кой-какие свои простейшие результаты. Они намного превосходили все то, что имелось в каких-либо книгах, и у меня уже не было сомнений, что предомной самый выдающийся человек. Затем, шаг за шагом, он ввел меня в теорию эллиптических интегралов и гипергеометрических рядов. И — наконец-то! — меня сразила его теория расходящихся рядов, мир еще ее — не знал. Я спросил его, что ему требуется. Он ответил: десяток рупий в месяц, чтоб он имел пищу для формул и фигур. Я сказал: гиганту мысли не гнить в городишке Неллоре у меня, а быть ему светилом в Мадрасе. Я взяла на себя расходы за любое время пребывания гения там».

Но каста браминов не терпит бремя за чей-то счет. Гигант мысли Раманужан 9 января 1911 г. поступает клерком в контору мадрасского порта. Жалованье: 30 рупий в месяц. Жизнь налаживается. Можно лепить под ясным взглядом Намагири Формулу Мира и есть лепешки. Тем более что управляющий конторой порта — С. Нарайяна Айяр, «тонкий и преданный ценитель математики» (кавычки лишь потому, что цитирую биографов). Можно уже написать и первую большую статью в «Журнал Индийского

Математического Общества» и назвать ее «Некоторые свойства чисел Бернулли» и опубликовать в декабрьском номере Журнала, 1911 г.

Всюду есть друзья. Есть дружба и у математиков. Она оригинальна, как выяснится ниже, но как ее не ценить, если есть? Друзья сказали: ты слишком велик для Индии, а тебе мал и Мир. Напиши в Тринити-колледж, Кембридж, там центр Математической Мысли мира. Там поймут.

Ему сказали, он написал: м-ру Г. Х. Харди, члену Тринити-колледжа, Кембридж. Письмо 16 января 1913 г.:

«У меня нет университетского образования, но я все же прошел школьный курс. После школы я все свободное время посвящал математике. Я сделал кое-какие исследования о расходящихся рядах, ваш трактат "Порядки бесконечности", я его читал на днях. На 36 странице трактата я нашел ваше высказыванье, что до сих пор никем не найдено никакого выраженья для числа простых чисел, не превосходящих данного числа. Я — нашел выраженье, которое очень точно приближает действительный результат, ошибка пренебрежима. Я бы просил Вас посмотреть прилагаемые мной бумаги. Я не привожу здесь подробностей всех моих исследований, а указываю лишь основные направленья, по которым я работаю. Я неопытен, я б оценил любой Ваш совет».

Прилагаемые бумаги неопытного Раманужана: около 100 новых и переоткрытых математических теорем.

М-р Г. Х. Харди откликнулся. Он написал секретарю студенческого консультативного совета в Мадрасе. Он ставил вопрос: нельзя ли принять меры, чтоб дать возможность Раманужану обучаться в Кембридже. Секретарь спросил Раманужана: хочет ли он быть в Кембридже? Но каста браминов не терпит явленье Европы и предпочитает жить за счет своей мысли. Математик спросил во сне богиню Намагири: — Можно? — она ответила: — Нельзя. Раманужан дал отказ.

Начинается «дело Раманужана». Что писать о «деле...», о том, как хотят перевезти индуса в Англию? Здесь детская дилемма: можно ли выпускать птиц из клеток?.. или же: в клетки впускать? Ведь, к примеру, у канарейки лишь в клетке проявляется во всем блеске творческий талант, люди ведь ее учат, а на свободе — кто? Кто может на свободе обучить канарейку, так петь, если аккомпанемент — белый лондонский рояль? Откуда знать англичанину, что мозг индуса имеет устройство не такое все ж, как у Члена Королевского Общества. Что мышца индуса идет лишь по земле богини Намагири, а под англиканским колоколом — ей не идти? Что нерв индуса выдерживает знность рупий в рублище, а в тиаре титулов, под мантией вычислителей Великобритании — не выдерживает он, нерв?

Древний запрет эмиграции суров, но он возник не вдруг. Есть в нем что-то, что позабыто: РАЗУМ. Иначе можно сказать этот символ: КЛИМАТ. Вот этот-то КЛИМАТ включает в себя не перемену температур, а СВЕРШЕНЬЕ СУДЬБЫ. Так или иначе Европа, эмигрируя в Европу, разберется. Она выжгла в себе все, что свойственно свечению интуита, это ей ямбля в естественных и искусственных отборах, а ИНДУС — Интуит, ему жизнь для жизни — Яма.

Член Королевского Общества, Генеральный Директор Обсерваторий в Симле, член Тринити-колледжа в Кембридже, д-р Дж. Т. Уолкер посетил Мадрас и Председатель Мадрасского Порта сэр Фрэнсис Спринг показал ему некий труд Раманужана. Дж. Т. Уолкер с быстротой ума оценил и помог Раманужану получить стипендию в Университете Мадраса и потребовал математика в Тринити-колледж. У Раманужана — отказ. Переписка с Г. Х. Харди, заинтересованность всех лучших математиков Индии, приезд еще одного члена Тринити-колледжа Е. Х. Невилла чуть ли не с миссией вывоза Раманужана, друзья и друзья и... и мать! Мать видит сон: ее сын сидит в большой зале за роялем с белой английской крышкой, а вокруг — европейцы. И богиня Намагири сказала ей, матери: — Не препятствуй сыну в выполнении его жизненного назначения. Мать не могла лгать. Если ей сказала Намагири — Намагири ей сказала, СВЕРШЕНЬЕ СУДЬБЫ! Раманужан подчиняется. Он в Англии. Он уже никогда не будет нуждаться до конца жизни. А конец его жизни — через 6 лет. Сейчас 1914 год. Цитирую письмо мистера Е. Х. Невилла, в общем-то вывезшего математика из Индии:

Меморандум Властям Университета Мадраса, 28 января 1914 года:

«Открытие таланта С. Раманужана из Мадраса обещает быть самым интересным событием Нашего Времени в Математическом Мире. Значение предоставления Раманужану возможности дальнейшего совершенствования в современных методах и встреч с людьми, знающими, какие идеи уже использовались, а какие — нет, не может быть переоценено. Я не сомневался в том, что после встреч с математиками высокого уровня Запада Раманужан сможет стать одним из величайших математиков в Истории, и университет г. Мадраса и г. Мадрас будут испытывать гордость за помощь в его переходе от неизвестности к славе».

Как о лошади. Как о диком, но видите ли чистопородном скакуне для кембриджского ипподрома, как об индусском слоне писал Меморандум солдат Македонский, что все-таки слонов-то в Элладе и нет, а они имеют значение в бою. Если всмотреться, как пишет вообще-то солдат о Звере чистой породы, обнаруживаются перлы и поискренней. Мы еще всмотримся. Пусть вчи-

тается в Меморандум тот, кто умеет читать, я — не объяснитель. Курсив лишь мой.

Лошадь пошла, скакун поскакал, слон вынул бивни. А Раманужан работал. Как искренен был некролог Г. Х. Харди, написанный «по горячим следам смерти друга», в котором Г. Х. Харди признается: «Как учить его современной математике? Я узнал от него куда больше, чем он от меня. Все его результаты были получены из индукции и интуиции. И его поток оригинальных идей не показывал никаких признаков иссякания». И еще: «Он был пронизательным философом, он соблюдал со строгостью, необычайной для индийцев, живущих в Англии, все религиозные правила своей касты, он легко мог повторять целые страницы санскритских текстов (Атманепада и Парасмепада)». И еще: «Раманужан был абсурдно скрупулезен в его желании отметить даже малейшую помощь». Т. е. взять в соавторы. В соавторстве с Г. Х. Харди и была написана основная работа Раманужана. Как чист и чудесен в своем некрологе Г. Х. Харди.

Но проходит полтора десятка лет, имя Раманужана стоит, как опознавательный знак, на всех перекрестках математики, «ошеломляющий ряд алгебраических приближений числа "пи", становится непостижимым каноном» и т. д., и Г. Х. Харди, соответственно, как соавтор Книги, вынужден выступить пред общественностью с объяснениями. Что ж он объясняет?

Он объясняет, что его некролог — «смехотворный сентиментализм». Цитируется некролог: «Он был большим математиком, если бы получил должное образование в юности, тогда бы он открыл больше нового и, несомненно более важного. С другой стороны, тогда бы он был меньше Раманужаном и больше европейским профессором, потеря могла бы быть больше, чем приобретение». Повторяю: как мил и мал был Г. Х. Харди в некрологе. Сколько «бы» он насобачил лишь в двух фразах, не отваживаясь оскорбить память гения, завидуя, смущаясь, колеблясь, комплексуя со своей белой кожей, со своим «Я» центра мира Математики и этим рабом в рубище из порабощенной провинции.

Слепой, скажи Поводырю «Благодарю!», но не верь ему. Не позволяй ему пользоваться твоей слепотой, ведь это ты — слеп, ты — трепетный нерв «индукции и интуиции», ты открываешь свой Мир, ибо «Истинного», материального мира не видишь, а видишь лишь ясные глаза Намагири. А Поводырь-то тверд, он не упустит ни твоего неверного шага, ни рупии из подаяний толп, он расклеит афиши со своим именем, ибо — он по улице ведет слона! У толп ум туп, и поверят ему, Поводырю, ибо фиговый листик факта прикрывает в твоей статуе фалл мужской мощи.

И Г. Х. Харди скажет: на лекции, прочитанной в Гарварде осенью 1936 г.:

«Трудности в оценке Раманужана очевидны и ужасны. Раманужан был индийцем, а англичанину и индийцу тяжело понять друг друга. Более того: он был полуобразованным индийцем, он никогда не смог сдать даже первые экзамены в индийском университете и никогда не смог стать даже бакалавром искусств. Он работал в полном незнании Европейской математики. Я не знаю никого, кто мог бы сказать с уверенностью, насколько большим математиком Раманужан был. Раманужан был моим открытием. Я был для него единственным компетентным человеком, и я сразу же понял, какое сокровище я нашел. (Поводырь понял, что ему есть примененье, он нищ, а слепой — объект для любопытства людей и сума его не пустует.) Я знаю о Раманужане больше, чем кто бы то ни было. Мое знакомство с ним представляется мне как романтический эпизод в моей жизни. Я знаю и чувствую слишком много. Я убежден, что Раманужан не был мистиком и религия, за исключением чисто материальных ее аспектов, не играла никакой важной роли в его жизни. (Он не был мистиком, м-р Г. Х. Харди, он был — ИНДУСОМ.) Мемуары о Раманужане, опубликованные в Избранных трудах, сильно не соответствуют тому, что касается его религии (мемуары — ИНДУСОВ). Кто же из нас прав? Что касается меня, то у меня нет сомнений: я абсолютно уверен, что прав Я. (Читай, читатель, внимательнее, что говорит философ): Если архиепископ Кентерберийский говорит одному человеку, что он (архиепископ) верит в Бога, а другому — что не верит, тогда справедливо второе предположение, иначе непонятно, из каких соображений оно сделано. Аналогично: если строжайший брамин, как Раманужан, говорит мне, как он как-то сказал, что у него нет определенной веры, то 100 против одного, что он именно это и хотел сказать».

Логик-лобик. Кентерберийский кентавр. Позволю штамп: как он мечется, чтоб уйти от меча непререкаемости авторитета Слепца, Слона. ИНДУС НЕ СКАЖЕТ НЕ ИНДУСУ О СВОЕЙ «РЕЛИГИИ». Он скажет обо всем, но не о ней. Европа ходит в храм коллективизма, с хоругвью, во фраке и в мундире, ИНДУС верит в одиночку. Он как-то отделается от вопросов по этому поводу. НЕ ИНДУС НЕ ПОЙМЕТ ИНДУСА, — зачем же блистать бисер?

И дальше:

в доказательство чуть ли не атеизма и лицемерья Раманужана: «С ним можно было пить чай и обсуждать политику».

Дальше. Перед нами уже глаголет не просто мемуарист; не соавтор, а суть существа, которое издревле, и до и после т. наз. «Сальери» (в чем не чается этот «изм», в ком, обывающем в обуви — не светится эта скрипка?):

«Отрицаю идиомы индусов, и вслед за ними остальных: это не Чудо Востока, не вдохновенный Идиот, не психологическое

Диво, а рациональное человеческое существо, которому выпала честь стать Великим Математиком».

«Великим Математиком» — это он не мог отрицать, потому что ему пришлось бы отрицать Себя, соавтора. Во всем остальном в этой последней речи Г. Х. Харди — Раманужану — отказывает. «Человеческое существо» — самый лестный эпитет Поводыря.

В том же году буква в букву писал Мемуар о Слепце еще один Поводырь: О Вацлаве Нижинском — С. П. Дягилев.

Закон Человека оставим телу человека. Апология Гения имеет единственный Закон: результат Творца. Все вопросительные знаки типа кто? с кем? почему? отчего? зачем? — отбрасываются.

Раманужан три года прожил в Англии. Он получил все мантии, он стал членом Королевского общества в 30 лет, чуть ли не самый юный в истории этого Общества, он издал много книг, в том числе и в соавторстве с Г. Х. Харди.

В мае 1917 г. у Раманужана — болезнь. Мировые светила медицины изо всех сил пытаются дать диагноз о ТБЦ (п. ч. большинство индийцев, живущих в Англии, заболевают ТБЦ). Но диагноз не удается: болезнь не известна медицине и неизлечима. Болезнь ИНДУСА: НЕ ТОТ КЛИМАТ. Он лежит в лучших клиниках Англии. 27 марта 1919 года он высаживается в Бомбее, 2 апреля прибывает в Мадрас, он лежит в лучших клиниках Индии, 26 апреля 1920 года — смерть. Он умер в г. Четпуре, пригород Мадраса. Он был бездетен.

Сриниваса Айянгар Раманужан Айянгар умер в возрасте 33 лет. Так надо. И не надо жить больше.

Портрет с Раманужана не написан. Иконографии нет. Уцелела как-то единственная мутная фота: ИНДУС: большая голова, обширный лоб, длинные вьющиеся волосы, тучен, ясноглаз. Рост 5 футов и 5 дюймов. Очень хорошее изображение его украшает стены библиотеки Мадрасского Университета.

Оставим на совести м-ра Г. Х. Харди сомненья по поводу ИНДУСА. Ведь м. б. м-р Г. Х. Харди еще жив, он же был лишь на 10 лет старше Раманужана, сейчас ему м. б. 103 года? Почему бы и нет? В Великобритании живут и дольше. Особенно — математики. Чарльз Дарвин, к примеру, жил что-то так: то ли 98, то ли 111 лет.

«Дело-то Раманужана» — уж проще-то не придумать: он ведь провалился с английским языком в Индии, не знал языка и в Англии. М-р Г. Х. Харди работал с Раманужаном и отметил эту его особенность. Вот и вступил в соавторство, как переводчик: английский язык знал в совершенстве. Я не был в Англии, но знаю, как пишут англичане: вон какой Диккенс стилист по-английски, — слюнки потекут! От чувств, от чистот.

Оставим гримасы: Г. Х. Харди был незаурядный европейский профессор, он открыл в биологии «Закон Харди-Бейнберга», Г. Х. Харди — личность из Энциклопедьи — никуда не денешься. Но в математике:

Раманужан и до и после Харди был велик и открывал формулы, даже в последние три года болезни, не вставая с постели.

Г. Х. Харди написал в соавторстве с Раманужаном книгу, мировой класс.

НО Г. Х. Харди ДО Раманужана не сделал ни одного открытия в математике. Вот в чем вся суть-то.

ОСКАР БЛЯТЬ И МУЗ ИКАЛИН

На улице был фонарь. Был поцелуй.

(Вчера!)

Я возвращался. Откуда?... Я шел по следам. На Несском проспекте, на Лыковском пр., на проспекте Жаворонков, на Ягипетском мосту, на ул. Зайчика Розы, на моей лестнице, у моей двери — следы гигантских подков, — шел медведь. Где он, диктатор Леса? Я обыскал всю квартиру: коридор, кухню, ванную, туалет, пять шкафов, — медведя не было. Я спросил соседок: не было медведя.

Я показал следы: следы были, а медведя не было. И обратных следов не наблюдалось. Думается, что его и нигде нет, — это с медведями бывает в Столице.

«Вчера!»

Сегодня:

на крыше стоят Оскар Блять и Муз Икалин.

Они облицовывают крышу зеркалами цинка. У меня пол зеркальный, отныне и вовеки — в зеркалах. Наш нарциссизм не-иссякаем.

Солнце бьет двоих чистым лучом, ливни обливают водянистой водой, а Оскар Блять и Муз Икалин стоят смело, насмерть.

Оскар Блять — разжалованный Инстант, а Муз Икалин отсидел в тюрьме, как диссидент, и теперь для двоих остался один самоотверженный и чистый путь репутации: облицовывать мою крышу зеркалами цинка. Оба в смокингах из брезента, Оскар Блять босиком, а Муз Икалин с глазом голубизн, в зубах гвоздь, кисть-пять сжимает молоток, — как они красиво смотрятся на крыше вне административных постов и философских восстаний!

Я знаю их как друзей, учились в том, взаправдашнем прошлом, в Университете.

— Давай, давай! — восклицал я им в форточку по утрам. — Вот луна залунает, светлая ночь заалет, вьюга взовьется в наших

залах танцевальных! Вы четвертый год облицовываете мою крышу, а еще не привинтили ни одного зеркала цинка. Вы стоите на крыше, как два кумира борющихся религий, стоите и денно и ночью, босиком и с глазом голубизн. Почему вы не пьете? Пейте и пойте потихоньку петушками с красными гребешками и вам — воздастся. Вы попадете в лучший людь Столицы и вам дадут премию в брюалях на новые семьи, на болеардскую бормотуху!

— Нам нельзя пить! — отвечают Оскар Блять и Муз Икалин. — Если мы выпьем, наше паденье будет полным. В прошлом уже мы пали: я разжалован, а я любил инстанционизм, и я попал в трюм, а я любил права примата! Теперь мы хотим жить по-кровински. Если мы выпьем, пасть нам бесповоротно, — с крыши! Пусть зеркала цинка ржавеют на чердаке, пусть ими пользуются гомосексуалисты для своих ласк. Мы будем стоять на крыше, как два символа доблести, чести и совести кровинцев, пусть все спят, мы будем стоять. Мы будем стоять в той же позе: я Оскар Блять босиком, я Муз Икалин с глазом голубизн. Так мы простоим до 60 лет и спустимся лишь для пенсьи. Но если нам позволят работу и после пенсьи, мы опять встанем на крышу и опять будем стоять. И умрем стоя. И наши тела забальзамируют и поставят в Музей и приклеют к стеклянным гробницам такой зонг-лозунг:

«Оскар Блять. Муз Икалин. Сорокаюжды Герои Труда. Они сорок лет облицовывали крышу зеркалами цинка. Не ступили ни разу ногой на землю. За работу они только ели, стоя на крыше. Кто не работает, тот не ест!»

— А кто не ест, тот как работает? — восклицал я в форточку, с флаконом уже. — Посмотрите, как прекрасна Столица в 11.00 утра! Уже всплыло на Несском проспекте семиглавое чудовище Несси, у него десять рогов и на каждом — диадема! Уже давятся в Бормотушницах мы, люди, уже дают мыло для милых по спецпропускам, уже заселили столики в Мороженице девицы с девизом, а тела у них еще те! — и все это цель у лиц! Вы упускаете утро!

С одной стороны.

С другой:

уже те, кто жует железо и ест жареных жаб, — они создают сейчас ценность в цехах! Пусть их турбины взорвутся, пусть их станки выдолбят им позвоночник, пусть они в шахтах угорают от угля шаг за шагом, пусть они перерезают электропилой челюсть друг у друга, пусть они...! Это и есть вторая сторона одной и той же прекрасной красной жизни: одни пьют буквальную бормотуху, — чудеса!.. другие бьют в бубен из бетона — волшебство!

— Черта с два поработаешь не жравши, — настаивали они на своем. — Те жуют железо, а мы едим по утрам бутерброд

с бужениной! Потому что нас любит лавочница-красномяс Катя, а наш героизм прославлен в газетах и ученических тетрадах! Мы будем стоять, а ты сед и тебе уже поздненько превращаться в диссидента. Уйди от форточки, съешь одно яйцо несваренное и шагай шагами. На тебя смотрит ВЕСЬ МИР!

— На меня смотрит весь мир и я смотрю на него: дуну я, — и нет смотрин!

— И шагай шагами туда, куда тебя зовет твой гений, — на гибель. Мы стоим, а тебе-то не устоять! — в Тибетах!

Я Оскар Блять и я Муз Икалин, — мы стоим слишком высоко на крыше, нас не поколеблет ни речитатив твой, ни твоя неопикуемая ненависть. Ты невозмутим, но и невесом. Ты со стальной решимостью уничтожаешь себя. Ты не Геометр, это — маска, ты и геометрию-то превращаешь чуть ли не в зарифмованную историю. Ты — и постоянство скорости в твоих объяснениях четырехмерного пространства! Ты объясняй это в своей вымышленной Академии! Ты вообразил, что ты не человек, а Феникс.

Но ты — человек, только ты трус. Ты боишься Бога, ты боишься людей, ты боишься жить в желаньях. Чего же ты не боишься, Иван Павлович Басманов? Ты не боишься только своей кисти-пясти Зверя. Но на что же тебе тогда кисть-пять?

Допиши рукопись и меняй роль Роланда! Ты не рыцарь, ты — танц-Петрушка. На тебя возлиял твой дом танцевальный, чердак нечеловечий, девицы с девизом. Оттанцуй свой танец, сцепи зубы и уйди со сцены. Стань к нам на крышу, что в жизни — краше крыши?

Стань, и станет нас трое. Я Оскар Блять, в позапрошлом инстант, Я Муз Икалин, в позапрошлом диссидент, и ты, Иван Павлович Басманов, тоже уже в позапрошлом Геометр, Академик и Гений!

Мы будем стоять еще сорок лет: я Оскар Блять босиком, я Муз Икалин с глазом голубизн и ты Иван Павлович Басманов со своими серебряными серпами волос. И все трое — как один!

Вот — кредо кровинца! Аминь!

— Есть у меня гусли, есть золотая чаша с фимиамом!.. Аминь!

— Какие доблести в нашей действительности!.. Аминь!

ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ

666. День Последний.

Я замерз под персидским ковром, я включил электрокамин, посмотрел в форточку:

год 7487 от Сотворения Мира, январь, цифра 6. Луна, семь часов утра луны, семь, мгла.

Чего я с жутью ждал? О чем я очень-то думал?

О том, что сегодня по тексту санскрита 1000-летний Юбилей Меня? Что же не празднуется, что призадумался?

Не ждал, не думал, по-зимнему познабливает, чему-то сейчас произойти.

Я смотрел на стрелки. Я купил вчера металлические часы Хиндуса в Антикварьи, потому что сегодня День Последний и без часов нельзя. Я поставил часы на холодильник. Металл имеет форму — семиглавый Зверь, а Зверь держит в лапе фарфоровую чашечку, а в чашечке стоит крошечная кукушка, серебряная, пестренькая.

Встала кукушка и прокуковала: ку-ку-ку-ку-ку-ку, — цифра 6!

Во дворе, на дне кладезя, на детской площадке залаял пес. Я не занимаюсь псами, зимой.

Меня залил пот, волос мой слипся и в мир вмерзся. Этот голос я знал 14 лет в той жизни, я узнавал его в лесах и морях, я узнавал его из тысяч и тысяч голосов песьих.

Я сел на зеркало, ударились колени, пот хладный капал с моих повисших пальцев.

Трясущийся, в желтом халате из вельвета в красных розах, влажный волос лез в рот, смерзшийся, я их обкусываю и выплевываю, я распахнул замок дверной, — белый пудель-гигант королевский, — бросается мне на грудь, глаза горят огнем красным, глаза — два озера огненные: моя сука Уна, месть моя.

Уна лизнула меня в морду, я впустил ее в дверь. Прыжок в кресло, язык вывалился, ей не отдышаться, слюна с языка не капала, льется.

Как она пробежала 41 км от того, взаправдашнего моего дома, до моего теперешнего места жительства?

Она дышит, как вешний мраз Столицы дышит, и так тяжело, как все мы. Дышим еще. Она смотрит в меня, задыхающаяся, а мне как Вию не поднять веки, я мог лишь сесть на зеркало, подгибаются колени.

Она скажет:

— Майя умерла.

И зазвонил телефон.

Телефон, трубка, рапорт:

— Нот у нас нет, сигарет нет, карандашей нет. У Ордынской церкви 3 норвежских волка и 900 солдат с автоматами по два рожка. 54.000 разрывных пуль.

Я:

— Пли!

По коридору идет юноша-гоплит Александр. Вернулся. Он командирится. Куда и кем? — я ни при чем. Командирится с мечом. Приезжает, приходит ко мне. В угол ставит меч, окровавленный.

Рапортует:

— Заполярье. Ловят полярных сов. Ночью, с фонариком, падает по лучу, в руку, в горсть. Совы не выносят соли. Умирают, даже если лизнут пот соленый. Не выносят соли и неволи. Пробуем сажать в коробку с решеткой, — найдут гвоздик и разорвут горло. Самоубийцы. А так, подрежем крыльца, живут, дружат с оленятами. Я взял замерзшую сову. Привез в Столицу, положил в холодильник. Наутро открыл, — сидит, улыбается. Живая. Дать Вам ее, я ведь завтра уеду.

Я: в ответ:

— Клоп — ценный экспонат эпидемий.

Телефон, трубка и лицо, как мишень в тире — мое.

И! незапамятный, как-то так, вот-вот, проснувшийся женский голос, дикторский, ни извините, ни здравствуйте:

— Майя умерла. Уна убежала. Поступайте, как полагается. Соседка. Адрес.

Я не видел Майю 647 дней, я пил.

В первый раз после 14 лет плюс 647 дней Майя была у меня 19 дней тому, в год 7486 от Сотворения Мира, декабрь, цифра 14.

Она ворвалась в дверь не предваряя. Уна с ней. После меня у Майи никого не осталось, лишь наша сука.

Я открыл форточку, деревья дремлют, во льдах, в снегах. Все та же луна, все так же одна в небеси, — неизъяснима.

— Отец умирает! — воскликнула Майя. — Он отказался от операции. Да ему 76, хватит! Отцвел! Он явился ко мне, я не впустила. Он же — в распахнутой шубе, в бородище быка, с глядящим, как ненависть, глазом. Не в маразме, не сумасшедший, он убьет меня, извергая свой лживый слюсес, он уж и нас убил 647 дней тому, он убьет меня. Он лежит и жрет мед и вылизывает жир куриц. С визгом! Он лежит и умирает, он умирает уже 16 лет, ведь выдали пенсию в день рожденья от 60. Он замучивает меня! Он замучивает, как заученно, а я не сильная, Иван Павлович, я слабая! Он явился в бороде старца, как Лев Толстой, и так рек: если я не впущу, он сдаст в суд и меня в принудительном порядке — принудят!

— Сам ты суд! — ответила я. — Кроткий крест! — ответила я. — Ты родил меня и мне тебя нести до смерти. Ложись и жри!

Он лег и жрет.

Додержаться бы до апреля. На апрель ему нет надежд: прооперируют все ж, зарежут! Я всегда его любила, он всегда нас ненавидел, тебя, Иван Павлович Басманов, за то, что ты Гений, а он доцент, юрист. Все доценты тебя ненавидят, — и в этом их призвание.

— Майя, — он Генеральный Прокурор Столицы, у него дворец, лакей в энном множестве, что ему — ты-то!

— Ему разрешается работать по смерти, как ветерану-строителю наших надежд, сей Генеральный Прокурор Столицы лежит у меня, как жомба, он снял меня с диссертации, я — прачка! Я працюю прачкой, Иван Павлович, и пучина сья почетна — у Льва Толстого!

— Девочка! — вскрикнула Майя. — Посмотри на меня. Мой вес — вес пера. Не живи с ним (со мной уж!), он уйдет, исчезнет и ты будешь, как я: в жизни, как в смерти. Он (я!) убьет тебя: ведь ты девочка, а он — Гений. — И Майя перстом о трех перстнях сребра указала на пустое кресло. Указуя.

Никого у меня не было. Девочка на кресле — не фантазия Майи, а ее манера витийства. Мы пили бутылку вина из яблочного яда, мне было не до Красной Москвы, на 647 день.

Майя, указуя (обо мне уж!):

— Хрупок и реактивец! — о он обманчив! У него кисть сильна, как сталь, чтоб брать, сжимаясь, и не отдавать, разжимаясь пястью. Не осмотрительнец — о обманчив! У него балаганная, но гибельная суть: ни на кого не смотреть, но присматриваться био всей сутью, нотой нерва! Так будет годами, девочка, и, обманутые его невнимательностью, невнемлемостью, — женщина, друг, берут верх, командуют, кому не лень, а потом вдруг обнаруживается: его нет. Он не спорит, не требует, не мстит. Он делает самое страшное, что может сделать существо: он оставляет без себя. Исчезает. А уже привыкли, не обойтись, все сходит с рук, все идет навек, и вдруг — его нет. Ищи-свищи! Второй не повторится! Девочка!

В сорок лет сама девочка: краткая стрижка, мои губы, а берет бокал — мой жест! — кистью-пястью!

Но Майя — не мне.

Уна меня не узнала! Это свойство волчиц, их ранимость: не узнавать Хозяина, если он уйдет. Без обвинений.

Я вызвал такси. Майя в какой-то геологической балахони, с ковриком для пса. Плела сама коврик, — видится мне. Майя:

— Придешь взглянуть хоть через решетку, когда я пойду хоронить Отца моего? — в крематорий!

На лестнице, я ее держу, ей уж не много нужно, чтоб опьянеть, она чуть повыше моего плеча, в застужках «Молнья»,

на третьем пролете она обняла меня за шею тончайшими руками, рыдая:

— Как ты мог уйти, Хозяин? Как ты мог? Как ты мог?

Я опустил у такси.

— Прыгай, Уна! — Майя бросила коврик в такси. Майя засмеялась хищно, по лицу ее лились слезы.

Она смеялась хищно, так по-детски, обнаженные десны, храбрый «характер», гордая твоя голова!

Я 14 лет уговаривал, умолял, угрожал.

А 14 лет и 666 дней тому ты сказала, что умрешь в 40 лет. И ты умерла. В 40.

Ты не знала, что ты умрешь, это была твоя притча во твоём языке.

Я знал: ты умрешь. Ты умерла.

И ВОТ:

В ТОТ ДЕНЬ:

ты перекрестила меня

перстами

о трех

и сказала:

— БОГ С ТОБОЙ, МОЙ МИЛЫЙ!

Ты села в такси, обняла Уну и сказала в дверцу:

— Две всяких, две суки! Уезжаем, Хозяин! Туда, где нет ни утрат, ни труда! Где цветет жасмин — твой, миндаль — твой, сикомора — твоя, смоковница — твоя, а ЛЮБОВЬ, мой малыш, — А ЛЮБОВЬ — моя! Только Ты не пропадай, держись, друг мой! Тебе кисть дана, пясть для нас!

До свиданья! Там! там нет ни дам, ни драм, ни тем, ни тел. Ты ушел — и уезжает ДУХ ТВОЙ ВТОРЫЙ! Ногу в стремя, Всадник, взнуздан твой конь-Блед, а имя ему — смерть! Будь бодр; 4 месяца тому я видела в «Лайф» портрет Лили. Надпись, как реклама для резинки для хлуя: «Самоубийство Лили!» А на обороте страницы! — мадам-миллиардерша мишуры с младенцем с харей хряка, с кровинцем-мужем с одним носом, кто-то вырубил второй, — м-м Анабасис родила! Ликуй, Мир Лакея!

Радость моя! Опомнись! Ты повсюду сеешь смерть, сам живой!

Я опомнился. Но часовая стрелка времени пульсирует лишь в одну сторону. Возврат ее — смерть пульса.

Дверца захлопнулась. Такси тронулось. Два красных огонька покривлялись по ул. Зайчика Розы, и вот и завернули за Театр.

КАК Я МОГ?

ЛИЛЯ — МОСКВА — ЛИЛЯ

11 октября 1977 года я взял визу. Я шел мимо кладбища, где похоронен Б. Пастернак, его я не знал зачем-то, а посещать незнакомый могил оставим туристу и душам, ищущим потустороннюю связь с гением-невидимкой.

По шоссе шли бронированные «Волги», одноимянцы-машины уже уничтоженной Великой Реки: забирать ругопись у писателей. У нас в Столице их называют писатель-инстант, в Москве — см. словарь. На шоссе лежал раздавленный и сплюснутый под столькими шинами, превращенный в пленку с рисунком скелетика — котенок. Около котенка лежала спелая гроздь, янтарная, виноград, выроненная кем-то из Грузии.

Шел со мной и за мной грибной дождь, сияющий.

Лужицы примораживаются. Листик по листику сваливаются с белкамня электростолба. Переделкино — краснозеленая ласточка листьев.

А на деревьях листа уж нет, ветвь тукает о ветвь, сиротиницы, заиндевая.

Солнце садится по-вечернему, в четыре часа. Переделкино — бестелесность, безлюдье. Шоссе, ведущее к Личной даче, — слабенькое, трюк-тропинка, асфальт выпуклый, кто-то кромсал на Заре косой для овса.

Стекла веранды не мозаичны, лишь вместо обыкновенных вставим цветные, Лиля на веранде, в кресле красного бархата, белоснежец-пружинец жабо, в коричневом платье о распахнутых рукавах, отороченных кружевом, на золотой массивной цепи, на груди — два обручальных кольца с вензелями: ЛЮБЛЮБЛЮ. Анаграмма.

Я к ней приехал.

Москва — центр русский. Я знаю этот язык, читал их папирус. Может быть у меня семантическая неточность, но я осваиваюсь, я быстр. С утра я уж сидаю в храме им. св. Василия Блаженного и там пью самовар с водкой, я, свесив свой волос, стою и смотрю: на Красной площади люди в малиновом мундире нижут бусы из красной икры и дарят мне, иностранцу. Здесь я не знаменит, я лишь иностранец, а — дарят, даже не девушке. Мне. Надо же, — не надыхаться им на меня, гостя. Подтверждаю: русская натура — гостеприимец. Загадка!

На Красной же площади все сидят. Все читают по-русски газет и журнал. Что ни спроси, ответят. Я хотел спросить, кто это был мне в больнице, смеющийся, в кепочке велосипедной, да расхотялось. Скажут еще, кто это был, а сболтну с флаконом в Столице, мне же хуже. Милота Скорлупко придет на сигнал

слез... ну их на ух, пусть читают. Нам не нравится, но мы — не они. Я мудр, о Яма!

Я посетил Кремль. Там, как и я, стоят и смотрят с клюквой в клюв: Царь-колокол и Царь-пушка! С колокол Мир познакомился еще с юга Иеговы, с пушка — Васко да Гама нам порох принес, а — Царь? Где он? Мы суетимся, мы же не знаем, где Царь, почему тут дефис? Мы поднимаем удлинённые морды вверх: был балкон по их папирусу, на балконе был Царь. Нет балкона. Нет Царя. Им-то хорошо, а нам-то — как, мы любопытствуем. Куда ни кинь взгляд в Москве — нет Царя. Есть все, чего нет ни у нас, ни где. А Царь? Как бы я хотел увидеть его: корона, двурогая, как у коровы, в белой попоне, глаз конский, кровавый; балкон и — Он, Царь, как цапля стоит на одной ноге, ус устрашающ, никем не умыт (Ной натворил на твой рыл!). Ястреб, как яурей, — посмотреть, плюнуть и пропасть мне на месте! Или же прижечь сигаретой Ему пуп. Не по мне царизм.

Где Царь? Сядешь в трамвай, в метрополитен, в троллейбус на атмосферной рельсе (у нас троллейбусов — нет), сядешь — смотришь: сидят с розовой кожейцей, откормленной из Кремля, губ маслом намазан, как у нас — помадой, хвастаются — у них есть масло. У нас нет. Нам-то — на что? масло. Жарить жаб? но у жаб свой жир. У каждой московской дамэссы в кошелке гусиная лапка; сидит на сиденье и лапкой обмахивает, морду уродует, как дура в Избании. Сядешь в любой транспорт лимита, чуть что — все читают. — Где Царь! — спрашивается, я у всех на виду вынул флакон Красная Москва, сижу, пью. Такой подхалимаж, будто бы свой, москвич, лишь бы узнать про Царя. Все как заговорят! Вообще-то они говорят не отдыхая, не щадя ни мать, ни дитя: о Вавилоне, о вазелине, о вакууме, о Вакхе, о валерьянке, о Валтасаре, о валуе, о валюте, о вампире, о вандализме, о ванне, о варенике, о вариации, о васильке, о ватерполо, о вафле, о вахте, о ваятеле, о вдовице, о вдохновенье, о вегетарианстве, о Ведах, о ведре, о ведовстве, о ведьме, о веере, о Везувии, о Веке, о векселе, о векторе, о Великобритании, о великомученике, о великороссе, о велосипеде, о вельвете, о Вельзевуле, о велюре, о Венгрии, о вендетте, о венерологе, о Венеции, о венике, о вентиляторе, о венчанье, о ведре, о Вере, о верблюде, о вербовке, о вердикте, о веревке, о веренице, о веретене, о веригах, о верлибре, о Вермахте, о вермишели, о вермуте, о вернисаже, о вертеле, о вертикали, о вертолете, о верхолазе, о весе, о весне, о весталке, о ветеринаре, о ветчине, о вечере, о вешалке, о взводе, о вздоре, о взлете, о взоре, о взрыве, о взятке, о вивисекции, о Византии, о викинге, о вилке, о винегрете, о вино-водочной, о виновнике, о винограде, о винчестере, о виолончели, о вирусе, о виселице, о Висле, о виски, о висте, о

витализме, о витамине, о витие, о витраже, о витязе, о вишне, о вкладе, о вкратце, о вкусе, о влагалище, о власти, о внедренье, о внуке, о внутрь, о во-вторых, о водевиле, о водителе, о водобоязни, о водороде, о военкомате, о вожделье, о вождизме, о воздержанье, о воздухе, о Вознесенском, о возрасте, о воине, о вокабуле, о Воле, о Волге, о волейболе, о волке, о волнухе, о волоките, о волхве, о Вольтере, о вольфраме, о волонтаризме, о ворах, о воробье, о Ворошилове, о воскресенье, о воспитанье, о воспрещенье, о воссозданье, о восстановленьи, о Востоке, о восходе, о вперед, о вперехват, о вплавь, о впроголодь, о врагах, о вратаре, о врачебно-санитарный, о вредителях, о Времени, о в розницу, о вскользь, о всласть, о всмятку, о вслух, о встарь, о в струнку, о всухомятку, о втемную, о втереться, о втискаться, о втихую, о втридешева, о в три погибели, о в три шеи, о вуали, о в убыток, о вузах, о вышибале, о вышиванье, о вые, о Вьетнаме, о выюшке, о вязанье, о вякать.

Мы — молчим. А москвич вон как говорит. Я математик, я бюрократ у цифр, я записал все слова, которые говорит москвич. Я сосчитал. Во-первых: слова, весь словарный запас москвича. Возьмите любого кровинца, у Эллипсеевского Гастронома, отведите в подъезд, дайте бутылку бормотух — он вам столько слов набормотает, — жизнь покажется пошлой от такой сокровищницы словес! Но мы молчим. Нет слов у нас высказаться, — так их много.

Москвич хитер, фокус-флакон он раскусил. Все видят, насквозь: я — иностранец. В Москве, оказывается, никто не пьет. Тем более — Красную Москву! Попробуй, попей, милиционер тут как тут: — Не пей! — говорит. Это ж на тебе отразится. — И не пьют. Я, зверея, спросил по-кровински: — Где Царь? Я хочу видеть этого человека! Протягивают портрет: чей-то череп глядит из газет, как гляделец. Не тот! У нас не лгут, эх, Москва. А еще говорят: Москва — мозг. Лгут. А чуть что — читают. Мелюзга. Но если б я был поэт, — тут уж тираж! Брюаль у них называется рубль. У каждого москвича, выйдет лишь из Колонного зала, — в кармане рубль, каждый день. Я рубль не видел, но говорят: он звонок и блистающий. Говорят, по своему блеску он ничуть не меньше блестит, чем штык, многие мужчины предпочитают бриться, используя рубль, как карманное зеркальце.

Не увидев Царя, не уеду. Глядь: по Кремлевской стене идет, перепрыгивая с зубца на зубец, присмотрелся, я геометр, глаз мой — снайпер: старушка-погремушка, Омелия Болоньевна Жерементьева! Шуршит в шелках, спрыгивает с Кремлевской стены, парашют, видит меня, виляет хвост у куста, — как у блятви! Я в Москве. Я взял визу. И — она! — Ты почему в Москве? Ты

что ж сбежала с моих страниц, я еще лишь продумываю твою судьбу! — Я из Москвы. Я с твоих страниц не сбежала. Меня Царь забросил в твою рукопись на парашюте. Я — рука Кремля!

Я:

— Сука-старуха! Проговорилась — уж говори! Где Царь?

Она:

— Эх, товарищ Басманов! Да плюнь слюной хоть куда, — попадешь!

Я плюнул слюной перед собой:

СТОИТ!

Распространяться о том, что я подумал, увидев, — подлость! Голова загудит!

Я пошел по Гудузобцгаму проспекту на Амбат, там аргентум. Я пришел к гастроному «Аргентум», плюнул:

СТОИТ!

— Кто Ты? — спросил я, обомлел. — Как Тебя теперь-то зовут?

Я — Царь Ев Емтушонко!

Да, фамилии у русских — не из райских!

Отзыв о Царе Ев Емтушонко:

Мой рост 1 м 72 см. Его рост: 172 м, см — нет. Стоит, ноги в сандалиях, ногти наточены, нос недвижим, глаза не разглядеть, блистают, как бивни, в облацах, а в руках — консервная банка, честь имею представить: как Бычья Башня в Париже! Ну и банка!

И нет наклейки! Это — Царь!

СТОИТ, ест. Ложка — как весло от Вселенной!

— Что ты ешь, Ев?

— Я ем тушонку. Трудно жить, не поев.

Что есть тушонка, я не вем. Ни один Царь Мира не ел тушонку. Ни один ягипетский Фараон, ни один Кидайский Сатрап, ни один Цезарь у Сметония, ни Меровинг, ни Капетинг, ни один Халиф, да и москвичи: Иоанн Грязный, Пьетр Пьерный, Наш Самый Верховный Инстант Зубикомлязгик, да и я, Гений-Геометр, — никто не ел тушонку! Это — Москва! Это — Царь!

— Ты так и ешь?

— Я так и ем. Где СТОЮ, там и ем. Всюду ношу банку, тяжелая ноша, как видишь. Но я ем тушонку!

— Дай тушонку! — я говорю. — Я попробую. Я отдам. Нельзя столько есть, Ты, ободуй, Я, к примеру, не ем, что ж Ты-то ешь-то, Ев?!

— Я ем тушонку!

— Не обделяй!

— Я Москву не обделяю. Я — Царь, что хочу, то и ем. Мой москвич ест телятину с Тинторетто, олады с Аляски! Чего не

ест москвич на мой клич, гуся в шоколаде, кулич! Я — ем тушонку!

Упрямец. Лучше не связываться. Царь от Ев! Восхищаюсь.

Прилетит чудесный чибис Алексей Крученых, сядет на плечо Царю Ев Емтушонко, пропищит, как прыщ:

— Мисюсь! Дай автограф!

— Не дам! — говорит Ев Емтушонко, Царь. — Ты не дам! Я дамам даю!

Улетит чибис Алексей Крученых, плачет: где взять автограф? Царь не дает, а без автографа, как мы знаем из Биологии, чибису — смерть.

Я бросился к Лиле. Может, поможет? Жалко ж чибиса мне!

Лиля сидит в кресле на веранде, вертит глобус.

У Лили большие очки, висящие на золотой цепочке, волос рыж, набирает номер вишневым наманикюренным ногтем.

Лиля:

— Кто Вы, — явление яви, или оттуда, где бездна звезд полна? Три года тому Вы сказали мне, — еще не долго быть мне с Вами и пойду. Будете искать меня и не найдете; и где буду я, туда Вы не сможете прийти.

Лиля:

— Куда Вы хотите идти, что я не найду Вас? Что значат слова «будете меня искать и не найдете; и где буду я, туда Вы не сможете прийти»? Если я исчезну... Я кручу этот проклятуший Глобус, я ломаю свою столетнюю башку над Вашей фразой... Обратите вниманье: Глобус, последнее издание, 1977г. Из московских справочников мы знаем, как изменились мы, но не знаем, как изменился Мир. Я, вращая, смотрю: нет Великих Держав, есть Москва! Полюбуюсь: вот — вращается! — в Америке нет Вашингтона. Нью-Йорк есть, Вашингтона нет. По всей вероятности, Столица США ушла в океан в результате разбушевавшейся гонки вооружений. В Европе пропали без вести: Варшава, Бонн, Лозанна, Вена, Белград, Будапешт, Бухарест, все скандинавские и прибалтийские страны. Чудом чудес уцелели: Мадрид, Париж, Лондон. Куда ни вращайся головой с глобусом, всюду пустыня и грунт гор. В Африке лишь три неведомых или выдуманных города: Лагос, Луанда, Мапуту. Туниса нет. Может быть — из-за Камю мы стерли резинкой Тунис, Камю ведь писал анти Москвы. В Китае: Пекин и Шанхай, почему-то мы подарили Китаю наш Улан-Батор. Австралии везет: Сидней, Канберра и Перт. В Японии лишь Токио. Но уж у нас в Сверхдержаве Москва: Ленинград, Минск, Киев, Волгоград, Куйбышев. Я не картограф, не глобусовед, но вот и новость: оказывается, весь Кавказ мы объединили и на территории Кавказа лишь одна столица: Баку, Тбилиси и Еревана нет. Нужно б узнать, почему.

НО:ЕСТЬ: Архангельск. Свердловск, Новосибирск, Иркутск, Магадан. Владивостока нет. Хабаровска нет. От конспирации что ль от Китая? Ни в одной стране Мира и во всем Мире несть числа городов, сколько их в Сверх-Державе Москва!

— Лиля, — сказал я. — У вас в Москве есть еще Царь! Таких — нет!

— А, этот. Ев Емтушонко. Мы возим Его за валют по континентам, СТОИТ, ест тушонку, банка пустеет, — в нее бросают валют. Пустяк, но приятный. Прежде он пасся у Б. Пастернака, сейчас пасется у меня. Гляньте в сад.

Я всмотрелся:

— Не вижу.

— Выйдите на крыльцо и посмотрите.

Я вышел и посмотрел:

по саду ходит Поэт Алексей Крученых, точь в точь, как в Энциклопедьи. Не бескрыл, но без крыл. Серый пиджак, в заплатках, сам штопал. В какой-то из рук Поэта поблескивает цепочка, а на цепочке дрыгает ножкой по саду уникальный экземпляр, пегий пигмей, рост 17,2 мм. Я всмотрелся: Ев Емтушонко! Это — Он! Щиплет травку, слезится:

— Мисюсь, дай тушонку!

— Ах, Ев! Ты ведь ел! — говорит Алексей Крученых. — Ну, ничего, ешь еще, — и дает ему банку. Пегий пигмей лезет лапкой, ликуя, сунув себе в зубки свинину:

— Я ем тушонку!

Лиля смотрит на меня с горестью, подперев рукой щеку:

— А помните, И. П., Ваши 24? Шоколадная полуфрочная тройка и брошь с вензелями? Где вы шили такой костюм, где взяли брошь, сомнительный самородок? Хотите, я спою Вам песенку о Вас и о себе?

Лиля берет серебряную ложечку с глазурью и, позванивая ею о хрустальный фиолетовый бокал, поет, глядя на меня грозно и грустно:

— Ночь была, сверкали звезды, на дворе мороз трещал, шел по улице малютка, посинел и весь дрожал. — Боже! — говорит малютка, — я озяб и есть хочу, кто накормит и согреет, Боже, добру сироту? — Той дорожкой шла старушка, увидала сироту, увидала и согрела и поесть дала ему. Уложила спать в постельку. — Как тепло! — промолвил он, закрыл глазки, улыбнулся и заснул спокойным сном.

12 мая 1978 г. Лиля... 14 мая она мне писала в последний раз: «Дорогой наш! Не удивляйтесь моему карандашному почерку:

два дня тому я упала и зверски расшиблась, мне привезут рентгеновский аппарат и мы узнаем что к чему: перелом шейки бедра или что-нибудь полегче — вывих, ушиб, растяжение... Но скорее всего все же перелом шейки бедра!!!!!! Любите и так меня хоть немножко. Крепко обнимаем Вас и очень очень любим. Ваш верный друг

ЛИЛИ.»

12 мая 1978 г. Лиля сломала шейку бедра. Ей пришлось слечь.

Ей шел 87 год и встать уж, — не встать.

Нужно было б поехать.

Я любил, Лиля, я любил, но хлад в моем лбу не теплеет, но ход глаз не останавливается. Я читал Ибн Сину.

4 августа 1978 г. Лиля покончила с собой. Три месяца она украдкой откладывала таблетки, прятала их. 4 августа 1978 г., когда на даче в Переделкино никто не присутствовал, Лиля приняла таблетки.

КИНОЛЕНТА ВСПЯТЬ

Я взял кисть и краску: тюбик и таблетку.

Я расписываю бел-блюдо фаянс ал-яблоком, зелень-листьями.

Мы голодаем, но с утра у нас хохот, — торжествуя, вынимая нарисованный яблоч, приправляем сей фрукт укропом. Укроп у нас есть.

Ты варишь в чугушке рыбешку, у ней ребрышко и картофель вкусный, ты ходишь в цветастой косынке, пой, перепелка.

Я купил тебе тулуп белый для зим, а чтоб купаться — пять колец злата (алмаз, аметист, рубин, изумруд, сапфир!), купил, чтоб прогуливаться у моря, семь браслетов серебра, с чеканкой Византа. Тем, кого любят, им не дарят, а покупают. Дарят лишь тем, кого хотят подкупить.

Так мы, каникуляры, жили у Адога-моря.

Не такая уж ли высочайшая честь себе приписывается, — повиниться в смерти близкого? Биясь лбом, раскаиваясь, как в раю?

Брысь, близь!

Жизнь жуют двое, смерть не усмирить ни двум, ни множеству. Смерть — ода одного.

Мы снимаем избу на Адога-море в деревне Дубница, здесь живет раб-рыбарь со спец-сетью. Он спит вдвоем с женой, пьет бормотух, а ходит в пеплосе из рыбьей чешуи (не путать с человеком с рыбьей чешуей, тот — с ней на теле, тут — пеплос!),

по вечерам, по вечерам любитесь в телевизор про фигурное катанье на льдине, от него запах тюленей, — Северная Провинция, тюлени тут есть.

Деревня Дубница — меж двух каналов, их выдолбил Ментор своей рукой, с целью. Но 2500 лет каналы не ремонтируются. Теперь у них иная цель: принимать на дно тела утопающих. Раб-рыбарь, выдув для виду бешеную бутылку бормотух, любил тонуть. И вот он уж не раб-рыбарь, а утопленник.

В деревне Дубнице есть и церковь, на ней крест из бамбука. Откуда — бамбук? Первый вопрос. Почему крест не из металла, или ж из древесин хоть? Первый вопрос, есть ответ: бамбука у нас нет. Про второй: не задавай вопрос, а то спросят тебя.

Священнослужителя нет; церковь пустует, живут в ней сова и летучая мышь. Лишь в Юбилей Столицы дети, у них локон — светится! с голенькой пузикой, с коготочкой карабкаются на купол, вынимают бамбук и бросают вниз, — рабу-рыбарю, примату-премиату. Тот хватает крест нарасхват и бьет смаху бамбуковой палкой по глуп-голове, — друг ли, родственник ли, что ему, бьет! Смеется, мордасой! Друг, родственник, — и тот так же смеется, он польщен, бьют-то бамбуком, не чем-нибудь! Где найдется бамбук? Нигде. Лишь в деревне Дубница.

Елью не бьют, сосной не бьют, да и дубом не бьют, — на такие штуковины у нас есть судебно-медицинская экспертиза. А вот бамбуком, — бьют, он звонок, звеняц!

В деревне Дубница нет врача, но есть учительница. Она пишет на доске букву и цифру, — мелом. С большой культурой мелового периода. Доска называется «Табель». У детей талант, запоминают букву и цифру, сами ее нарисуют тебе, если с них спросится. Вот и уезжают в Столицу, вырастая до 1 м 65 см, и все становятся инстантами: у нас нехватка инстантов, самородков по происхождению.

Учительницу съели волки. На смену прислали другую, эта в очках. Съели и другую, с очками. Из Столицы прислали третью, с милиционером. Волки не трогают милиционера, хоть он и вооружен огнестрельным револьвером. А третью учительницу съели. Вошли в известную избу-читальню и растерзали на куски третью учительницу.

Прислали четвертую, за ней пятую. Две учительницы теперь жили в одной избе, в лес ни шагу, лишь с коромыслом к колодцу, с ведром. Волки съели эту двойню. Прислали учительницу, у ней муж-агроном, — новая комбинация. Учительницу съели, а муж уехал в Столицу, в агрономах Адога-море не нуждается.

Прислали учительницу в наморднике, с дробинкой (ружье от волков!). У нас кампания: волков убивать нельзя, они и так уничтожены, варварство.

Учительница пишет мелом на черной доске «Тафель» букву и цифру. Плакают дети раба-рыбаря: почему же учительница в наморднике, с ружьем? Дети боятся.

Но ее съели волки.

За год волки съели 11 учительниц. Волков было 2: он и она, семья, у них волчата, всем хватает на зиму и мяса для желудка, и костей, чтоб укрепить клык. От раба-рыбаря волк отворачивается, запах тюлений.

В нашей избе живет и отец, Майя.

Твой Лев Толстой, он ходит к морю, на плече сидит коршун, за пазухой банка меда. Он купил кой-какую лодку, сидит в лодке и удит на крючок, с червем. Поудят, полакомятся, — коршун ест мед клювом, отец оловянной ложкой. Коршун не хищник, а знак хитроумья. К чему взлетать в небо, высматривать мышшь, зайчонка, или в лесу клопа? К чему кусать падаль кишок местной кошки? Садись на плечо, все могущ и мудр, клюй мед, жри свежайшую рыбу окунек, он же нет-нет, а блеснет на крючке Хозяина, крючкотворца Льва.

Лев Толстой — безгреховен. Круглой суткой он цитирует фрагмент из того-то (тавота) трактата. Он цитирует одноимянца и однофамильца о том, что нет нравственности в том, кто пьет, ест, одевается и танцует, а еще и сует хлуй во всех проходящих по Несскому проспекту девиц с девизом. Твой отец свят, он имеет веру, что пить нада воду из Адога-моря, есть нада вегетарианца, одеваться в оду им. св. Клопштока, а хлуй суй в одну девицу с девизом, если уж с ней обвенчался, — в жену свою.

Я как олух слушаю философем и мучаюсь юношеским сомненьем: чем убить пропагандиста? Лом или топор? Если б мне дать 44, как сейчас, я не сомневался б: я взял бы лом. Топор, — приходится расплющивать челюсть, кровь брысь-брызгой падает мне на манжет, окрасится в цвет «серебрист с кровью» брада пифия, ну и крошится кость. Лом человечней: дал в лоб раз и никакой трепанации черепа. Но мне было 24, я взял лом, а дать в лоб постеснялся.

Сверстник Века, он увидел свет в деревне Дубница, Адога-море.

Он был вынут из женщины, той, которая ходит, босая, по полям с плугом Льва, но не с точкой зренья Толстого, а все ж пашет земную землю и хлебает хлябь.

В 17 лет Отец смастерит вымпел: возьмет тряпку, оросит ее

кровью из-под зарубленной животины, подцепит вымпел на древке и пойдет, маршируя, в Столицу меж двух каналов (о Ментор!).

Лев Толстой идет, а бегут: дед, бабка, отец, мать, — за ним, кормильцем старости их, так им мерещится.

Дед бьет — не добьет, бабка бьет, отец, мать — у них не получается. Бьют-то тем, что попадется под рукой, а механизации в деревне еще нет: про лом ходит слух, но никто лом не видел. Бить же кулаком — или сустав ломать, или же знать позу бокса. Но и позу в начале Века знал лишь лорд. У нас-то и лорда не знали.

Лев Толстой является в Столицу не пуст: правой рукой несет вымпел, левой рукой тащит за шиворот всех тех, кто его бьет, угнетая: деда, бабуку, отца, мать. Их спрашивают: вы занимаетесь самоусовершенствованием? Раб-рыбарь, женщина босая, они этот слов не знают. Слог для них длинноват. Их расстреляли.

Отец, освобожденный от уз, идет, учится. Он так идет и так учится, что вызывает зависть у профессуры: он не умеет ни читать, ни писать, и нет сверхъестественной силы, чтобы пригнать его перелистывать хоть календарь. А вот мозг его не поддается анализу, память хоть плачь: цитату и лозунг запоминает наизусть!

Вот выпускной экзамен: что ни ответ — цитат, что ни ответ — лозунг. У профессуры два выхода: или признать, что ученик — непревзойденный мастер-оратор, или идти под расстрел. Предпочитают выход первый.

Юридический факультет, — этот барьер им взят. Ему дают комнатку в доме, где все живут. Он женится с Софьей, санитаркой. Вот как он задумывается: соседняя комната хорошая, а в ней живут двое, у них же нет юридического факультета, они любят поговорить. А они говорят, а он слышит, стенки-фанерки, не годится. За разговоры-то двух и взяли. Под расстрел. А у Отца теперь кабинет.

Так появляется Майя, и Льву Толстому кажется, что третья комнатка в квартире, последняя, как-то пустует. В ней живут на жилой площади в 31 м кв. лишь 18 людей, но кровинцы ль сьи 18?

Любят поговорить. Скажет каждый по слову, — вот тебе 18 слов, слушай их, иль кувыркайся от бессонниц. Где разговор двух, — еще куда ни шло, один доносит, второй расстрелян. Но уж тут говорят 18, это уж не разговор, а — заговор.

Процесс «Заговор 18» длится полторы минуты. Их расстреляли. Отец получает и третью комнату. Теперь он живет, как полагается в обществе обещаний.

Если в студенческий год он ходил в брезентовой тапочке, вставая в пять утра, чтоб искать на вокзале им. св. Витта уроненные бормотушником пейки, чтоб позавтракать похлебкой с

хлоркой, то теперь он жрал куриц и пил мед. За боевую бдительность ему дан чин доцент, сажают в Инстанцию, тут он и жил, расстреливая кровинцев то в мирное время, то на ухабах Всех Войн.

Вот на этих-то ухабах он и поймал жену, Софью: она убежала с Майей после процесса «Заговор 18». Он поймал жену и расстрелял за аморальное разложение Всех Войн: Софья спаивает солдат, служа санитаркой, имеет спирт. Солдаты поднимаются в атаку, как пьяные, и падают на пулемет. Не разобравшись, в чем тут суть, подъем и паденье прославили как подвиг. Первый, кто так поднялся и пал, получил чин посмертного героизма. НО: КОГДА: стали подниматься и падать на пулеметы все как один, прошитые пулей врага, Комитет Маршалов пересмотрел главу о герое: солдат ведь не останется! Пулемет врага замолчит, закрытый навек телом, но откуда возьмется солдат для Побед?

ВОТ: во всем виновата санитарка Софья Толстая, не без умысла она дает солдату весь спирт, как в приказе, а не ворует спирт для офицера, как им хочется. Офицер обижается. Доцент дает показанья, что она и его, мужа, спаивала в той квартире в Столице, и что знаменитейший «Заговор 18» спровоцирован ею ж, она ж пила с 18-ю, разговаривая отчасти с ними, но он в тот год про нее не сказал, потому что вообразил вдруг, что она, Софья, поддается перевоспитанью. Но Софьи не поддаются. Расстреляли.

Скука, скука писать про пули. Стреножить бы страницу, выпasti ее на лугу льгот, оседлать на Восходе и ускакать в заветный Закат, чтоб серпы волос бились в Бурю, и доскакать до недосягаемого Себя и лечь спиной, положить кисть-пясть на грудь и смотреть открытыми глазами на Солнце, чтоб над моею головой звенел лишь василек июня.

Или не лежать бы и там, не лежать бы нигде. Улететь бы вдоль улиц Столиц невидимкой в Небо и спать весь век твой, Земля, на какой-нибудь звонкой Звезде!

Мы обвенчались, Майя, и Льву Толстому потребовался друг: Женя Жасьминьский, эстет, инструктор по утренней гимнастике по радио.

Майя любит героизм: солдат Всех Войн, инстант Тайной канцелярии, спившийся Чемпион Мира по шахматам, вральцузский и зебрский каинисты, мореплаватель и... той же любовью шел Отец ее — копиист Льва Толстого. Из мертвецов: Достоевский и Лермонтов.

Женя Жасьминьский — энциклопедист всех фантазий Майи о героизме. Он душил ящериц, выйдя из колыбели, а в 12 лет

уж сражался во Всех Войнах. Он бился грудью в дул амбразур, полз под гусеницу с бутылью «горючая смесь», изучая немецкий язык, он прикинулся, как мальчик-милльчик, и Дуче-едалянец усыновил Женю, а Женя повесил Дуче на дерево вниз головой. То дерево называется «апельсин».

Здесь, на Адога-море, инструктор проявляется, как эстет: он видит в корнях сосны и дуба, выброшенных на берег морской — фигуры искусств. Корень выбрасывает Адога-море, полируя волной бронтидов, их, корней, вырванных и выброшенных, у нас не счесть. Делай из них искусств. Чуть рубани, чуть спилю, чуть подрызи, — вот скульптур настоящий, на постамент, а ля натюр. Не мертвецкая камня и глин, а урод от природ. Лишь имей храбрый хрусталик в глазу и увидь эту фигур-скульптур в зашифрованной корне. Женя хрусталик имел. Это ж тебе не корень из икс в 1980 степени, а искусств.

Еще: Женя Жасьминьский пишет роман о героизме себя и поприщ. Он умеет писать и прозу. Он поет Песнь, зарифмованную крест накрест!

Он ловит рыбу. Своей снастью. Вялит рыбу и ест, у него есть сало, и он ест сало. С рыбой и салом он ест хлеб. Крошка не пропадет, крошку он сушит на солнце и ест: хлеб — святыня.

И теорема решается: нам-то по 20 с чуть-чуть, ему 47. Это ведь кружит голову девиц-демониц вопреки часовой стрелке.

Майя моется молокой, завивается плоскогубцей, бровь рисует моей тушью для черчения. Не имеется в нашей избе иной инструмент, чтоб понравиться столь многостороннему людо.

Чуть заискрится солнышко, Майя соскакивает с супружеского ложа (у нас — юность!) и бьется, как стрекозка, в дверцу банки (Женя Жасьминьский селится в банке по совету Льва Толстого, чтоб изгнать из себя роскошь). Женя Жасьминьский выходит на стук, одетый в трусы, с мускулатурой, грудь оброс волосой, волос вьется, седеет. Начинается утренняя гимнастика. У меня интерес, я на крыльцо: взмах рук, присест ног и задниц, круговорот одной головы и другой на шее, и «бег на месте», у Майи цветастый купальник, у Жени трясутся трусы до коленки, пуп препоясан резинкой от трусов, у Майи гуляет грудь в бюстгальтере, — флирт!

Я пишу формулу и фигуру в альбом, пью простоквашу, манит лук зеленый мне — увы, я смеюсь. Утренняя гимнастика выполняется. Идут к Адога-морю, он с топориком для искусств, у нее ноги в веснушках. Потеря памяти: Женя Жасьминьский имеет еще лысеющий лоб, — секс-индекс по Фрейду. Они купаются под сосной, как под пальмой!

Лев Толстой ходит за ними с цитатой про эмансипацию жен.

Жены не эмансипируются. Вот и пес цепной без вмешательства извне. Это потом уж я додумался, имея их письма, вот почему Лев Толстой сопровождает дуэт, поющий песню у дюн: энергия Льва иссякнет как искра в электрической лекции — мне, ему нужно было б подсмотреть, какая у этих ямбля. Ненависть к тому, кто не «Я» это же быт и дешевка. Ненависть же ко мне — это ведь инстинкт.

Об Отце. Мыться не мылся. Спал в свитере, в шубе, — как спелый слон. В Столице он нас посещал. Посетит — засядет. Вонь хуже, чем от вин. Болея, себя он жалеет до жути. Придет, я присутствую, я возьму нагайку и под конвоем отведу в сауну. Это Льва Толстого страшит: в сауне схватит еще сифилис или трахому. Да и мытье отвлекает ум от философов. А пример: например, Сократ, Диоген и т. д. У нас нет мытья. Не потому, что нет мыла, мыло — чтоб струпья на тоге простирнуть. Мы не моемся, чтоб наш ум был больше, чем у Всех, пусть все моются, пусть тратят мысль на тоску телес, нам-то не до мытья, — мы умнеем.

Увидев меня, Лев Толстой ничуть не пугается, как те, кто хоть мельком увидит меня. Не смутится, не удлинится с мордой, — вывешивает розовейший язык до ятр и звучный лозунг цитат сотрясает воздушный климат моей дворцовой квартиры. Я в кабинете, Лев Толстой за дверь, цитирует, я в уборной, я в ванной, — за дверь, цитирует, мы с Майей в спальне, — открывается дверь, лоб Льва Толстого, борода, в шубе, с шапкой; учит меня уму:

— Люби людей! Имей сердце! Отдавай брюаль нищим! Ищи Золотой Лозунг!

Я встаю, как есть, я выбрасываю Учителя в кухню, там Уна, у ней нет щенят, ей бы изувечить своего Гостя, как в гестапо, если б ей волчицей, но кудрявая шкура (псица-пудель!) не позволяет кусаться. Он ей чешет живот и цитирует, бедный, — ей!

Я выгонял Льва Толстого нагайкой. Нагайку он отрицал от цитат всей душой, прямо так и сказал: нагайка — пережиток. Я согласился, но предупреждаю, что нагайка, несмотря на архаизм, — единственный ценный инструмент для Учителей.

Потом, листая уж их эпистоляр, я додумался: съе ТРИО: доцент Лев Толстой, Женя Жасьминский, гимнаст-перестарок, и Майя, девиц-демониц, — БОРОЛИСЬ со мной! Я и не подозревал. Оказывается, вопрос т. наз. «секса» у них не на 1 месте. Вот что в эпистоляре: ни по возрасту, 24, ни по характеру харакириста, ни по знанию зениц я недостойный Академик. Мою славу раздувают губой асоциальный элемент у нас и «Логос Хамерики» — у них. Мои Книги по новейшей геометрии издаются

у нас, как малюсенький брошюр, а во вне нашей Столицы в форме томов с толщиной. Я — фальсификатор и мистификатор, и есть еще час у сил, чтобы меня расстрелять. Есть и смысл: кому ж нужен такой лже-Академик, не знающий ни одной букв про то, что есть дактилоскопический матъморализм.

Оказывается, пока я сидел на крыльце и смеялся их флирту (меж трусой и бюстгальтерой), они, ТРИО, чертили, чертыхаясь, окружность, треугольник, эллипс, параллелепипед, чтоб доказать несовершенство моих формул и фигур и абсолют своих катетов и биссектрис. В своих конных пробежках по плоскостям (о Эвклид!) до яда им никак не доскакать (о У-Кодекс!). Им бы перстень с крышкой, под крышкой яд, — в мой флакон! Но перстень-то Майе, к примеру, купил я, а перстня с крышкой у нас нет, а у искусств ювелирца никто из них не Челлини.

Солдат, инстант Тайной канцелярии, спившийся Чемпион Мира по шахматам, вральцузский и зебрский каинисты, мореплаватель и вот вам эстет Женя Жасьминьский, инструктор утренней гимнастики по радио, — все втягиваются в эпистолярную борьбу с моей малочисленной личностью. Точат штык и лелеют пуль, звонит телефон, как Лафонтен, думаются шахматный комбинаций, Вральция и Зебрция вычеркивают из Энциклопедьи мою биографью, формулы и фигуры, мореплаватель перевязывает мой рукопись вервьем и топит с камнем с кораблей, киник Тодор кипятит мой теорем в котле химкислот, а я-то думал: что ж я роняю, что ж теряю где-то, как алкоголик, то блокнот, то альбом и еще что-то из бумаженций, где чертеж и заметка, и теперь придется вспомнить, а не вспоминается, ну их в нюх, лучше я напишу что-й-то новей. Они — крали мою муть! Не понимается мной сей систем: как красть у меня, я ж недоучк. Все БОРОЛИСЬ со мной — 14 лет! А я и не знал.

Когда я узнал, я подумал:

ах, им же несчастье: за 14 лет можно б 14.000.000 раз облететь вокруг Земной Шары, вот и летали б в свое удовольствие. Как же бороться с кем-то, если он не знает, что с ним борются?

Если Всадник скачет на Коне из пункта А в пункт Б, у него открыты глаза для Бурь, — он прискачет. Когда ж кто-то лежит с кем-то, оседлав, и оба грезят, что у них есть Конь, что они обгоняют Всадника и уже в пункте Б их ждет арка триумвира, лист-лавр и тост Толп, — какие неутешные скачки, какая не-продуманная греза.

Когда же реальный Всадник уходит, исчезает и не найти, Все вздрагивают, и если он жив, объявляется: он — сумасшедший. А Он-то и не знает и про объявление. Он как был так и бысть с Конем, со своими пунктами Старт и Финиш, а ОНИ начинают

метаться, надеются на возврат (ведь больше БОРОТЬСЯ не с кем), а потом погибают в той ж анонимной борьбе (с кем? с собой?). Какая смешная, увы, смерть.

ПЕЙЗАЖИ АДОГА-МОРЯ

Волнение и волны вод.

Волнения у людей преувеличиваются. Так в Элегии Массне поет Ф. Шаляпин: «Уймитесь, волнения страсти!» Страсть, — что ей волноваться?

В Анатомии людь делится на МУЖЧИН и ЖЕНЩИН.

МУЖЧИН имеет 2 холм, 2 волн волнений: зад.

ЖЕНЩИН имеет 4 волнений: 2 полукружья у ягодиц и 2 грудь.

Как увидеть волнения страсти у зада МУЖЧИН, если он так облицовывается штаной, что у взгляда не проникается ткань? Не увидеть.

Если ж волнуется ЖЕНЩИН, — увидим. Если у ЖЕНЩИН и нет любви, ухитряется, чтоб обратит мой глаз на свой 4, обтягивая ягодицы прозрачной джинсой, вращая их при ходьбе, а 2 грудь декольтируются даже в стужу.

Если ж у ЖЕНЩИН любовь, — Все видят волны. Не нужен сейсмограф, ни к чему и утренняя гимнастика.

Майя Волнуется. Майя о 20 с чуть-чуть и Женя Жасьминский о 47 идут на кладбище у церкви, с где крест-бамбук, нежатся на могилах, ищут девственность у Природы, — труп, да, девствен.

Коршун все ж взвился: эстет хотел с ним поиграться, но я-то приручил коршуна для Отца, ну и доигрался, коршун выбил Жене Жасьминскому — глаз. Опять не в пользу мне: кровь ушла, теперь он смотрелся, как раненый, с черной повязкой, как Нельзон, как Биль Бульон-с, как Кукузов, побивший Навелона.

Я позабылся про Географью: деревня Дубница располагается на острове близ берега, близ двух каналов. У острова имя: остров Орел.

Им, двум, искупаться б, а мне — искупление.

Пусть их пасутся в пейзажах Адога-морья и острова-Орла, пусть постараются: он напишет Пятое Евангелье от Жени Жасьминского для телезрителя, она, Майя, отволнуется. Я — люблю Луну!

Мы сидим на чердаке нашей избы, лапть-лачужка, по телу бегают букаха, покусывается, а сквозь щель в крыше фосфорес-

цирует Луч Лунный. Оркестр комарья, у них свист флейт, а крыльца — флажок, свеча горит на столе, свеча горит. Мы

пьем
вин,
мы
ем
вобл!

Майя смотрит на меня влюбленными глазами. Женя Жасминский лишился уж глаза, но и он смотрит на меня вторым, светящимся от свечи, и он любит меня, — дубль Майи. Всюду сено и мне пахнет сеном.

Сквозь щель смотря, я вижу:

Луч Лунный метался как меч, вот он восходит на Крест, и нет креста, есть Луна-полумесяц, минарет мусульмана, контур-то тот же. Триумвират мусульманства — Мы, а Майя — триумвир многожества, мучитель МУЖЧИН, вот и гнида-гимнаст потерял уж в этой любви глазик-алмазик.

Год пройдет, Майя придет в наш дом в Столице, станет на коленки, поставит свой подбородок на коленки — мои, и скажет Майя, поднимая в воздух два бокала:

— О мой малыш! Я не повинна, что люблю и любят меня. Я им отдаю лишь тело, а любовь наша — с нами. Я им отдаю свежайшее тело, а они-то теряются, им не взять. Вот тебе, Иван Павлович, — вся взаимность. Они тебя ненавидят, Басманов, за то, что Ты — не Они, вот и хватаются за мои хитрости. Хвататься хватаются, но кто ж им выдал патент на Тебя — импотентам? Пред Тобой — Они-то без сил, нет им сил от Беса!

Я возьму бокал, звяк-брудершафт, юношеский!

И вот — вопль! Майя валяется на полу, я бью, свищет стальная плеть, губы мои голубые пенятся в бешенстве, кровь твоя, Майя, бьется брызгой о стенки, лишь мозг мой пульсирует, — лишь бы не по голове, — бей бабу бесчестья!

И вот — Майя взвизгивает с пола, на темени у меня взрывается моя пишущая машинка «Гермес Бэби», циркуль вонзается мне в плечо, мы рвем когтями, как заячье мясо, стулья и бьемся, — кол о кол, ножками стульев! Майя прыгает на подоконник, взламывает стекло и выбрасывается с 9 этажа! НО: мой прыжок — прежде, я хватаю, швыряю с подоконника на пол. Опять на полу, но уж оба. Пес трясется под уцелевшим на диво столом, письменный стол-то, а сука Уна в ссорах — не третья.

Мы лежим, ураган отбуянил, мы угрюмы.

Я кипячу шприц, я делаю Майе укол-новокаин, я промываю ей раны целебн-мумие, я зашиваю игл-медицин ей шрамы, свои же заклеиваю «БФ-6».

Мы смеемся, как от сумасшествий, — что остается?

Объятая двух при свече опьяняют лишь двух, если ж ты третий, — уйди. Если ж ты еще и муж, то зрелище для тебя — безрадостное. Если будешь бороться, тебя заклеят: бюрократ. Ты уйди.

Майя и Женя Жасьминьский обнимались при мне, целуясь. О рев-ревность! Я ушел.

Остров Орел спит, как спрут. У островитян есть правда: раб у рыб.

Но и у меня есть правда: я искупился. (Искупиться — и с копытца!)

Ночь июня светла, бархат белый. Над мавзолеями изб: полу-месяц и звезда. Так освещаются избы. А у изб, а у них, — мертвенность стекол, стоят, на башке — колпак-треуголка, это крыша. А над крышей бубенец телевиз-антенн, дурь дурья, как до Новой Эры.

Здесь, в лесах, в логовищах живет стая волков: их 12. Лишь перейди каналы — увидишь, от острова Орел — пятнадцать минут на лодчонке.

Я знаю их вождя, волчицу. У нее профиль как у египтянки. Мы познакомились, ходит на охоту одна, я не прелятствую, я люблю ее. Как люблю Луну! Я хожу на лыжах, мы, как соседи, здороваемся с египтянкой, не раскланиваясь. Мы здороваемся так: она рычит, я скалюсь.

Зима была звездной!

Местный магазин о ту Эру еще торговал: водка и консерв. Я покупаю консерв, сардину в томате, и бросаю банку волчице, из рук не берет. Я видел в лесу пустые банки, вспороты крышки, — но 12 зверей не прокормит один болван.

Каникулары, еще до Отца, до Жени Жасьминьского, мы живем в той же избе, варим тот же чугунок с картошкой в виц-мундире января.

Мы живем на Адога-море, а у нас живет Кот, глаз, как у кидайца. Кот еще тот:

на столе стоит бутылка с пресной водицей из колодца,
в ней вывелась Рыбка, не головастик-лягух.

Рыбка растет, как акселерат, и вот уж высовывает морд из бутылки,

а Кот-кидаец ловит Рыбку лапкой,

а Рыбка лапку клыком кусает!

Кот лапку любит, зализывает.

Выросла Рыбка, мы переселяем ее в лохань,

а над лоханью я навешиваю гамак.
Кот валяется в сетке, смотрит на Рыбку, —
как кидает, млекопитающ!
Вот уж у Рыбки — пасть, большая,
да и Рыбка-то уж не Рыбка, во всю лохань!
Я рублю топором вечный мраз Адога-моря,
я ловлю на мормышку рыбку поменьше, в пасть нашей, пусть
растет.

Вот — выросла. Хвост бьется уж на крыльце, дверь не закрыть.
А нам холодно.

Мы: я и Майя несем Рыбку, надрываясь, тут — тяжесть,
бросаем ее в Адога-море, в прорубь.
Кот почему-то, не видя уж Рыбки, убегает в лес, как дикий,
бросается на волков, как рысь!

Почему он, Кот, предпочитает скитаться?
С какой стати приходит Кот туда, где прорубь?
Отчего ж, о Отче, в прорубь влывает Рыбка с головой уж
как у коровы?

Вот высовывается, встречает Кота:
выбрасывает из пасти на лед:

жирный лещ,
хищный щук,
сладкий сиг.

Кот съедает сладкий сиг тут же,
а лещ и щук замораживает, выжидая, на льду, и уносит в лес.
Такая Рыбка, такой Кот.

Канал замерз, как Байкал, как без льда: живая прозрачнейшая
пленка, ударь ножом, брось пейку в щель, — монетка опускается,
как летающее блюдо, миниатюрка-маятник туда-сюда, внизу
лилия, гиацинт, нарцисс у водорослей форма капуст и как укроп!
Солнце в зените, солнце на снегу!

Я сделал финские санки, я наточил полозья, а кто-то командует
ветру «Зюйд-Вест»! Ты — в санках, сидя, я на полозьях, ты —
лодка моя у льда, я — парус последний за твоей спиной, ветер
дует мне в спину, сильный, мы летим по льду, пролетая, летуны-
невесомцы — над подледным садом. На берегу: как бегут люди-
лютики-людовики с папироской, в валенках, в шапке из шкур,
мавзолеи из бревнышек, с трубой — трубят, березовый дым!

Лед свеж, Майя, ты засмотрелась на стебли, цветы ирреализма,
я увидел волков.

У меня дальnozоркость. Волки бегут, чуть касаясь льда, мор-
ской пустыней, 12 светлячков — на нас, а ветер дует в спину,
он ураган.

Нож? револьвер? камень? ружье? Руки пусты, нет и перчаток, не ношу. У тебя близорукость, Майя, объяснимся потом.

Я сказал:

в ухо:

тебе:

— Майя, встань на полозья, а я сяду.

Ты поставила правую ногу на правый полоз — назад, я левую на левый — вперед. Я командую, мы переместились, держась за руль.

Расстоянье, как говорится, стремительно уменьшается.

Что я увидел! Как я смеялся! — волки гнались за Котом!

Кот прыгнул, ударил меня в грудь, как шар чутунный!

Я взял за шиворот, передал через голову Майе.

Волки пошли на охват. Если фигура, то: два полукружья, два крыла чайки, а центр — волчица, клюв. До зверья — 300 м (глазомер!).

Красное Солнце у горизонта, как медь-монетка в щель, уходит в лед.

Я расстегнул шубу, вывернулся из рукавов, передал через голову Майе: не выбрасывай. Майя правила в центр.

Я остался в рубашке, белой вязи, иероглиф черный на груди.

Волосы — вьются! Я приготовился.

Волчица присела к прыжку. Щучья пасть, египтянка!

Я — прыгнул!

Секунда! — скорость! — ветер! я и воздух! —

я пал на нее, схватил правой кистью за горло, нас несло, мы кувыркаемся, лед, вихрь, я левой пястью, большой палец, — выбил ей два глаза, оба.

Египтянка катается по льду, охватив морду лапами.

Нас относит, но волки идут уже на меня. Я на льду. Не оглядываюсь.

Ветр пропал. Луна вылезает из щели на смену Солнцу. Я люблю Луну. Я люблю лед.

Волчица катается, волки бросились на нее, вот и вождь! Или ж так: волчица-вождица, сей ж час Вас лакей съест, а их — 11!

НО:

они не успели открыть клык, за ними вдрут — вспыхнуло! Ай, Майя, — зажгла мою шубу (разбила о полоз железный — зажигалку, спичкой зажгла бензин!). Волчья стая без вождя — это стая утят, от огня растеряются и разбегутся. Разбегаются.

Так у нас появился белый королевский пудель Уна, Псица.

Так, Майя, ты написала свою единственную песенку, знаменитую «О, ВОЛК!».

У

туч

бурь

нет,

А

град

бьет

птиц,

У

нас

от

нот

НИ

лиц,

ни

псиц!

КАК

день

от

дня

нам

не

дал

срок,

ни

до,

ни

для,

НИ

звук,

ни

сленг!

У

людь

хоть

пясть.

А

тут

вой

в

нуль.

Взять

нить

и
спряйсть,
как
щит
от
пуль?
У
пуль
лёт
чист,
А
нас
бьют
в
лёт.
У
людь
есть
числ.
А
нам
нет
нот!

Мной стихи не понимаются, нет у меня любви к ним! Всюду вскрик: — Ах, губят талант! Кто ж талант, — не знаем. Кто ж губит, — не видим. У Майи это — единственная песенка, никто ее не загубит, знаменитая. Имелся у нас геометр М. М., уехал в г. Ньюрку (УЭСА). Не понравился. Уехал в г. Римму. Что в г. Римме? Девицы с именем Римма? Думается, у них иной инициал. Формула М. М. есть у меня, висит, сиротеет, на стене, в раме, застекленная. Геометра кровинцы лишились, но не лишились ума: им Геометр на «г», или ж — я, что им ДО, им нужно ДЛЯ. Им-нам. А я горюю. Я возьму флакон Красная Москва, сяду на пол, смотрю на рисунок формул-фигур, — ну и график! я геометр, линия мне понятна, мне слова непонятны, а если их кто-то составит в стих — я болею, как бомба. Несется по моим стенам (цвет лилейный!) линия М. М... Как он пел! Не отрицаю: у нас в Столице все поют, выпьешь, — еще и не так запоешь! Но голос не тот, М. М.! У нас голос, как у ню-герлс с двумя зелеными огоньками на ягодицах. Что ж я сижу, спрашивается, что горюю, смотря на линии, жру лимон? Где Голос Твой, М. М.?

Я спохватился. Я виноват, г. Столица. Вместо одного Голоса М. М. ты мне дала два ГОЛОСА:

вон, что ни ночь, вверху, в водопроводной трубе один ГОЛОС

говорит; мне: НАДО ЛЮБИТЬ! а второй ГОЛОС в шкафу, где тряпье трансцедента, говорит; мне: НАДО УБИТЬ!

Я горюю, меня боятся, не делают мне и укол с этикеткой «оптимизм», а все потому, М. М., что я их не убью, я их оптом люблю за их «изм»!

Трагикомедья:

ты, Майя, уложила волчицу Уну в клинику для Верховных Инстантов, ее вылечили, я глаза ей лишь разбил, но не выбил. Ты, Майя, купила по спецпропуску шкуру и морду королевского пуделя, а мастер сшил шедевр, — шкуру по росту, хвост на пружинке, и вот волчью морду — в пудельянскую маску! Дай ей имя ничтожное Уна, зарегистрируй в собаководстве, сойдет.

Египтянка, в ней-то уж, тут-то уж, — дремлющий талант. Вот где гениальность, признаться: волчица, оказывается, актриса: входит в роль пуделя тут же: пред прогулкой, пред гостями. Ни одна душа жива (лишь мы!) не заподозрила за 14 лет! — это не пудель, волчица. Шкура, хвост и маска надеваются за считанные секунды. Застежка «Молнья» идет от конца хвоста до кончика челюсти, разветвляясь на лапы. Лишь вот брить нельзя, «Молнья» в кудрях скрывается, а в результате Уна — лишь вот Выставки лишена, но не до бритья мне, бритв у нас нет, мне не до собачьих медалей, — хватит их, медалей, с меня, своих.

Ты, Майя, научила Уну, как лаять, она ревела, как Дикий Океан, наводя ужас на всех псов г. Столица. Им-то слышался Голос не тот, чуялся запах зверя, а люди, кровинцы, им не до голосов, не до запаха, всяк усвоит: волков в г. Столица не держат при себе, запрещается.

Так я шел с острова Орел, знакомый зигзаг берега, я жевал сигарету, высасывая, сырость. До ближайшей Автобусной Станции 26 км. Я отплевывался от сигарет.

Июнь, светлая ночь, у болот блеет лягух.

Я уходил от тебя, Майя, зносьте раз, и я возвращался. О чем вспоминается, если идешь? Вспоминается.

Уже солнце восстало. Жужжа.

Я дошел до Автобусной Станции. Сел в Бормотушнице. Взял стакан, пил стакан. Автобусная Станция отправляет пассажира в Столицу, а мне отправляться не к спеху, я пил.

ВОТ: Майя, входит.

Майя:

— Ноги мои неживые! Ты устал, Иван Павлович, от 26 км?

Я:

— У меня ноги как ноги. Я хожу, я хорош.

Взяли стаканы.

— Чучело мое! — сказала Майя. — Ведь я сразу встала и пошла. Если б ты пошел вокруг Земного Шара, я пошла бы, как шваль. Ведь я в Ад твой пойду, не подумаю!

Я:

— Где ж гимнаст?

— А гимнаст поет гимн астме, — Майя играет в словес. — Экстра-эстет изгнал себя, — из нас. Женя Жасьминьский напуган, вызвал такси из Столицы, уж уехал. Поумирали, и пора друг, пора! — пойдём, мой малыш, назад, в д. Дубница, на остров Орел, это не Патмос, о ты, Иоанн! но островок-то — у нас! Пот у нас, путь у нас!

У Бормотушницы на Автобусной Станции стоит велосипед, новенький. На седле — веревка из нейлона.

Майя взяла веревку, привязала конец ея к седлу, а из второго конца связала петлю, набросила себе на шею. Себе!

Майя:

— Теперь искупление — мое. Садись в седло, крути педаль, а я пойду. С вервьём на шее. Через все деревни и веси. Пусть видят! Мой позор.

Я:

— Ты на велосипеде, — сюда?

Майя:

— Я не умею на велосипеде. Купила здесь, пока ты пил. Ну, лошадка, трогай! Все трын-трава! Не горюй, герой!

Блюдо, которое я тебе купил, ты разбила о цементную ступеньку баньки, а осколки разбросала по всем тем «мемориальным местам», где вы, ходя, хитрили.

Майя:

— Талисманы твои! На проклятье — мне! Не в прок, блятве, мне!

Ты двигалась, Майя, как сомнамбула, — 26 плюс 26 равняется 52 км, туда ты пешком, оттуда с ногами, но на веревке.

Мы купаемся в Адога-море.

Ты позабылась и не сняла кольца. Пять перстней, которые я купил, соскользнули с пальцев. Все пять. Луна просвечивает море насквозь, пузырьки, ты плаваешь, я ныряю, выскивая перстни, я хожу руками по дну, я хожу глазами по дну, но терять кольцо. — к несчастью, а то и к смерти, а ты — теряешь пять! Перстней.

Майя садится на песок, берет руками колени, скосила глаз. Ее лицо сплошь в веснушках, глаз лукавый, заячий.

Майя:

— Кому я клялась: не надену ни одну драгоценность, друг цепной мой? Я не царица с острова Целебес, я из рабов-рыбарей. Из кухарок ухи, — для тебя! Я ведь не надевала и Моё Обручальное, а ты восклицал, возмущенный: «Для флирта!» Как видишь. Ох, опыт! Ну что тебе эти-то пять? Есть и нету. А Моё Обручальное, суеверец ты мой, лежит в шкатулке. А у шкатулки твой звяк-замок. А примета, т.ск., распространяется лишь на обручальные кольца.

— Кто такой Клопшток? — спросил я, чтоб не мучиться. Майя о нем писала: «Синтаксис и пунктуация в поэзии Клопштока. Докторская диссертация». Но кто он? Не мой ли он современник?

Майя: хохочет:

— Клоп — это клоп. Шток — это палка. По-ненецки. Бей палкой клопа, и обрящешь!

ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ

И это был День 666; последний: год 7487, январь, цифра 6.

Мраз, разбивая стекла, рыдает пред Рождеством. Луна сверкающей линзой восходит в форточку и уж повисла над моею головой. (Луна, — яйцо, одно, из холодильника!) И я увидел в линзе: в ней Люлька, у нее стоит Вол с ручными рогами, у Вола стоит молодой Осел, и глаз его — Глаз Гнева! Вол и Осел жуют солому, а солома свисает с их губ, губы — красные. А в Люльке лежит новорожденный Младенец, голый, имеет пупок, перевязанный электрической проволокой, — красной. Сидит Младенец на четвереньках, весь жирный, морщинистый, раскрывая зубастую пасть, как поросычю, — Он ревет! К Земле Он относится благоговейно: Он ее ненавидит.

Я встал, я как-то так раскланялся в зеркало, как не раскланялся ни с кем.

Я встал, белый как лунь от бесчестья, главный, как знак лунатизма. Я был оскален, а серпы волос режут моё лицо, шею, ключицы. Я сказал телу: — Не трясись, пойдем на Несский проспект. Нет у меня меча, у нас нет их, мечей, а чудовище Несси уже просыпается.

У Кузнечикового рынка стоит Конь Бледный и Всадник в белом держит 40 роз, они — красные и все разбиты, в воздухе выются лишь лепестки.

И Луна просмеялась мне на Вы:

— Я разбила Ваши розы! Сурово сыграли с Вами с экрана. Милый, это еще впервые, а все — впереди!

Что мне Конь Бледный? Коней у нас нет. Что мне Всадник? Я сам себе Всадник. Я есть. Я отпустил Всадника и коня. Мы пошли с Уной, уж не уча, не проповедуя, не исцеляя.

Живых, Майя, любят, как балладу, — лишь читают про себя, поодиночке. Мертвых хоронят хором.

Я взял на Кузнечиковом рынке 40 белых роз, я взял в Антикварьи гроб, окованный в серебро. И я шел с Уной по Столице.

На Несском проспекте, у чудовища Несси стоит юноша-гоплит Александр, он-то с мечом, держится за рукоять. Смотрит на Несси. Что ему хочется? Что б ни хотел он, сейчас нельзя: ведь прошел, Майя, слух о твоей смерти по всей Столице и повели к твоему гробу, все шли — немощный, одержимый болезнью, истеричный и бесноватый, и ослабленный от бормотух; я оставил их за оградой кладбища, и я не исцелял их.

Ты упала, Майя, и разбила лицо, и лежала в гробу загримированная, неузнаваемая, лоб высок, волос отлакирован от лика, так-то твои ранние руки, обнимавшие обе меня, обвивавшие (так-то!) жизнь обо мне, — руки скрещенные, скрепленные лентой-креп, ты лежишь в серебряной раковине, в перламутре, питомица Адога-морья, месть морская. Белые розы, их 40, бесслезная дань. День последний.

И ты была опущена в Землю, я не позволил ни хора, ни колокола, ни торжественных тирад сых, за оградой, скорбящих. Я допустил к тебе лишь своих учениц, их 12, и они несли тебя на руках через всю Столицу, от меня до кладбища, и ни один мы-кровинец не осмелился перейти нам путь, лишь светофоры стоят, как асфodelы!

Скорей, скорбь, скорей!

Я опустил тебя в Землю и Уна не выла, и глаз мой был чист и глядящ, а ученицы бросали горстью землю — в Землю, а потом умыли снегом лоб и ладонь.

Взошло синее Солнце января, не колеблется Солнце вверху. День последний твоей династии, Майя. Мой День Последний.

И я возложил на твою могилу мрамор-плиту и написал на плите — СВОЁ ИМЯ!

РАССКАЗ

Лев Толстой лежал и умирал.

Отец лежал, жрал куриц, пил мед и подыхал. Он вопит круглой суткой:

— Дай мне яд!

— У нас яда нет. Где я тебе возьму яд? — спрашивает Майя. — Сожри целлофановый мешок, авось и сдохнешь.

— Я не ем целлофан! Я вегетарианец. Люби людей! Имей сердце! Помогай мне! Не пей, — брось рюмку!

— Новый Год, папочка! С Новым Годом, с 1979! Ты, крест мой, не кричи, неутомонный, мой мыслитель-мяук, хоть в сей час не сри под себя, не ссы под себя, ты хоть скажи, если захочется, я дам чашу для сранья и ссанья.

Отец:

— Мне не встать. Я смертельно болен. Не кури, жизнь дается лишь раз, — для общества обещаний!

Майя:

— Потому что у тебя 3 чирья на ятрах, ты валяешься, как вол, не даешь мне и шагу ступить.

Отец:

— Это не чирья. Это рак! Ты — дочь, обязательства, не отойти от меня.

Майя:

— Я не отойду от тебя, но ты заставишь меня отойти в другой мир, филистер. Я тебя дважды возила в больницу. Три знака скальпеля, трижды выдавить гной, под новокаином, без боли. Трусливая тварь! Что-й ты трясешься над ятрой своей? Зачем тебе ятра в 76? Что с ними сбудется? Кому их пощекотать под одеяльцем? От тебя и клопица-то не отелится!

Лев Толстой, Майя бьет ему в морду бокал, тот орет «отцеубийство», соседи из этажей вызывают «Скорую помощь», «Скорая помощь» хохочет над драмой Льва Толстого, прослушивая трубкой чирьи на ятрах, а жандарм не вмешивается в семью, он милостив.

Было в тебе, Майя, вот что: священность болезни, любой. За сим позволю сентенцию: человек, отдававший одиночество, ищет ответ: почему Генеральный Прокурор г. Столица — Лев Толстой? Очевидность — но почему? Так бывает: мир замыкается на одной комнате, на ком-то, а тут Отец.

Я знаю, что значит в пустой, кому-то м. б. и нужной комнате, где пол зеркальный, со стеллажом, с тахтой, крытой персидской коврой, с лилейной обоей, где ум занят, как январский свинец, а войдешь и не знаешь, включать люстру или ж кататься по полу, ополоумев, иль стать у форточки, как ферзь, и пить яйцо, одно, из рюмки, плюясь, думая о пуле «дум-дум». Пуль «дум-дум» у нас нет, а у меня есть, у меня еще и освещенный оكن есть!

Видю в окн: калейдоскоп стекол, сидят-едят трапезу, трапезунды, с кашкой, с кормушкой, и гудят, — бас тартарский! Мам и Пап мампапают, на сковородке плещутся голенские девочки с головасткой на шейке, Муж уж мстит булавой, Жен загоняется в холодильник, где слякоть и жарится уютю... Я знаю, что значит в комнате — клоп!

Что у людей клоп? — омерзительный, что-й-то кусающее, чуть уж не автор Апокалипсиса. Цивилизанти вообще-то клопа уничтожил.

Но цивилизанти еще при жизни пожалеет об этом.

Возьмем г. Ньюрку (УЭСА). Одиночество. Нет у них больниц, лечатся от медицин поодиночке. Никто не женится, — боятся наговориться. Никто нигде не живет, а детей сдают в отель, их кормит ликерой лифтер. Скитаются с утробой, пьют, воя, виску, и каждый блюет в свой стакан, бьют в баклуш, играютя в клюшку, упражняются с кольцом, бя пуль в пуп некру, некрофилы. Жестокость. Импровизаций на скрипке у них нет. Попадетя Женщин, у ней мультимильон их брюалея, с ней, виляя, падает в пропасть любой Мужчин. Увидитя в щель мальчик-милчик, — растляют. — Где жандъарм? — спросит людь-кровинец. Жандъарм у них гнусный: шлем, щит, противогаз и гранат со слезоточивой газой, — как в цирке. Над ними смеются: — Ну-ка побей! Не бьют. Поймают тех, кто жует желе из малин, и — побреют! Насилье. Вот и свобод! Жандъарм у них — легионер, из Лиги Наций, нацист. У нас жандарм — свой, лишь свистит в свисток. 2 дерутся в морду, а 20 жандарм лягут под лестницей, свистят! Нервничают из-за двоих. У нас ведь Кодекс: не трогай труп! О г. Ньюрке. У них резерваця: Голем-квартал. Там живет Женщин с черной лицою. Мужчин с белой лицою войдет в Голем, а Женщин с черной лицою стоит на четвереньках, льет слез. Нет у них трусов, ягодиц прикрывается кой-как-кой-какой кружевцою, у нашей ж Женщин трусы есть, настоящие, до колен. Мужчин с белой лицою всунет украдкою Женщин с черной лицою — розу, в рот, чтоб ей на четвереньках смотретья покрасивей, и уйдет Мужчин, не поцелует, как псицу, и цент не даст. Жестокость. Вральция, г. Борис. И тут секс. Войдет в рыбную магазину, возьмет живую севрюгу, а клык у ней загно-

ился, вырвет ей клык клещой кузнеца, шепчется, проклиная, рыб-севрюг, рыб-губаста, а вральцузу только и надо в жизни, чтоб губастей. Секс-маньяк, губошлеп. Принесет рыбу-севрюг в мансарду, по-ул-ыбается с ней, безответной, жарит и съест. Жестокость. А потом скитается по г. Борису, спит в свинарнике на соломе, увидит свинью и со свиньей — секс. Скотоложество. В Ябонии г.Тоська. От одиночества имеют крокодила в ванной. Жить негде, спят в ванной. Женщин спит с крокодилом, Мужчин с крокодилицей. А одиночество — есть. Что же делать одинокому ябонцу? Выход один — убить. Увидит детишку 14 месяцев, в велосипедной кепочке, зарубит саблей, сенсэй, поймает в г. Тоська стариканца, со шляпой, — задавит веревкой, как ловец жемчуга. Насилье. У нас, к примеру, г. Мангодал, а у Елкиболтании г. Ломдан. Г. Мангодал — мы сосем плод манго, г. Ломдан, — им дан лом, бьют ломом в сердце, где послабей, бьют старух, джентльмены. Для теннисной игр. Такая страна Елкиболтания, поболтаются с веревкой на елке под Рождество, играют в теннисный код, ракетой, с боеголовкой! Что ж летает через сетку у сей игры? Теннисный мячик? — нет, не мячик, это — сердца старух! Изнасилуют их сексом, применяя жестокость, и убьют, а сердцем играют через сетку. Одиночки. Едалия, г. Римма. В г. Римме мафиози и мафиозки, едят конфекту с вермишелью, фетишисты, одиночества у них — хоть отбавляй.

Мы, люди, кровинцы, не знали б подробностей, если б не наша пресса. Правдивая! Ведь у цивилизанта нет судебной процедуры, не хотят разглашаться про недостатки. Как избирается Президент? Мы-то знаем: есть у тебя дреднуот с ихней брюалью, ты пьешь с пешеходом, будто б по-братски, бренди, бьешь из кольта в отеле, где родят детей, бойскаутов, — ну и бей дитю пулей, пусть он смеется сильней! — сядешь в кресло, как Президент. Каждый может стать Президентом, — это ж не зря говорится. Каждый пьет, каждый бьет, каждый имеет дреднуот с брюалью! Это я о клопе.

Это я о клопе. Что-й-то мне вздумается с пулей «дум-дум»? Дурная мысль. Я включаю люстру. Моя семиглавая люстра осветит комнату под чердаком, посмотрю на любую стенку, их 4. Посмотри, на каждой ты увидишь клопа. По одному клопу на каждой стене, как минимум. Убивать клопа? У нас жестокости нет. Я подойду к стене, и клоп остановится (а ведь бежал, как пуль из пулемета!). Я подошел, остановился, знакомец: такая чудесная черепашка цвета Заката, красная, клоп встанет на задние лапки, как песик-вопросик, возьмет пульверизатор и опрыснет лицо мое, — милый, знакомый запах детства, новогодний!

И побежит клоп, быстренький, к твоей тахте, ведь ты плох, но не плачь, ты не одинок, не заброшенный, как зубр в роще. И ты будешь всю новогоднюю ночь вращаться под ковром, зацелованный этой домашней клопицей, и к утру, окровавленный, забудешься, как Будд. Но помни: ты — не одинок!

6 января, в канун Рождества, ты, Майя, нарядная, украсила дом ель-ветвью, Лев Толстой лежал, высоколобый, забинтованный меж ног свежей бинтой, в крахмальной сорочке, белой, а галстук — сиреневый, с якорьком. Сорочка и галстук ему нравятся, а Рождество не нравится, это ж не Юбилей.

Ты села к Отцу, высиживая, с яблоком и с вином, выслушивая и кивая на мудрую мать, — он Отец твой. Ты была уж как ижица: тельце чуть теплится, дунь — и душу взовьет в ветр.

Все прощается: днем он спит, ночью вопит. Сей недышащий, издыхающий лежмя, встает-таки ночью, прокрадывается к твоей койке и бьет тебя по ланите, — вставай, поднимайся, корми! Ты просыпаешься, кормишь. Так бояться, Майя, за чужую бозень!

И лишь раз, в день 647, гордая, как Медуза-Горгона, ты ворвалась с Уной — ко мне, встала на колени, касаясь лбом пола, вскидывается лицо, все в слезах, протянула тончайшие руки — ко мне и сказала (в той главе, где ты падаешь с лестницы, я несую тебя на руках, и такси):

— Я не сильная, я не сплю, я терплю, он меня бьет от бессонниц, зачем ты меня замучил, Басманов, говоря, что я всеильна? Я слабая, баба я, струнница-странница. Я отцарствовала. Я отстранствовала. Спаси меня, Иван Павлович, ты — можешь! Ты мог уйти от меня (как ты мог?), значит, ты — победитель, мой Всадник! Победи ж еще раз: отставь от меня Отца! (Чиновный чирий, священный свищ!) Я буду мыть тебе волосами ноги, — убери ублюдка! Он, как вепрь, вопит про яд, не успеть мне уснуть, не к кому подеваться, не могу его бросить, — он сдохнет в момент от нехватки крови, моей! Ему нада пить кровь (хоть — чью!), а я не могу взять на себя вину в смерти Отца, а ты — можешь, отмсти ему! Отмести б его, чтоб сью невидаль никто и не видел! Не гордость, уж, — о гадость!

Ты, Майя, в бреду, ты молила меня, я не Ментор.

Я принес телефон (из коридора в мансарду). Я сказал:

— Вот телефон!

Майя, взвываясь:

— Я вижу!

Я:

— Я сью секунду снимаю трубку, звоню. Отца отвезут.

Майя:

— Звони!

Я:

— Твоего отца отвезут в психиатрическую больницу. Спец-больница. Там примут, свой примат!

Майя:

— Но он не сумасшедший!

Я:

— Я знаю. Он не сумасшедший. Он лишь лукавец-Лукулл, сумасброд с бутербродой.

Майя:

— Не смей так говорить о моём Отце! Он — Лев Толстой!

Я:

— Психиатрическая лечебница — единственное место у нас, куда, имея как я, свой спецпропуск, можно положить хоть когда — хоть кого. И держать у них будут столько, сколько скажу, ухаживая с осмотрительностью. Там не лечат от псих-болезней, а лечат от любых. Универсализм. Чирьи выдают вмиг, он поздоровеет и заговорит. Говорить же он будет у них до конца дней себя, будет у них — пожизненный лектор. Аудитория у них сидит, чутка, благодарит. Слушают, оживленцы! Там: кто не слушает лектора, тому лечат слух: бьют по ушам каблуком. Отец будет счастлив, честное слово! А пресловутых куриц у них — полный холодильник, а меду — стоит бочка, обод медный. У него будет праздник призванья, ты ж — свободна, хоть для свадьбы! Ну, не молчи, Майя!

Майя:

— Мой Отец не сумасшедший. И не будет числиться сумасшедшим. Крест взят мной, Басманов, и я донесу мой крест до конца!

И ты понесла свой крест.

Но ты пронесла свой крест лишь 23 дня. Еще.

Ты была у меня 14 декабря, а в ночь с 6 на 7 января, в ночь Рождества, ты схватила Отца за бороду, ты плеснула ему в морду бокал и вскричала:

— Заткнись, гадина! Да сгинь ты, дегенерат! Отпусти мою руку, я спать хочу!

Но болеющий был силен, а ты ослабла.

Он засмеялся, сверкая:

— Ты алкоголик! Подкрепи себя вином, освежи себя яблоками, но сиди. Я вот-вот умру от рака. Дочь да охранит Отца!

Не издевайся над старостью, сама будешь старой. Что ты бормочешь о Боге, ты, бормотуха! Такой ум умирает, а ты — хоть бы хны! Дай мне яд от мук!

И: ТОГДА:

ты схватила кусок ваты — всунуть в пасть кляп! Матьморалист заорал, как зарезанный, Уна взвыла по-волчьи, соседи застучали пепельницей в стенки, ты, Майя, — ярость! — бросилась в ванную, там стоял пузырек-стеклянец: «Карбофос от клопа», ты схватила тот карбофос, выбежала в комнату и, стоя, вскричала:

— Вот тебе яд, святая сволочь! Вот тебе яд, струитель надежд! Вот тебе чаша чести, ебанный яббом инстант!

И ты запрокинула пузырек и выпила яд.

Ты испугалась, твое бедное лицо затряслось.

— ПАПОЧКА, Я ВЫПИЛА ЯД, — еще прошептала ты, и упала лицом и разбила лицо.

Тут уж — тишина.

УТРОМ

Утром соседи не достучались и взломали дверь.

Лев Толстой спал. Сладким сном. Ты, Майя, лежала как упала. Стенки-картонки, соседи все слышат.

Они: Отцу:

— Почему Вы не вызвали «Скорую помощь»? Ведь вызывали ж по пустякам! Вы же видели: она выпила яд!

Отец:

— Она пила яд каждый день.

Они:

— Как? яд? каждый день?

Отец:

— Так. Каждый день она пила яд, — алкоголь.

Они:

— Но это же КАРБОФОС!

Отец:

— Не все ли равно?

Они:

— Вы юрист, вы — Генеральный Прокурор, и зна-ете, что не все равно. Вас будут судить! Она выпила слишком малую дозу для смерти. Ее спасли б и через два часа. Она умерла не от

отравленья, нервный паралич. Вы — выждали 6 часов! Хотелось ей смерти, специалист?

Отец:

— Я умираю от рака, я обессилел, я потерял сознание, испуганный, я уснул. Кто будет судить меня, старца, на смертном одре?

Соседи остолбенели: старец сошел с ума, с горя.

Вызвали психиатра.

Пока шел психиатр, забеспокоились:

— Может быть, Вам что-нибудь нужно? Перевязку? Лекарства?

Отец:

— Жрать хочу!

Они:

— Что ж Вам поесть?

Отец:

— Курицу!

Они:

— Сейчас же! У нас есть в холодильнике ножка и крылышко!

Отец:

— Мне — целую! Горячую!

Уже труп твой, Майя, освидетельствовали жандарм и медицин, и вызвали машину морга. Но машина морга не поспешает, — куда уж тут торопиться-то?

Когда вошел психиатр, ты, Майя, так и лежала у ног Отца своего, на полу, вниз лицом.

Отец же твой сидел на кровати, в белой сорочке, сиреневый галстук с якорьком, сребробородый. Он жрал курицу, разрывая ее руками, и зубы сверкают, как звезды!

Сидит Отец твой и лакомится курятиной над трупом твоим, лубительница атавизма!

Соседи со страшной гримасой стоят в дверях.

Психиатр — настоящий, не инстант. Он не стал простукивать в молоточек Отца. Он не расспрашивал в тестах. Не закрыл дверь на ключ от врачебной тайны. Врач даже в комнату не вошел. Он не больше минуты рассматривал это зрелище. Потом повернулся и пошел к лифту.

— Какой же диагноз? — бросаются соседи вслед. — Ума лишился? Маразм старца? Стресс?

— Он убил ее. Он — убийца, — сказал врач и вошел в лифт, не оглядываясь.

ВЕЧЕРОМ, Я

Вечером: Я: Отцу:

— Ты знаешь, как убивают людей? — спросил я.

Майю уже увезли в морг. Я встал в день 666, я не видел доцента 666 дней, вот — увидел. Он отнюдь не лежал, а сидел на кровати, жрал ложкой мед из банки с наклейкой «Мед пчелиный». Все в той же сорочке, тот же галстук: с кровати болтаются ноги босы, волосатые в меру, старческие, как говорится.

— Знаю, — сказал он. — Тридцать лет трудился.

— Сам-то убивал когда-нибудь? — спросил я.

— Сам не убивал. Никогда.

— Как же ты знаешь, Лев Толстой, если сам не убивал? Я говорю о методах.

— Ну как не знать: расстрел, виселица, газ, огонь, шприц, яд, штык. Методов много. Кто их не знает!

— И все ж одного метода ты не знаешь.

— Я знаю все, что относится к юриспруденции, и не тебе меня учить, ты, геометр-гамназист!

— Ты знаешь все, а вот одного метода ты не знаешь, и я сейчас тебе докажу.

— Если ты сделаешь хоть шаг, чтоб прикоснуться ко мне, я закричу, и тебя мы упрячем в трюм!

— Я не сделаю ни шага. Слушай. Птицы жрут птиц, медведь жрет медведя, рыбы жрут рыб. Ты это знаешь?

— Как же! Смешно!

— Не совсем. Ни с птицей, ни с медведем, ни с рыбой от этого ничего не случится. Им ни хуже, ни лучше, — им никак.

— К чему ты, — забеспокоился. Он мыться не мылся, но был брезглив, как мимоз.

— Были и людоеды, — сказал я. — Но они умирали быстро, жили недолго. Человеческий организм не приспособлен к поедению человеческого мяса. В Последнюю Войну те, кто ел в тылу человечину, умерли раньше тех, кто вернулся с Войны.

— Прекрати! — заорал он. — У меня рак, не говори гадость! — меня сейчас вырвет!

— Представь себе, — сказал я, — сваренные губы влагалища твоей дочери Майи с рыжими волосинками со слюнями спермы стекающими как мед в твою ложку и ты сосешь мед из влагалища пережевывая звездной зубой а губы скользкие попискивают как жирный жаб а волоски не пережевываются царапаются о твой язык завязают в трахее желудок сжимается вот-вот рвот ты же млечный жуя склизкую жабыю мясу двух больших губ влагалища

твоей дочери, — а из влагалища в рот тебе уж не слюнь и не сперм а моча горячая привкус гниющей горчиц после ямбль ведь мочатся...

Отца уже рвало. Он стал блевать в середине моей фразы, а я говорил, варьируя и повторяясь, тих, отчетлив, ни точки, ни запятой, я диктовал, сжавшись, оскаленный, уставивший желтый зрачок в его чмокающие, а потом уж блюющие губы, вот — высовывается язык, Отец сгибается с кровати, выблевывая еще не переваренное куриное месиво, слизь и желчь, а башка с бородой свесилась меж колен, а колени — как локти, болтается башка, перевешивая туловище, вот — перевесила, и Отец свалился вниз, — к моим ногам.

Басма: отпечаток босой ноги Хана на воске; Ханский посол, прибывая к князю-кровинцу, протягивал ему этот оттиск; а князь-кровинец обязан был встать на колени и поцеловать отпечаток моей ноги в знак того, что покоряется. Лишь потом начинался кой-какой разговор.

Этот — свалился к моим ногам, передернулся, распластались бел-ручки, бел-ножки, большой лоб — прекрасный, монументальный, борода сияет электрической рай-дугой люстр!

Никакой разговор. Он был мертв.

ГАМЛЕТ. ПРИНЦ ДАТСКИЙ

Об эпистоляре.

Датский король Клавдий, убийца брата, посылает племянника принца Гамлета в Англию под конвоем 2 вельмож, друзей юности принца: Гильденстерна и Розенкранца. У Гамлета интуиция: он просыпается ночью, выходит из каюты, накинув лишь плащ, идет искать друзей, шарит в темноте, берет у них пакет и возвращается. В каюте он срывает нить и сургуч, где печать, и читает, что он — серьезнейшая опасность для Дании и Англии, его лезя тут же схватить и отвинтить ему голову. Гамлет пишет новое письмо, поддельная почерк, и ставит печать своего Отца, убитого Клавдием, дядей.

Горацио:

Так Гильденстерн и Розенкранц плывут
Себе на гибель?

Гамлет:

Сами добивались.

Меня не мучит совесть. Их конец —
Награда за пронырство. Подчиненный
Не суйся между старшими в момент,

Когда они друг с другом сводят счеты.

Гамлет мог бы написать в письме любую чепуху, но написал, чтоб отвинтили головы Гильденстерну и Розенкранцу, — друзьям, 2.

Принц Гамлет поступил не по-джентльменски: вскрыл письмо, предназначенное не ему, а Королю Англии, послал своим пером на смерть 2, друзей, конвоиров морей. Прогуляницы, они ведь не знали содержания письма.

Этот поступок — несмываемый клейм на имени Гамлета еще со времен Саксона Грамматика, датского летописца конца XII века. Действие ж драмы — IX век.

Не клейми себя, — да неклеименный будешь; не счесть риф у параллелей и цитат. Это я о рукописи.

ИСХОД

Шагай шагами, — придешь к исходу.

Я опустил в Землю тебя, Майя, взошло синее солнце января, и я возложил на твою могилу мраморную плиту и написал на плите — СВОЕ ИМЯ!

Киник Тодор стоял поодаль у замерзшей, как соляной столп, осины. Он был страшно оскорблен, что хоронят не его.

Увидев шествие, гроб и 40 роз, киник Тодор метался от осины к ограде: к гробу я его не допустил.

Он уехал с невероятным портфелем, правда, почти пустым (так он держал портфель за ручку!), он вообще-то любил все, что побольше: маленькая слабость большого инстанта у наук.

Зима темнеет в 4 часа дня, а совсем стемнело, я позвонил кинику Тодору. В Ученый Совет:

— Давай в ресторан. Я не мог допустить тебя к гробу, я не допустил никого, лишь 12 учениц. Пойдем: так, тризна!

Он охотно откликнулся, я взял столик в ресторане на вокзале им. св. Витта. Красноярс ресторана Гай Рузин тоже геометр (а как же!) и наше скромное меню с крабами стало насчитываться и насчитываться.

Я сказал:

— Сейчас у меня нет денег, я занесу завтра.

— Нет слов, маэстро! — воскликнул Гай Рузин. — Я знаю твоё несчастье, вся Столица в скорбях. Что мне-то деньги!

Но Тодор сказал:

— Нет. За все и всегда нужно рассчитывать. Из кармана. Тут же. Я рассчитаюсь.

Гай Рузин вопросительно посмотрел на меня, красномяся морда, ей бы бриться 12 раз в день, — перечеркнулся гадливой гримасой:

— Я не Академик, маэстро. Я лишь очень и очень люблю геометрию, и чуть-чуть черчу. Ведь я от чистой души угощаю и мое сердце в скорбях. Я не знаю Кодекса вашей профессуры, а этот хочет рассчитаться. Правда, так принято?

— Пусть рассчитается, — сказал я.

Началось то, что всякий раз начиналось.

Киник Тодор сказал счет наизусть. Красномяс-геометр сказал, что, если уж взялся рассчитывать, то так неправильно. День Рождения тоже требует расчетов, но уж куда ни шло, все ж киник женился на Генриетте Любяхиной, а теперь здесь — торжественная месса, не пойдет. Тодор, непреклонный, вынул блокнот и написал твердой рукой все цифры. Подошли лакеи, с интересом посмотрели на цифры и сказали Гай Рузину:

— Будем бить морду клиента.

Я ушел за стеклянную дверь. Диван из резины, я курил.

Красномяс вышел посоветоваться.

— Ведь не мне деньги, — сказал он, — деньги делятся на всех. Лакеи — забьют!

Я сказал:

— Его имя киник Тодор.

— Да знаю я эту жомбу, Иван Павлович!

Я:

— Утром, во время похорон киник Тодор разглядел на мраморной плите — МОЕ ИМЯ. Он ведь мой ближайший друг и был страшно оскорблен, что хоронят не его. Утром же он уехал читать лекции с легчайшим портфелем. Сейчас портфель так тяжел, что одному тебе не поднять. Иди, попытайся, и если тебе не удастся поднять портфель, открой замок и посмотри.

Двое лакеев вынесли портфель, вышел с ними и Гай Рузин. Киник Тодор собачился за столиком с остальными лакеями.

— Я не жандарм, — сказал красномяс. — Я открою замок при свидетелях.

— Открой замок, — сказал я.

Он открыл замок.

— Вынимай, — что там за тяжесть?

Двое лакеев и Гай Рузин повозились, пыхтя, и вытащили: мраморную плиту, которую я возложил на твою могилу, Майя, и написал на ней — СВОЕ ИМЯ.

Ревнивец к МОЕМУ ИМЕНИ, киник украл плиту с кладбища,

чтоб выбросить ее из электрички. Ведь он до последней минуты думал всерьез, что я напишу на плите — его имя.

Гай Рузин прост, он зверь. Его лицо из красного мяса перечеркнулось. И перечеркивалось, и перечеркивалось.

— Что делать, Басманов? Куда идти мне, Иван Павлович? — он поднял сжатые кулаки, волосатый, как Моисей. Слезы струились из жутких, жутьнических глаз его. Два лакея стояли, как два пса в белых фартуках, высунув языки.

Я сказал:

— Иди туда, куда хочешь идти. Делай то, что хочешь делать. Они ринулись, я курил. Сигарету с фильтром.

Как-то на своем традиционном Дне Рождения киник Тодор сказал, что он проживет до 84 лет. Я подумал тогда:

— Нет, Тодор. Ты не проживешь 84. В твои 48 я уйду, исчезну, и тебя забьют лакеи.

Теперь ему 48, и его забили лакеи.

— Там труп, — сказал Гай Рузин. — Мы его забили в моем кабинете. Как быть с трупом в кабинете?

Я:

— Позвони Кате. Она позовет майора Милюту Скорлупко. Тот тоже чуть-чуть геометр. Он не будет писать поиск, запирается с тобой и завираться. Для майора Милюты Скорлупко смерть — не шарада. Не волнуйся так, не трясись. Пусть твое сердце и скорбит, но не связывай скорбь с этой смертью. Отнеси завтра плиту на могилу Майи и возложи венок из роз. А с твоим трупом справятся сослуживцы.

Киник Тодор был обделен судьбой, но не обделен сослуживцами. Не беспокойся, побеседуй с майором Милютой Скорлупко про пятый постулат Эвклида, да и как ни как, — у тебя все же есть коньяк!

**ТРИ ДНЯ СПУСТЯ. БУЛЛОВСКИЙ ХОЛМ.
Я НА БАШНЮ ВСХОДИЛ И ДРОЖАЛИ СТУПЕНИ,
И ДРОЖАЛИ СТУПЕНИ ПОД НОГОЙ У МЕНЯ**

Мне 44.

Я отплакался.

Я отмолился.

Год 7487 от Сотворенья Мира, январь, цифра 9.

В год 7487 от Сотворенья Мира, январь, цифра 6, — мы убили Майю. Все, кто прикасается к ЛЮБВИ циркулем или копытцем Зверя, — все мы убийцы.

Я убил их и убил себя. Мир губам твоим, гибель!

Цифра 6 — цифра 9: три дня я был мертв и вот воскрес.
Три дня я лежал на зеркале, мертв и мерзл, глух, слеп, нем.
И вот: воскрес.

Я встал.

Я взял футляр из металла сталь, я ввел в футляр свечу и включил ея.

Я посмотрел на кисть, я посмотрел на ступню: нет стигматов, не из бытья же им взяться, — не мне они. Я не «ДЛЯ» и не «ВО ИМЯ».

Я посмотрел в форточку: ни зги, за окном свищет ветер!

Я снял крючок с форточки: ветер ворвался в мою мансарду, весь как есть, — в реве!

Ветр — вращался вокруг меня! Свеча стояла на этажерке, но не погасить ея!

Я стоял на ступнях, я сжал кисть в пясть, и не было дрожи в ней.

Я встал на колена, гол, глуп, лжив, суетен, я ударил кисть-пястью оземь, — о зеркало!

Вдребезг! — я взорвал сей лак, сью ргуть, — взвиваются вверх стеклянцы; я вышвырнул их в форточку. Я выскоблил ногтями деревянные доски: мой пол! — прост, чист.

Я взял стремянку и сорвал обои, — о бей их! — цвет лилейный! Я взял щелочь и омыл стены, кирпич тепл, ясный, свеж! А обои ветр унес. В воздух.

Я выбросил все флаконы со стеллажей, и люстру, и персидский ковер с тахты, и это была не тахта, а кровать из камня, на ней кровь слез и слизь. Я взял соль и лук и вытер камень.

Я спросил:

— Камень, кто ты?

У камня нет ответа, нет глагола. Он — тих, тепл, из двух плит, лежит на моем полу. Я застелил мой камень двумя простынями из белизны, я положил одеяло суконниц, — вот уж и ложе у жизни впредь.

Теперь: взяться за себя.

Но ветр — выл! Свистал в моей мансарде, — свидетель!

Я сказал:

— Уйди. Возвращайся на круги своя. Больше здесь для тебя ничего не начнется.

Мы остаемся втроем: я, циркуль и эта ругопись.

Я взял будильник, завел пружину, расставил стрелки: Я ЗНАЮ ВРЕМЯ. Вот нас и четверо: будильник тикает.

Я взялся за себя.

Я вскипятил воду в тазу, намылил голову, раскрыл бритву

и снял все волосы с головы, те серпы волос для роли, для ругописи;

роль-руль!

роль — цель, руль — цепь; отыгрался.

Все мы играем в игры, но вот грянет молния, глянет из-за туч зрак Зверя, и мы объявляем бой! Кровопролитье!

И УВИЖУ Я НОВОЕ НЕБО И НОВУЮ ЗЕМЛЮ, НО ЭТОЙ РУГОПИСИ — КОНЕЦ.

Я обрил голову и лицо без всяких зеркал, наощупь. Я омылся весь, надел чистое белье, верхнюю одежду, башмаки, шубу, шапку. Я спустился по 72 ступеням Дома Балета, распахнул дверь в Мир: как солнце светит во двор! Как снег сверкал!

Я вдохнул воздух мороза, мои глаза блестят, — радость! Я писал, как брат боя, я — был в буквах. А в сей час — я есть! жизнь жжет щеки, — за здравье!

Я вышел из-под арки на ул. Зайчика Розы, прошел мимо театра им. св. Йоюшкина сквозь Катин садик и вышел на Несский проспект с Уной. Вдруг! —

я вздрогнул!

СТОЯТ ТОЛПЫ.

Шел шум, везде звон, гирлянды глаз — мне в глаза! Они — встречают меня! Все в шубах, босиком, со свечой в левой руке, с циркулем в правой, они стояли, ждали меня три дня, а я был мертв и вот воскрес и вышел. Они скандируют:

— СМЕРТЬ ЗВЕРЮ!

— СМЕРТЬ НЕССИ!

Я осмотрелся.

На Несском проспекте, у Эллипсеевского Гастронома стоит юноша-гоплит Александр, а меч — окровавленный!

Юноша-гоплит Александр уже срубил одну голову Несси, где-й-то она валяется, — где диадема? Юноша поднял меч, я срубил вторую голову Несси.

Несский проспект залит кровью, черной, дымящейся, чудной, — не перейти! Я с Уной у железной решетки, Катин садик. Александр — на той стороне, он далек, 20 м — я не прыгну. Я взял мегафон, пястью левой, расстегивая «Молнии» на пудельянской шкуре — кистью правой, я сказал:

— Александр! Ты что творишь?

Александр:

— Я с рабством юности — расстаюсь! Я спасаю кровинцев, от Зверя — людей, освобождаю! И будет им Кодекс, и ум и честь!

Я, расстегивая пудельянскую шкуру, расстегнул, снял шкуру,

как скальп, вот уж — волчица! Уна, стой. Стой, как есть, маска снята.

Я сказал:

— Кодекс им — икс! Кому ум? В чем честь? Посмотри: на тебя ведь не смотрят! Толпы барахтаются, ныряя в кровавый поток, ищутся лишь диадемы, их 2, стоимость их — несть числа брюалей! Ты бьешься с Несси, а 250 млн. кровинцев бьются друг с другом — за брильянт, за брюаль, — от 2 диадем! Бросай меч, Александр, я тебе говорю, не замахивайся в третий раз!

Александр замахнулся.

Я сказал: Уне:

— Уна, — ВЗЯТЬ!

Уна взвизгивает в воздух, перелетает Несский проспект, пасть захлопывается, челюсть на горле есть смерть. Юноша-гоплит Александр и волчица Уна, сплетенные, валятся в кровавый поток. Захлебнутся. Хвост мелькнул, меч мелькнул, — захлебнулись.

Черный, чудный чудовищ Зверь-Несси, как нам быть без тебя, а две головы отрастут по преданию, а 2 диадемы я куплю, пот потеряю, но — куплю.

Кровь ушла в люки.

Толпы скандируют, — мне!

— КУДА НАМ ИДТИ?

Я взревел, как Иеремия (не тот, не Туточкин!):

— КТО ОБРЕЧЕН ПОД МЕЧ, — ИДИ ПОД МЕЧ!

— КТО ОБРЕЧЕН НА ГЛАД, — ИДИ, ГОЛОДАЙ!

— КТО ОБРЕЧЕН НА РАБСТВО, — РАБСТВУЙ!

— КТО ОБРЕЧЕН НА СМЕРТЬ, — ИДИ НА СМЕРТЬ!

Так я взревел, но ни отклика. Я осмотрелся: никто и на меня не смотрел. Прежде, в ругописи не смотрел на них — я, а они — искали мой взгляд с быстротой от бормотух, поймают, воскликнут: — Ой, я исцелился! — А я думал так: пусть себе исцеляются, я здесь ни при чем.

Теперь на ругописи я поставил слово: «КОНЕЦ!» — и ни кто не смотрит на меня, ни кто не узнает. Все глаза обращены вдаль, на Булловский Холм.

Булловский Холм в прожекторах. Купол Булловской Обсерватории со сверх-телескопом, а на куполе...

— ВАЦЛАВ!

Толпы стоят, 250.000.000 толп, опоясанные колючей проволокой, электрической, в 250.000.000 вольт, а проволоку держат в руках амманисты, они в масках из мяса, лишь прорезь для

глаза, чтоб все видеть и все убить. Это уж не каинисты Вральцузии и Зебрии, те — лишь братоубийцы, у этих же идол иной: Черный Бог Смерти АММАН.

Это не я уж, это они привели топ-толпы на Булловский Холм, чтоб отвлечься от ругописи, поразвлекаться, — такой танц! Кровинцам от этих ни куда не уйти, людь-кровинец их любит. Я о них не писал, они повсюду с колючей проволокой из электричеств, о них не попишешь. Нет убежищ от них, — увидят, убьют. Я разминулся как-то с ними в этой жизни, а в Аду мы не встретимся, им Ад — по спецпропускам.

Вацлав Нижинский шел по куполу в черной пижаме, белый башмак, на коньках. Вонзаются острия в купол стеклянный, он идет, альпинист. Мы — смотрим! В прожекторах.

На вершине купола гений-танцор снял коньки, переделся. ВОТ: НА НЕМ: белый хитон, — мягкий шелк, чуть заметный узор черной вышивки, на груди — иероглиф; и рубах — черно-белый, широчайший рукав, гений стоит, зубами рукав обрывает, жаль рукав — весь искусан. Танцовщик вынимает и бросает в воздух над нашей головой, над 250.000.000 голов, — черный и белый рулон. Это бархат. Рулон — тот и другой — разворачиваются, замерзая в воздухе, образуя из бархата черно-белый крест. Вацлав стоит на вершине, раскинул руки, показывая нам форму танца — крест. Мы — зрим! Интересный искусств!

— Играй! — крикнул Вацлав, — мне.

Булловский Холм пуст. Лишь на постаменте стоит белый рояль с раскрытой крышкой. Я взобрался. У рояля: стоит уж отважный герой М. Н. Водольянов. Лыс, как лейкоцит.

Отважный герой М. Н. Водольянов сказал: мне:

— Не играй. Опоздал. Чем так жить, лучше смерть. Чуется мне запах, увы, апельсина. Что, как тебе кажется, Земле мы — людь-кровинцы, что нам — Земля? Этот род чист лишь в глазах своих, а не омыт от нечистот своих. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того. Я дам им смерть. Им — нам. Пусть будет новое небо и новая земля, а этому роду — конец! Слушай!

Я слушаю:

это ревут бомбардировщики, эскадрилья М. Н. Водольянова, с мигадонной, м. б., бомбой. А Вацлав еще не танцует.

Я:

— Вспомни, отважный герой М. Н. Водольянов, ты обещал дать мне револьвер, именной, не отнимут?

— Помню. Я обещал, — я даю.

Он отстегнул револьвер и дал.

Я — взял.

Я взял револьвер, приставил дуло к виску и нажал курок!

Я взял револьвер, приставил дуло к виску М. Н. Водольянова и выстрелил: отважный герой убит. Эскадрилья не услышит приказ. Улетит. Улетела, ревя. 250.000.000 зрителей все ж! Ни кто ни чего не видит, не слышит. Лишь приковывает их взгляд танец генья.

Я сел на стул, я заиграл до-минорный двадцатый прелюд Шопена.

Нижинский был недвижим, лишь протянул к нам руки с кисть-пястью, вывернутой наружу, жест защиты, он распахнул их, руки, поднимая в молитве, — фиксация! — руки падают вниз, так, будто сломанные в суставах. Так на каждую фразу прелюда отвечает Танцовщик, повторяя трекратный свой жест-ритуал: защита, мольба, отречение.

Оставим прелюд. Нам ж нада танц! Я быстр, я с быстротой продолжал каруселить по клавишам мой мюзик!

ВОТ: ОН: ТАНЦ:

Нижинский взлетел, о взлет безуильный, паренье у туч-скал! Он парит, он бежит по бархату по кресту замершему в атмосфере где мраз он остановится как перст у пустыни на краю креста не на куполе он прижмет руки к сердцу он скажет, ни к кому не обращаясь:

— Лошадка очень устала...

И крикнет, себя перебьет:

— ВОТ ВОЙНА!

Я роялист, я подхвачу этот крик на рояль, я ударю аккорд (о минувший, о будущий марш!). И начнется неопиcуемый ужас Всех Войн Всех Времен. Неопиcуемый ужас, потому что мне танц не описать.

Нижинский напишет:

«Зрители пришли, чтоб позабавиться, и думали, что я танцую для их удовольствия.

Мои танцы испугали их.

Они боялись меня, решив, что я хочу убить их.

Я не хотел.

Я любил всех, но ни кто не любил меня...

Я танцевал плохо.

Я упал, когда не следовало.

Я хотел продолжать танец, но Бог сказал мне: «Довольно».

Я остановился.

Мне хочется плакать, но Бог приказывает писать.

Он не хочет, чтоб я ленился.

Но я не хочу, чтоб люди думали, что я великий писатель, или великий артист, или великий человек.

Я простой человек, который много страдал, может быть, больше, чем Христос.

Я люблю жизнь, и хочу, хочу плакать — и не могу.

Моя душа больна. Душа — не мозг. Моя душа больна, я беден, нищ, убог. Я человек, а не зверь.

Я грешен, я человек — не Бог.

Я хочу танцевать, рисовать, играть на рояле, писать стихи. Я не хочу войны. Зачем... зачем вся эта бойня, это убийство... эти моря крови? Повсеместно... повсюду, повсюду моря крови: Зачем?.. зачем?

Я хочу любить, любить.

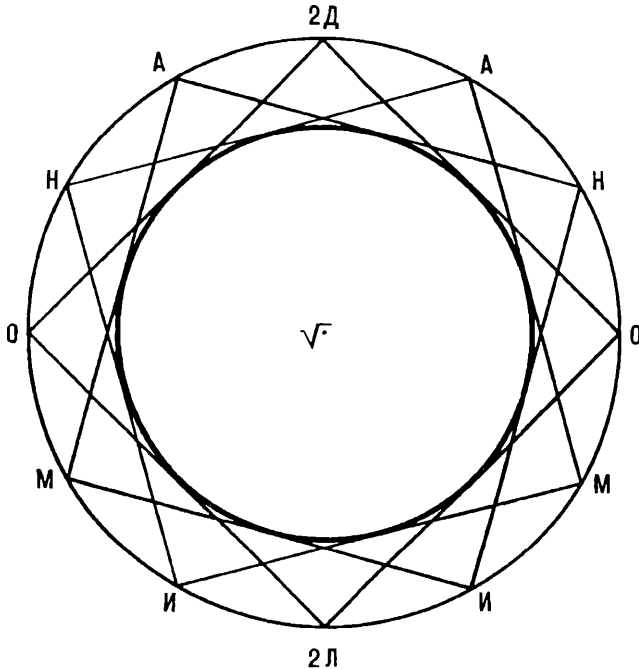
Я любовь, а не зверство.

Я не кровожадное животное.

Я есть человек.

Я есть человек».

Завтра Вацлаву Нижинскому исполнится 30 лет, и он сойдет с ума.





Известный миру по отрывочным журнальным публикациям роман впервые издается целиком. Особенное «сосноровское» ощущение слова, свободное владение структурой текста, великолепная ирония и пронзительная нежность, точное вплетение судеб в историзм времени — вот эта проза.